

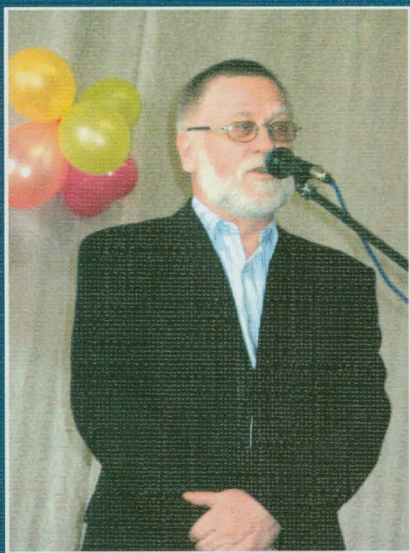
2011

Огни Кузбасса

№ 3 / 2007



Открытие праздника
«Весна в Притомье»
 в коммунально-строительном колледже



Б. Бурмистров



Н. Добрынина



Л. Виноградова, ведущая встречи



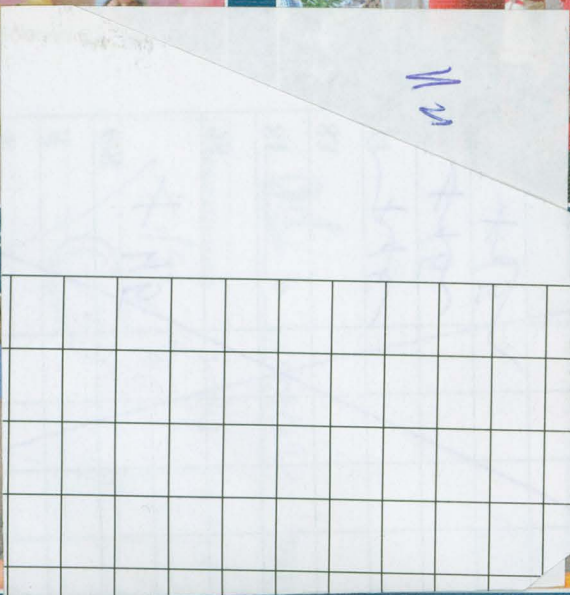
Выст



Д. Мурзин и С. Донбай



В. Козлов и А. Катков



В. Креков и Е. Леванов



В. Зубарев и Б. Бурмистров

ИЗДАНИЕ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КУЗБАССА
С 1949 ГОДА

Огни Кузбасса

№ 3 / 2007
МАЙ-ИЮНЬ

Литературный журнал
выходит
благодаря поддержке
администрации
Кемеровской области,
администрации
города Кемерово
и издательства
«Кузбассвуиздат»

Главный редактор
Сергей ДОНБАЙ

Ответственный секретарь
Валерий КОЗЛОВ

Редколлегия:
Виктор АРНАУТОВ,
Борис БУРМИСТРОВ,
Валерий ЗУБАРЕВ,
Владимир ИВАНОВ,
Александр КАТКОВ,
Иосиф КУРАЛОВ
(отдел поэзии),
Владимир МАЗАЕВ,
Дмитрий МУРЗИН,
Любовь НИКОНОВА,
Василий ПОПОК
(отдел публицистики)

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются

Адрес редакции:
650000, г. Кемерово,
Советский проспект, 40
Телефон 36-85-14



Содержание

ПРОЗА

Александр Родионов. Азь, грешный... Главы из романа	6
Наталья Колесова. Поминки. Рассказ	37
Сергей Адодин, священник. Рассказы	48
Владимир Есенин. Пустоцвет. Повесть	59
Михаил Кривошеин. Иванов сад. Рассказ	86
Евгений Мельников. Так грузят доску. Рассказ	93
Александр Брюховецкий. Крепкое крыло. Рассказ	96
Александр Ярошук. Психи. Пьеса-памфлет	101

ПОЭЗИЯ

Валерий Козлов. Над аэродромом тишина	3
Алексей Бельмасов. Включите в прошлом и будущем свет!	32
Владимир Ерёмченко. Душа прощенья просит	45
Елена Елистратова. Неброский времени портрет	56
Николай Бацевич. Где грудь забоя скорбно мироточит	84
Екатерина Франк. В море плачет дельфинёнок	91

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир Переводчиков. Потёмки души (Из книги)	104
Татьяна Эмих. Капля чернил (художественно-публицистические миниатюры)	109

45 ЛЕТ СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ КУЗБАССА

Из материалов газеты «Комсомолец Кузбасса» от 15 июня 1962 года	
Г. Молостнов. Кузбасс зовёт!	111
Говорят писатели: Александр Волошин, Евгений Буравлёв	112

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ

Марина Черноскутова, Юрий Михайлов, Игорь Иванченко, Князь Гочаг (предисловие В. Топорова), Ангелика Вольф, Николай Бабкин, Юлия Каденко, Ю. М. Акимов. Стихи	113
---	-----

ЛИКИ ЗЕМЛЯКОВ

Юрий Тотыш. Серебристый отсвет души. Повесть о художнике В. Сотникове	123
---	-----

РУССКАЯ ШКОЛА

Иван Гончаров. «Сияние России». Диалоги с Валентином Распутиным	150
---	-----

СВЕТЛИЦА

Даша Фёдорова, Артурас Болотов (предисловие Ю. Михайлова), Константин Марчик, Настя Самойлова, Лиза Воробьева, Надежда Захарова, Олеся Киселёва (письмо А. А. Вагизовой)	162
--	-----

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

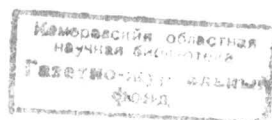
Людмила Суворова. Бабушка, которой не понравился «Дедушкин чай»	168
Владимир Есенин. Дух поэзии – природа. О творчестве поэта В. Иванова	170

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

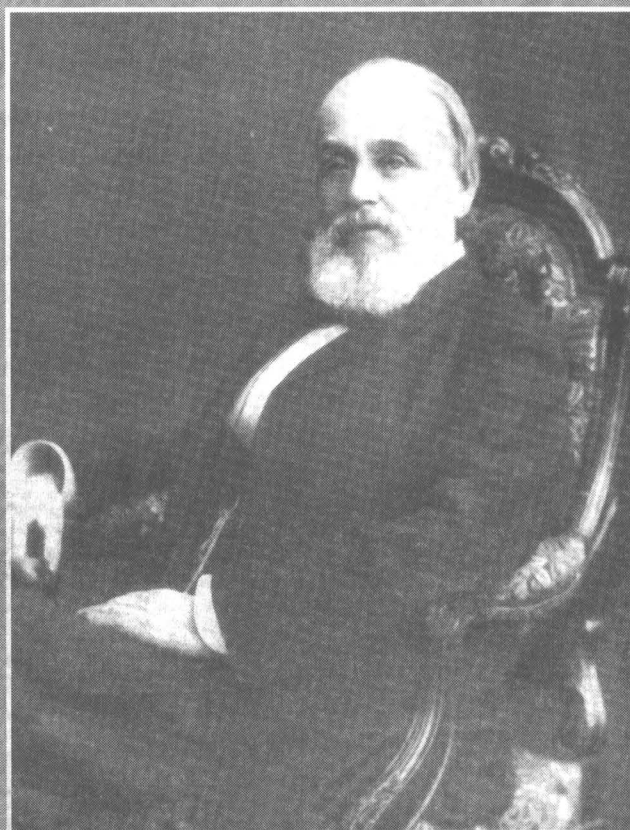
И. В. Ащеулова. Обсуждение четырёх номеров журнала «Огни Кузбасса» за 2006 год. Состоявшийся журнал с идеей просвещения	175
Любовь Никонова. Одиночество: между человеком и постчеловеком. Год поэзии-2006 в журнале «Огни Кузбасса»	176

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Подготовил В. Арнаут	179
----------------------------	-----



**Великому русскому писателю
Ивану Александровичу
ГОНЧАРОВУ
195 лет**



У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть
своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой
мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний –
и я написал только то, что переживал, что мыслил,
чувствовал, что любил, что близко видел и знал –
словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало.

И. А. Гончаров.
Лучше поздно, чем никогда

Дорогой Валерий Петрович, поздравляем тебя, нашего коллегу, с 60-летним юбилеем. Жизнь продолжается, и здорово, что ты остаешься верен идеалам своей юности – дружбе, небу и поэзии.

**Валерий
КОЗЛОВ**

НАД АЭРОДРОМОМ ТИШИНА



Всё привычно, знакомо до боли
В постаревшем селенье родном:
И тропинка, ведущая полем,
И мерцанье звезды над окном.
Белый снег и зелёное лето,
Шум весны и осенних дождей...
И такое обилие света
В неиспорченных душах людей!

Срывала летняя гроза
С черемух пену белоснежную.
Я целовал твои глаза,
Ещё доверчиво-безгрешные.
И, замирая, свежесть пил,
Едва касаясь губ калиновых.
Дождинок падающих пыль
Играла красками павлиньими.
Резвился ветер над рекой,
Кусты рябин кивали вежливо.
Сам Бог невидимой рукой
Над нами радуги развешивал.

Снова осень. Стали рыжими поля.
В разноцветье палисадники домов.
Дышит радостью кормилица земля,
Всюду запахи картофельных дымов.
Всюду тихая витает благодать.
Ах, теперь бы после бани да – к столу!
Вынуть душу и навек её отдать
Божьей милостью родимому селу.

Грустит забытая дорога,
Хранит ушедшего труды.
Но зарастают понемногу
Той жизни давние следы.
По колеям, едва заметным,
Уже нельзя определить,
В каком же времени заветном
Здесь приходилось людям жить.
Лес, огороженный бурьяном,
Остался в вечном забытии,
Ползут к некошеным полянам
Одни колючки да репы.

Козлов Валерий Петрович родился 14 мая 1947 года в городе Ачинске Красноярского края. После окончания Крапивинской средней школы служил в армии, работал в сельском хозяйстве, в партийных органах, в органах МВД. Окончил Сибирский технологический институт в городе Красноярске по специальности «инженер лесного хозяйства». Впоследствии более двадцати пяти лет было отдано аэрофлоту, авиации ДОСААФ и парашютизму. Автор четырех сборников стихов. Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

Останки брошенных селений
Обходит бледная заря.
И слезы поздних сожалений
Теперь накрапывают зря.

За окном метель вздыхает.
Спит собака в конуре.
Простынь белая порхает
На веревке во дворе.
Улететь из плена хочет,
Словно в ней душа живёт.
Ветер дьявольски хохочет
И на части душу рвет.

Рядит деревья в белое иней,
Холод густеет до синевы.
Короток день, как юбочка мини,
Вечер уснул в переулках кривых.
Серая ночь зацепилась за крыши,
Окна мигают, словно костры.
Лают собаки, что-то слышав,
Прячут заборы пустые дворы.
В сломанный дым упираются трубы,
Роется ветер в снежном песке,
Плачут во сне нелюбимые губы,
Меркнет колечко на правой руке.

Зима уже вовсю пасует,
Все меньше вьюжной суеты.
Пускай февраль ещё рисует
Ночами белые цветы.
А днём, стерев рисунки с окон,
Придёт не зимнее тепло,
Лишь только солнца рыжий покон
Заденет мерзлое стекло.
По шторам зайчики поскачут,
На подоконниках вода.
И вдруг душа моя заплачет
Об уходящих холодах.

Одинокaя лодка судьбы
С парусами таежных рассветов
Унесёт в родниковое лето
И в древесную свежесть избы.
Там сниму я усталость, как грим,
И душа запоёт без умолку...
Со зверушкой, пичугой и ёлкой
На одном языке говорим.

ВЕРХОВОЙ ПОЖАР

За кособоком перевалом
Ревёт безжалостный пожар.
Оставив чёрные прогалы,
Летит огня кровавый шар.
И убивает всё живое,
Всё на бессмысленном пути.
А следом только ветер воет,
И даже камня не найти.

Где-то солнышко нежное,
Где-то ветры вослед.
Всё на свете по-прежнему,
Но тебя уже нет.
От осеннего золота,
Что оставила мне,
Тянет воском и холодом
По колючей стерне.
У ограды кладбищенской
Тихо листья шуршат.
Бродит в облике нищенки
Не моя ли душа?

Вернуться бы в давнюю осень
На крыльях уставшей души.
Вернувшись, остаться и вовсе
В родной деревенской глуши.
Забыть про земные тревоги,
В деревья и травы врасти.
И чтоб ни тропы, ни дороги
Сюда никому не найти.

В лесной глуши уснуло лето,
 Укрывшись травами полян.
 Над островком любви и света
 Тянулся звездный караван.
 И волновал неодолимо
 Огонь полночного костра,
 И голос женщины любимой,
 И слов беспечная игра.
 Мы в лабиринтах злого века
 Друг друга всё-таки нашли,
 Два одиноких человека,
 Две тёплых искорки земли.

Сбросив ношу житейских недугов
 В разноцветье осенней поры,
 Ухожу без врага и без друга
 На вершину последней горы.
 Отправляюсь, ни много ни мало,
 В поднебесье, где вечно снега.
 И ползу, задыхаясь, по скалам,
 Пробивая не раз облака.
 Замираю, лавину услышав,
 Только воздух глотаю скупой.
 Поднимаясь все выше и выше
 Над смертельно уставшим собой.

ИСПОВЕДЬ

В шестьдесят мне юлить не пристало,
 Понимаю — неправильно жил.
 И хорошего сделано мало,
 И, конечно же, много грешил.
 Никому не уйти от расплаты.
 За любой, даже маленький грех
 Перед Господом все виноваты,
 Ну а я виноватее всех.
 Эту правду примите на веру,

Не хотел говорить никому:
 Я раскаянья высшую меру
 Применяю к себе самому.

Над аэродромом тишина
 И печальный свет Кассиопеи.
 Здравствуй, вертолетная страна!
 Думал, что к тебе я не успею.
 Не успею снова подышать
 Запахом травы аэродромной.
 Здесь моя останется душа;
 В небе бесконечном и огромном.
 Прилетит серебряный рассвет,
 Распахнёт белеющие крылья.
 И отправит прошлому вослед
 Журавлей последних эскадрилью.

Пора изменчивая, ломкая.
 Ночами холодно всерьёз.
 Остатки листьев ветры комкают,
 Срывая с клёнов и берёз.
 Дворы, как известью, забрызгало,
 Земля теряет прежний вид.
 Цепной кобель прозвякнет рыскалом
 И снова в будку норовит.
 Сам-воробей, мелькнув под крышею,
 Явился стреху осмотреть.
 Искал тесины не подгнившие,
 Чтобы зимой не околеть.
 Сорока, птица благородная,
 Померзла чуть на городье
 И полетела огородами
 Кормиться к чьей-нибудь избе.
 Кусты увядшие смородины,
 Рябину, жухлую траву...
 И всё, что вижу — просто родиной
 Своей единственной зову.



Александр РОДИОНОВ

АЗЪ, ГРЕШНЫЙ...

Главы из романа



СЛОВО К ЗЕМЛЯКАМ

В самом центре Кемерова стоит памятник первооткрывателю кузбасского каменного угля Михайле Волкову. Однако же всем сибирякам известно, что Волков был участником дерзкого похода за пределы пограничной межи, когда в предгорьях Алтая и горы Синюха были открыты медные и свинцовые руды. В том походе, и первом, и втором, рудознатцев было трое: Степан Костылев, Михайло Волков и Федор Комарок.

По времени выход сибиряков за южные пределы государства почти совпадает с решением Петра I отправить две экспедиции за песошным золотом на реку Яркенд (Эркень), что протекает в Малой Бухарии. Царя не смутило то обстоятельство, что это далеко за порубежьем его государства. Ныне это Синьцзян-Уйгурский район Китая. За песошным далёким золотом снарядили две экспедиции: одна под командой подполковника И. Д. Бухольца вышла из Тобольска, имея в своём составе более трёх тысяч сабель и штыков, другая пошла из Гурьева под началом капитана А. Бековича-Черкасского. У него под началом было более четырёх тысяч солдат и драгун.

Стратегический замысел Петра – взять в «военные клещи» г. Яркенд, а вместе с ним и место добычи золота – лопнул. И та и другая экспедиции потерпели крах, столкнувшись с миром кочевников. По сути, это была одна из первых ошибок двух цивилизаций: кочевой собирательной и русской промышленной.

Об этом я и поведал в романе «Азъ, грешный...», вышедшем в Барнауле в 1999 году.

Но помимо Петра-царя и рудознатцев в романе есть ещё и фигура первого губернатора Сибири – Матвея Петровича Гагарина. Это он подтолкнул царя к походу за золотом, и провал похода был не последней причиной гибели сибирского губернатора.

Историки и по сей день рисуют нам Петра I как государя мудрого и дальновидного. Но он не всегда таков. Куда дальновид-

ней оказались сибирские первопроходцы – Россия третий век осваивает рудную провинцию, что они открыли в 1718 году. Из этого же «сибирского кармана» империя 150 лет пополняла свой валютный запас.

Итак, что весомей – воля царя-самодура или воля народной стихии к покорению пространства? Как мог, я попытался на это ответить второй книгой романа «Князь-раб», фрагменты которой также предлагаю любопытному читателю «Огней Кузбасса».

Автор

6

Третий зазимок лег на стылую землю, упрятал ее черноту и пригасил бесприютность полей, сливая их с небесной далью. Есть в затянувшейся сибирской осени такие дни, когда душа в ожидании снега уже вся истомилась, а его все нет и нет. Вымощенная льдом река снова превратилась в дорогу, и, теснясь к правому берегу, побежали по Иртышу одиночные крестьянские сани, малые и большие обозы.

Фискал Фильшин промаялся в Тобольске бездельно почти все лето, ожидая выезда в Иркутск. И дождался наконец. Неизвестно, чему он был больше рад: или тому, что все же двинулся в дорогу, или тому, что день ядрено солнечный, а вокруг разлеглась молодая зима – незлая, нежная, прощающая и покрывающая равнозоботливо всех своим явлением.

– Благодать!.. – нежился в санях Фильшин, укрываясь воротником шубы от летящих из-под

Родионов Александр Михайлович – поэт, прозаик, краевед. Президент Алтайской краевой общественной организации «Демидовский фонд». Автор поэтических сборников «Из биографии ручья», «Краснотал», «Начало июня», публицистических книг «Колывань каменная», «Чистодеревщики», романа «Азъ, грешный...» и др. Член Союза писателей России. Живет в Барнауле.

копыт пристяжной плотных ошметков снега. — Ох, и любо мне такое время! Все снаряжается, все чисто, будто на исповеди земля побывала, все буераки, будто грехи, и приглажены, и прощены.

— Да, пра слово, на дорогу нам добрый денек выпал, — поддакивал ямщик, ясноглазо окидывая взором округу. Справа на возвышенном иртышском берегу, отделяя землю от неба, скользила зелень сосняка; правый берег отчеркивала оторочка чернотала; и эти две линии, увидеть которые одновременно, не повертев головой, было невозможно, подтверждали — широка Сибирь, широки ее дороги, да тропы узки.

— А ведь я тебя в Тобольском видывал, — легко усмехнулся в какой-то день пути фискал, обращаясь к ямщику.

— И что мне за новость? Видывал да и видывал. Я ни от кого не прячусь. В Тобольском все на виду живут. Впотайку — нет надобности. Все друг о друге сведомы, даже знают, у кого сколь ложек в дому и какие ложки щербатые.

— Да я не про потайку. Видывал я тебя в драке у съезжей избы.

— Был грех, — усмехнулся недобро ямщик.

— И еще в одной драке заприметил тебя, — не уgomонился покорным ответом Фильшин.

— Не вем где, не вем когда... — уклонился ямщик.

— Вем где и вем когда, и паче всего — вем с кем, — повел свой ход, не меняя тона, Фильшин.

— На то тебе и название фискал-свистал. Караулишь всякого, да после и тебе могут за углом насвистать.

— И все ж мне узнать охота — за что ты одного и того же татарина отволтузил и в съезжей избе, и возле канцелярии губернаторской?

— Это Кулмаметку, что ль?

— Ево, ево! — покивал Фильшин.

— Была б моя воля, свел бы я их с городского жилья всех — и Кулмаметку, и всех ево людшек.

— Обидели?

— Меня татарину невозможно обидеть. Сопатку с глазами сравняю, — твердо сказал ямщик, глянув на Фильшина. — Не меня он обидел, а всю ямщину тобольскую.

— Видно, силен Кулмаметка. Всеми татарскими сборами ведает... — равнодушно как-то и полуутвердительно проговорил Фильшин, озираясь и будто теряя интерес к беседе.

— Не силен. Лукав и пакостен, — поправил фискал ямщик. — Ево не токмо я, но и свои, татары, колошматили. Такого в Иртыше через три проруби продергивать надо, глядишь — очистится от своего воровского нрава.

— У тебя ли украл, али еще у кого?

— Не у меня, а у ямщины.

— Да что ж украл? Коней?

— Вот сказал ты — все татарские сборы ведает Кулмаметка Сабанакоев. А каким пронырством он получил то ведомство над своими одноверцами? Они его в первый раз побии в своей слободе, как он откупился от ходьбы на Ямыш за солью. Дощаники вверх конями вести он должен был, а откупился. Глядь наш брат ямщик поглядь: к новой весне уж и не один Сабанакоев, а и много других слободских татар от подводной гоньбы свободны.

— Кто их освободил? — не утерпел Фильшин.

— Слуга гагаринский...

— Небылишное возводишь, — усомнился фискал.

— Да какое небылишное! — простодушно взъярился ямщик. — Мне ж про то сами татары сказывали. Им откупиться нечем было, они денег в складку не внесли, когда Сабанакоев с шапкой по кругу пошел. Их и за солью, и в подворную гоньбу, нескладчиков. А кто дал — те даже записаны ноне в детей боярских. Во! До какого лукавства невозборимого возвысились — улусные малахаи, а ходят в детях боярских! И все пошло у них складно и ровно с тех самых камушков бухарских красных, что были куплены у Кулмаметки самим обернатором. Кулмаметка все похвальбой брызгал — сам князь обернатор у меня камни купил! Красный день для татарина — князю камушки продал! А он, обернатор наш, свое первогодье был тут — тогда и купил. А пригляделся — татары опять несут от бухарцев камни и снова торг будто заводят. Тогда и сшиб он с них торговый норов — где платеж за разрешение жить в Тобольску? Осеклись. Попятились из хором, да только камешки оставили за так. И каждогодно перед весной у них либо шапка по кругу, либо камушки ждут из Бухар, да потом в ладонь слуге гагаринскому ссыпают...

— А ты что ж не откупишься? — спросил Фильшин.

— Моя семья, вся наша кость родовая — с бичика жили, с бичика и кормится. Что мне откуп? Не гоняли бы токмо бесперечь, хоть роздых бы давали. А то татары дома в потолок плюют да на

торговых рядах рядятся, а мы погоняй по тракту. У кого похлебка жидкая, а у кого жемчуг мелкий. И ведь теперь меня же и к судье грозят привести — за то, что я Кулмаметку бить кинулся.

— Ну, коли ты невоздержник такой — и приведут. Бился бы на кулачках. За то не судят.

— Да какое тебе дело — где мне биться! Пошел правож русскому мужику — где бить, а где не бить. А там, где воровской нос нависает, будто вороний клюв, там и бить! Да, видно, и средь наших тоже воронья поразвелось. Иной раз еще токмо замахнулся, а воронье уж и карканье поднимает на весь белый свет — русские опять бить собираются. А чему тут дивиться — каркают у них камушки бухарские в глотке, чтоб они ими подавились... — ямщик матерно ругнулся.

— Не боишься, как я на тебя слово и дело крикну? — спросил Фильшин.

— Пусть московские таких криков боятся. А мое слово — коню понятно, да и дело мое — кнут. Дале Сибири слать некуда. Чево бояться?..

Жаль было Фильшину расставаться с таким простодушным и неосторожным собеседником, но в Самаровском яме весь обоз приняли новые ямщики. На прощанье фискал угостил изрядно своего возницу: тот даже не ожидал дармовой погулки. Но и выпив изрядно, все же жалел, что не повезло ему так, как тем ямщикам, которые оказались в передовых возках. Впереди, про то еще в Тобольске сказано было, едут некие иноземцы в Китай. Будто бы сам царь-Петр послал китайскому хану своего аглицкого врача, и вот тем-то передовым возницам будто бы и платят по-царски за каждый прогон. Но фискал утешил ямщика, надбавив ему впятеро за каждый станок и полустанок. И только Фильшину была понятна его неожиданная щедрость.

Трогался в путь Фильшин — была зима молодая, а добрался до Иркутска — уже и заматерела, и в поддавки с весной поигрывала. Неделью другую не мог привыкнуть Фильшин к покою: не надо было спозаранку заваливаться в сани и целый день-деньской, а то и ночь вприхватку ехать и ехать, томясь бездельем. Не удержись благоразумно, фискал мог не раз и не два впутаться в разные дорожные свары: то кабатчиквор, то ямщики-супостаты не по-уставному дерут за прогоны. Но с самого Тобольска фискал положил себе правило: никуда не встрывать, тихо-смирно dospеть к Иркутску и там так же тихо осмотреться, потолкаться среди наброди-

стого народа, авось, слух какой повезет словить. А где слух — там и до правды, умеючи, добраться нет особого труда. В пути слухов тоже было преизрядно.

На томском постоялом дворе встретился застрявший в нерешительности обоз устюжских купецких людей — будто бы запрет вышел от губернатора, дескать, нонче ходу в Мугалы* нету. И слух этот привез будто бы иркутский служилый человек Ракитин, коему и вера должна быть полная — как-никак брат его, Лаврентий Ракитин, недавно сидел воеводой в Илимске, а ныне уже и на Иркутске собирается воеводить. Хитрые томичи подначивали устюжан: «А вы расспросите братца воеводы — на какую нуждишку он здесь мягкую рухлядь скупает? Может, он один, а может, сам-два с братцем всю мугальскую торговлишку возьмет?» Замерший обоз из Томска в дальнейший путь вытолкнул тюменец Третьяков: «Верьте этой мелкой сошке ракитинской! Я сам у обернатора справлялся. Нет такого указа — не пускать в Мугалы». А в Енисейске встретил Фильшин и самого Лаврентия Ракитина. Наблюдал, как тот, сахарно улыбаясь, обхаживал дня два иноземцев Ланга и Гарвина, да потом не выдержал и наскоро смотался в Тобольск. Говорили подъячие из енисейской канцелярии, спешит бывший илимский воевода по вызову самого князя Гагарина. Видно, и в самом деле спешное дело было у Ракитина. Недолго он пробыл в Тобольске, вернулся к воеводству иркутскому в самом начале весны, сменив предшественника своего Любавского. Перетасовка воевод в сибирских городах была делом обычным: не более года в городе мог усидеть воевода. А Любавский и года не усидел — выпихнул его Ракитин аж в Мангазею, получив на то губернаторский указ.

Фильшин попервоначалу пригляделся к иркутским людям, а визнавать у кого-то о делах местного городского фискала даже и не пришлось, сам о себе заявил в те дни, как стали возвращаться из тайги сборщики ясака. В провинциальной канцелярии загудел разговор скандальный — иркутский фискал обличал двух подъячих в утайке мехов. Дело это из канцелярии перебросили уже и в судебную палату: там доказал фискал по записным книгам, что не все, собранное в тайге для китайского отпуска, сдано в казенные подвалы, устроенные тут же в под-

* Мугалы — Монголия.

клетки палаты. Подьячие свалили вину на сборщика, и того подвергли жестокому штрафу, но не это было страшно для лукавца. Страшно было потерять возможность осенью снова отправиться в тайгу, запасаясь бочонками с горячим вином, чтобы сверх ясака почти задарма скупить у охотников соболя и куньи меха. Обиженный долго увиливал от разговора с Фильшиным, но все же улучилась минута откровенности, выведаль Фильшин, что нет никакой заслуги городского фискала в раскрытии утайки. Обличение в суде он затеял по наветке из канцелярии. Не умастил ясашный сборщик кого-то из крапивного семени, не выложил на стол из-под полы негласно уговоренную подать — двух собольих шкур — вот и отомстили. Случай невеликий, но больно уж походил на то, что встречал Фильшин и в иных сибирских городах. И даже не дожидаясь осени, он знал, что накануне выезда сборщиков ясака будут они днями обивать порог и комендантского дома, и канцелярии, чтобы получить таежный зверовой откуп, приносящий раз в год такой наживок, что потом можно все остальное время жить, не шевеля мозгой о прибыли.

«Эх, не упустить бы начало злобной той торговли... — подумывал Фильшин. — Да как за порог комендантский переступить, как подьячего за руку схватить, когда откуп решается?..»

Лето для Фильшина прошло вяло и почти сонно. Всколыхнул фискала пожар в августе — загорелся сначала один двор под городской стеной, потом и другой, и третий, а там и сама стена занялась. Вдоль нее огонь переметнулся к гостиному двору и таможене, да так проворно и неумоно обнял эти строения, что отстоять их не удалось. Как головешки, затлели по Иркутску слухи, что в таможене было что-то нечисто и пожар подстроен таможенными служащими. Фильшин завертел носом — для кого-то паленым пахнет! Но ничего дельного для себя не вынюхал. Да и нелепо выглядел слух — неужто, для того чтоб спалить таможенные книги, надо сжигать несколько дворов и весь гостинный двор? Ткнулся было Фильшин к коменданту Ракитину, дескать, слух-то есть... Розыск бы дать случаю... Но Ракитин отмахнулся:

— Знаю, чья это попевка, знаю. То тебе не Замощиков ли нажужжал?

Слова эти не насторожили Фильшина, хотя до него и доходили разговоры, будто Лаврентий Ракитин грозит на будущий год не допускать целовальника Замощикова до службы, а объ-

вить на это место публичные торги — кто больше положит на стол, тот и сядет на Никольской заставе.

К самому Замощикову Фильшин домогался с расспросами еще весной, как только появился в Иркутске, — по каким указным статьям тоболяки в Мугалы шастают свободно. На то ответ был краткий: «Спроси у князя Матвея Петровича». И все. Будто ерш застрял у Замощикова в глотке.

Ракитин в самом начале зимы устроил широкое застолье — по случаю. Пришел с моря-Байкал караван с рыбой. Комендант созвал на то застолье и Рупышева, и многих подьячих, а Фильшина сам потчевал отборной водкой, рыбными пирогами, а как подгуляли, велел внести к столу огромного омуля. Мерзлым поленом бухнул слуга на стол рыбину перед носом засоловевшего фискала, а комендант уважительно объяснил:

— Это тебе, господин Фильшин, в почесть из самого Польского монастыря послано. Монахи на Байкал-море прослышали, что ты прибыл к нам из матушки-Москвы. Да ты попробуй, строга-ни рыбки-то. Эй, кто-нибудь, дайте топор, разрубить рыбку надобно...

Фильшин замотал головой, но Ракитин уже вошел в кураж и настоял на своем, схватил принесенный топор и секанул рыбину поперек так, что водка недопитая в чарках заплясала и все за столом вздрогнули.

— Ну, так что ж ты не пробуешь рыбку? А? Фильшин! Да ты погляди, погляди — рыбка-то золотая тебе послана! — юродствовал Ракитин, вытряхивая на стол из мерзлого рыбьего брюха золотой песок.

Фискал ошалело заморгал, оглядывая рыбину, а потом и вокруг оглянулся на окружающих. Хитромордо нависали над ним помощники раки-тинские. Ждали. Примет или нет фискал подношение в почесть. А Фильшин успокоился вдруг и ткнул пальцем в свежий разруб:

— А не сам ли ты это золотко зашивал омулю в подбрюшье? Что-то и паюсок у рыбыны тряпошный какой-то...

Ракитин сообразил — подвох не прошел и, переводя все в шутку, захохотал:

— Ты смотри! Не клюет. На золотую наживку не клонул! Ну, одно слово — государев человек! Ничего не скажешь. Ладно! Возьму я тебя на Никольскую заставу, как мы там потрошить рыбу станем.

— Что ж, потрошить так потрошить. Я не прочь, — не растерялся фискал. Невозмутимость Фильшина рассердила Ракитина:

— Да ты знаешь ли, башка неупьянчивая, откуль сие золотце нами добыто?

— И впрямь — откуль?

— Так я тебе и сказал. На-кась! — комендант сунул Фильшину фигу под нос. — Выкуси. На то ты и обличитель, чтоб мне на такой вопрос ответ давать, — сказал зло Ракитин и примолк. Сооб-разил — занесло его чересчур.

Фильшин потом не раз вспоминал рыбное застолье, хмыкая: «Ишь, удумал. Как будто кошка с мышкой играл со мной. Омуля в почесть. Ловок! И вся челядь Ракитина — тоже ловкие, все под стать воеводе городом помыкают, с людьми тоже в кошки-мышки играют. Ну, да что ж. Мышка — зверь маловидный, да свое точит. И видать кота по морде — сыт, да не ошерстился к зиме. Как же про то говаривал Нестеров — не брать орех, коли он вполспела налился... А тут не орехи, тут, гляючи на шапки и шубы соболями, иное на ум просится. Пусть и красно увешаны мехом и воеводы, и коменданты, да и целовальники не в рубищах ходят, а все они для меня как недособоли да недопески. Рыльце в пушку, а вот пух да подпушек еще невыходной, не выспела шкура. Ладно. Зимой всякий зверь свой мех выхаживает. Не может быть, чтоб комендант свой воровской обычай забыл и о своем животе не попекся...»

За неделю до Рождества пожаловал прямо к дому Лаврентия Ракитина гость из Тобольска — прибыл полоняник шведский Ефим Дитмар. Жил, гостевал только у коменданта, ни с кем встреч долгих не затевал, жался к Ракитину каждодневно, будто караулил.

Город выжидательно притих на страстную неделю — готовился к празднику.

«А зима-то какво поусердствовала, какую шубу к Рождеству выходила!» — додумывал свои мысли Фильшин, разговевшись после всенощной и прогуливаясь подле городской стены на берегу Ангары. Совсем нерождественская стояла погода. Накануне пала на всю округу ростепель, даже капель приударила, а к утру припожаловал морозец, высеребрил куржаком деревья, дома и ангарский берег — все подкряхье взял в серебряную оправу. На свежих рядах сосновых бревен вновь поставленной городской стены нависали сверкающие низки инея — иголки снежные до того были нежны и тонки, что

нельзя было различить, где они кончаются, а где начинается тонкозвонящий воздух. Любоваться таким послерассветным благолепием, однако же, долго не пришлось.

Из-за Спасской каменной церкви вылетело несколько санок, набитых орущими людьми. Санки так быстро неслись вдоль Ангары, что Фильшин едва успел уступить дорогу лихачам... Первая упряжка пронеслась было мимо фискала, да резко стала, задержав весь разгульный поезд. Из санок полуобернулся полковник Рупышев, помощник комендантский, и прокричал пьяно:

— Вали фискала в сани! Чево он анахоретом иней нюхает! Пущай с нами пославит, — прокричал и помчался дальше, а двое дюжих подхватников тут же ухватили под руки Фильшина, заволокли в сани, и все полетели вслед жожаку.

Славили с весельем и разухабисто, залетая во дворы под гоготанье и песни. Сперва завернули к дому дьяка Кондратьева, потом к приказному подьячему Симанову, а затем долго топтались у купца Зверева. Сам Рупышев ходил по горнице и притопывал:

Преподобный монах, нах, нах!
Чево роешь во штанах, нах, нах!

Ряженный в рясу и соломенный кlobук пьяный славильщик подхватывал:

А я золото ищу, шу, шу!
Никаво не подпущу, шу, шу!

И вся орава разом:

А я золото продал, дал, дал.
На баранки девкам дал, дал, дал.
На мосту стоит кровать, вать, вать.
Можно девушек помять, мять, мять...

Поезд славильщиков обрастал людьми, и они делались с каждым новым заходом в очередной двор все пьяней и неугомонней. Фильшин сбился со счета — сколько у кого пили, в каких домах были... Очнулся он на квартире полковника Рупышева от того, что кто-то громко и навзрыд просил пощады. Перед Рупышевым среди комнаты стоял на коленях плачущий мужик и о чем-то умолял хозяина. А Рупышев тупо тердил:

— Мету на кубке видишь? Видишь, — при этом он протягивал мужику огромный кубок, наполненный по самый край водкой.

Фильшин встряхнулся, вслушался.

— Ты видишь мету княжескую? — с усилием выкатывая каждое слово на край губы, строжил-ся Рупышев. — Мне сей кубчик сам князь Матвей Петрович поднес в поминоки. И мы все тут пьем за его княжеское здоровье. И ты пей.

Стоявший на коленях замотал головой. К нему подошел подьячий Симанов, утвердил руки в боки, стал фитой и глянул на окружение, приглашая всех в свидетели:

— Вишь, как он князя Матвея Петровича — губернатора нашего, почитает! А и нас вместе с князем ни в грош не ставит. Выпить брезгует!

— Да уж мочи нет. Не лезет! — взвыл стоявший на коленях.

— Есть! Могешь, Замощиков, можешь! Смог на нас клепать — мы де беспощинно торг держим, а выпить не можешь. Ну-ка! Палку дайте — щас мы ему могути прибавим.

Замощиков взмолился слезно и в крик. На шум в горницу заглянула жена коменданта Федосья и рывкнула на мужа:

— Перестаньте! Мучители! Эко удумали — в престольный праздник мужика палкой волтузить.

— Сгинь! — вытолкнул жену Рупышев.

Палка уже нависла над Замощиковым.

— Не выпьешь — охаваячу!

Глотая слезы, сопли и водку, Замощиков покорился. Опорожнил кубок и рухнул. Его отволокли в угол, бросили подле вороха шуб, и гульба пошла уже без скандальных криков, когда все вокруг купаются во взаимодушии и утопают в согласье.

Опохмелясь на второй день Рождества, Фильшин спохватился: почему же в компании с Рупышевым не было Лаврентия Ракитина? И Ефима Дитмара, гостя тобольского, — тоже не было... Заскулил, завертелся волчком фискал, будто пес, потерявший след. Выведал на заставе у Заморских ворот — еще в канун Рождества, едва в церквах началось повечерие, умчался Ракитин к Байкалу и далее — к Селенгинску, чтобы встретить караван купчины Гусятникова из Китая. И завыл Фильшин, матерясь и кусая пальцы. «Дақ вот зачем меня славить позвали — без меня караван потрошить будут». Он знал наверняка — полковник Рупышев его, фискала Филь-

шина, ни под каким предлогом в Селенгинск на тамождню не выпустит.

Селенгинский таможенный голова оторопело оглядывался, не успевая задержать взгляд на ком-то из раkitинской ватаги, когда она ввалилась с морозным клубящимся воздухом в просторную пустую избу.

— А я не с той стороны поезжан ожидаю, — наконец узнал он среди гостей Ракитина.

— Чтоб тебе не скучать, ожидаючи, и мы пожаловали, — по-хозяйски раздеваясь и садясь в передний угол, ответил Ракитин. — Ты распорядись — баньку спроворят пусть. С дороги, с мороза хорошо тело веником потешить. А заодно и душу к утехе приготовить. Скоро ль караван ждешь? — как о чем-то давно известном спросил иркутский комендант таможенника.

— Да ведь еще вчера прибыл передовой человек от Гусятникова. Ноне в ночь обещались... Избы караванщикам протоплены, — ответил тот, набрасывая шубу.

Ночь морозная, ясная стояла над Селенгинском. Негустая россыпь домов и амбаров у подошвы горного отрога выглядела такой затерянной под огромностью неба, что, казалось, никто и никогда здесь не проходит, не пролетает птица, а всегда, вечно слышен только тихий говорок полузамерзшей Селенги, разбежавшейся на множество рукавов, перед тем как влиться под байкальский лед и совсем стихнуть.

Вышел Ракитин с гагаринским подхватчиком Ефимом Дитмаром из бани под звезды, и оба замерли: высока и чиста была ночь вокруг. Ракитину было в удовольствие замереть вот так после яростного веника и почувствовать, как нагнетенный к телу пар долго еще не сдается пред зимним дыханием. А Дитмару банное телесное истязание было хоть и не в диковинку, он уж помотался по сибирским городам и острогам и бань насмотрелся, но все это было ему не по нраву. Знаток драгоценных камней проворно засеменил к теплу избяному.

Ракитин еще постоял, вслушался и насторожился весь, вглядываясь в восточную сторону, будто кобель, мимо носа которого пролетел запах добычи. Вслушивался долго — не померещилось ли? Когда ждешь издавна — может и приблазниться. Ракитин даже мизинчиком в ухе подрыгал — прочистил. Нет. Тот звук, которого он

ждал, как песни, был не обманным. И расплылся в улыбке Ракитин, и перекрестился.

В избе сказал Дитмару:

— Рано спрятался под крышу. Едут. Слышно уж.

— Не может быть. Ночь. Какая езда.

— Едут, едут. Я такой скрип саней ни с чем не спутаю. Хороша поклажа — издаля визжат полозья.

Гусятников — торговый человек из гостинной сотни, появился на пороге таможни через полчаса, а вскоре к острогу стал подтягиваться и его караван. Ожил Селенгинск. Под месяцем зазвенели голоса караванщиков, люди разбирались по избам, где был приготовлен теплый ночлег. Ракитин, едва глава каравана вошел в избу таможенника, бросился обнимать его и поздравлять с удачным выходом из Китая, тут же вызвался пойти вместе с Гусятниковым в баню — надо путника порадовать. Но прежде чем туда отправиться, Ракитин шепнул Дитмару:

— Сыщи в караване слугу гагаринского из рентереи тобольской — Гуцин ему прозвище. Князь наказал, чтоб с ним перво-наперво переговорить. Как все улягутся, пусть ко мне будет, я его здесь ждать буду.

Как полагается встречали гостей из китайского торго, хоть и ночь, хоть полночь — подняли стакашки. Да пожалел Ракитин купчину и его главных приказчиков; притомились, дескать, почивать вам пора, завтра день полон делов.

Затих Селенгинск.

Но еще до первой петушиной побудки проскрипели тихо к таможне проворные обутки — Гуцин к Ракитину пришел. И не зажигая лучины, а так — при отсветах печного огня, прошептались они почти до рассвета. Ракитин слушал и удивлялся: где это губернатор Гагарин такого памятливого согладателя выискал? Про кого из каравана ни спроси, тут же ответ ясный: что да почем продал, что купил в Китае, что в каком возу увязано. Но не этого ждал Ракитин, хоть они с Гуциным уже и условились на завтрашний день. Как пойдут таможенные досмотрщики клеймить товар по подводам, Гуцин будет у некоторых коней седелки поправлять, шлеи одергивать. И все же не это главное. Ракитин спросил:

— Дак у кого главное приобретеньице Гусятникова? У самого?

Но гагаринский согладатель хмыкнул только — не уследил...

— Да он меня в свою кумпанию и не подпускал, — оправдывался Гуцин. — Он же гостинной сотни человек! А я?..

— Может и лучше, что не допускал, — сказал Ракитин, обдумывая свое. — Целей будешь. Иди, вон на столе вино стоит. Выпей. Да ступай. Ненароком увидит кто нас вместе, наедине, поднимут потом шум. Тогда тебе по дороге до Иркутска несдобровать. Пожалей свои ребра — мышкой, мышкой мимо лишних глаз.

Гуцин торопливо нашел в полутьме стакан, хакнул в него, подготавливая глотку к горячей жидкости и замер коротко с запрокинутой головой. Опустил голову и покривился — он ждал много вина, а оказалось — на доньшке.

Едва рассвело, Ракитин велел таможенному голове принять выписи о товарах, кои готовы были предъявить караванщики. Потянулись к избе таможенной приказчики, доставая из-за пазухи свернутые листы бумаги. На крыльце сталолюдно, поднялся легкий гвалт — надо было пропустить вперед тех, кто шел с казенным товаром — на государя.

Ракитин огляделся — все идет ладом — и ушел из таможни. Гусятникова он застал за завтраком. Купец немедля позвал коменданта за стол, и Ракитин не отказался — давно уж на ногах, пора и червячка заморить. Чай пили настоящий, из богдыхановых лавок привезенный. Ракитин смотрел, как тонкий парок гуляет и стелется над обрезами чашки, будто нехотая расставаясь с золотистым краем посуды и рассеиваясь в избыном тепле.

— Ну, господин комиссар, после чаю — дело? — полуспросил Ракитин.

— Давай, давай, — вальяжно, без тени заботы ответил купец. — Надо еще к Водосвятию поспеть в Иркутской добежать.

— Добежим, — пообещал Ракитин и достал из кармана парчой отделанного камзола пакет с губернаторской печатью. — Письмо вот тебе от князя Матвея Петровича.

Гусятников разломил сургуч и стал читать. И по мере того как он вчитывался в послание Гагарина, благодущие с лица его слетало и, будто пар над чаем, исчезло вовсе. Закончив чтение, он стал глядеть мимо листа в пол. Лицо его сделалось совсем темным.

— Ну, так у кого приобретеньице важное? — подтолкнул купца под локоть иркутский комендант.

— Нет никакого приобретеньца, — буркнул Гусятников и отвернулся к стылому окошку.

— Коли нет — искать будем, — вяловато, врасстяжку сказал, вставая, Ракитин. — Может стать-ся, что и Водосвятие на Селенге справлять будешь, — уже с порога через плечо добавил комендант, давая понять, что здесь он, Ракитин, хозяин.

Отобедав, целовальники таможенные пошли вдоль подвод и ввозов клеймить товар. Нехотя расшивали рогожные и кожаные мешки приказчики, выворачивая наружу косяки камки, лаудану, батманы с чаем выборочно потрошили, посуду ценинную перебирали — целовальники листали выписи, сверяли товар. Коли все совпало — ставь таможенное клеймо на тюках и мешках, клейми баулы и дорожные сундуки... Проверенные сани с поклажей отгоняли в сторону. Но не все.

Будто в безделье и, томясь от задержки, чуть впереди целовальников от подводы к подводе переходил знаток мягкой рухляди Гущин. Ан и впрямь на обратном пути ему — одно безделье. Меха в Китае проданы, дармовая китайская водка давно кончилась, делать нечего. Вот и идет он неторопливо: где с приказчиком, где с возницей у саней потолкует, где и просто по тюкам похлопает, одобряя товар, а где и к лошади подойдет, седелочку сердобольно поправит, с лошадиной морды иней смахнет мохнатой рукавицей. Большая часть каравана к вечеру оказалась за таможенным перевалом, а саней двадцать осталось возле избы.

Ракитин обошел те подводы, заглянул в глаза приказчикам:

— Все товары явили? Аль утаили что?

— Да как же можно, господин комендант, — восклицали караванщики. — Кому охота после в проторях остаться!

Тогда Ракитин скомандовал своим приказным:

— Сгружай товар. Оporожняй сани!

Прибывшие с ним из Иркутска целовальники принялись за дело. Сани опрокидывали вверх полозьями, поддевали стальные полозья топорами и выдергали, ссаживали зубилом заклепы и скрепки. Караванщики завопили:

— Сани кто оковывать будет? Сами окуете за такой разор!..

Но после того как под полозом в первых же санях продолбленный паз оказался наполнен-

ным узкими длинными мешочками, и Ракитин, помахав мешочком в воздухе — напоказ, вспорол его, ямщики и приказчики присмирели.

В ладони коменданта желтел золотой песок. Дитмар тянулся к ладони коменданта, будто прихожанин к причастию, но руку не целовал, а нюхал песок — верно, верно! Золото!

— Хорош караван! Хорош! — похохатывал Ракитин, оглядывая потупившихся мужиков. — Давай, братцы, остатние сани потрошите.

И шум пошел по каравану. Кто-то сбежал за комиссаром Гусятниковым. Тот примчался, шуба нараспашку, готовый наброситься на Ракитина за бесчинства целовальников. Каравану еще какой путь предстоит — до Москвы, а сани в негодность привели, считай, разули караван. Но комендант иркутский поднес к разгоряченному лицу купчины золотую горсточку:

— Кто в караване комиссар? Кто голова? Ты. Тебе и ответ держать — чем неявленным караван богат. Хорош, хорош улов! — уже не глядя на Гусятникова и потирая руки, говорил Ракитин, прохаживаясь вдоль череды задержанных саней. — Золотой скрип я за десять верст чую. Тут, в Селенгинском хорошо и далеко слышать. В Селенгинском скрипнет, а в Тобольском отзовется. А, комиссар? — улыбаясь, спросил он Гусятникова. Тому ничего не оставалось делать, как махнуть рукой зазывно:

— Пошли в избу — толковать будем.

— Погоди сани разорять, — распорядился комендант и пошел след в след за Гусятниковым. Вскоре в избу таможенную позвали Ефима Дитмара. Но пробыл он в таможене, на которую выжидательно поглядывали караванщики, недолго и вышел, чем-то крепко восхищенный. Голова его нервически подергивалась, и он, прицокивая языком, повторял: «Не может быть! Не может быть! Такое впервые вижу! Впервые вижу!»

Через час на крыльцо вышел Ракитин и, сладко щурясь, глянул на закатную кромку гор. Тускнеющим самоцветом уходило солнце, сумерки обступали Селенгинск. Ракитин подозвал таможенного голову и тихо сказал:

— Пострадай, дескать, завтра еще будем сани вскрывать, на ночь своих людей в караул выставь подле непроверенных. Утром всех смирененько-смирененько выпустишь. Здесь полозьев больше не порть. Оставь иркуцким... Понял?

Таможенник кивнул понимающе. Но что-то ему в приказе не поглянулось, поскольку он проговорил врасстяжку:

— Понял, господин комендант. Что уж тут не понять...

Наутро караванщики обнаружили, что ни Ракитина, ни его помощников иркутских в Селенгинске нет. Они уехали еще ночью, сославшись на неотложность дел в городе. А из тех саней, что были оставлены для досмотра, за ночь еще пять оказались раскуроченными — кто-то выпотрошил полозья. Караванщики не торопились со сборами — еще не все проверено, но таможенный голова вдруг отпустил всех, обреченных на жестокую проверку. Караван зашумел, засобирался проворно и вскоре зазмеился в распадке, пропадая из виду. На истоптанном снегу остались изувеченные розвальни, поклажа с которых разместилась на уцелевших подводах. Провожая взглядом последние сани, один из таможенных служащих выругался:

— До чего ж ночь, растуды ее, коротка...

Другой, видимо, не такой хваткий и жадный, сказал примирительно:

— Лишь бы государев товар не задеть. А чево мы не успели — в Иркутском допотрошат. И там тоже надо. Не все нашему Потапу на лапу... Обо всем прочем товаре пусть у комиссара голова болит.

Да. Был в том караване товар, о котором болела голова купчины Гусятникова. Был. Вез его до Селенгинска Гусятников по заказу самого Петра. Вез...

Крепкое сдобное тесто натирали томские бабы — время печь жаворёнков пришло, день Сорока святых — сорока мучеников. Бабы сдобряли постряпушки конопляным маслом, а иная затейница, вылепив птице тестяную головку, всуоупливали на место глаз жаворёнку конопляные зернышки. Крылом не дрогнув, конопляным глазом не моргнув, летели хлебные птицы прямо в зарево печного затапа, опускались на раскаленный глиняный под и, получив желтоватый печной загар, снимались с капустного листа и выпархивали из рук хозяек прямо на долгожданный стол, где ребятня принимала их, радуясь. Да и девушки-созревушки, коим уже подошло время петь весенние заклички, тоже радовались, таясь. Припрятанные с утра жаворёнки будут ближе к вечеру тайком схоронены за край шубного отворота — поближе к груди, понесут их молодые девки на гумно, чтоб крошить жаворёнков да разбрасывать, да песни петь — за-

кликать весну! И не столь песня сладка, сколь давнее знание и ожидание — будут караулить девок на гумне молодые парни: всем ведомо, что не только закликать надо жаворёнков, но и кормить. А по обычаю древнему, неиссякаемому, невозможно кормить зазываемую птицу и весну закликать без парня. А иначе какого же плодородия ждать от чрева земли, когда все готово пробудиться и принять в себя зерна посева?..

Как хорошо знал эту пору и до малой подробности вспоминал ее Степан Костылев, когда за крайними заселками под Томском увидел толкотню у придорожного овина — девки и парни там табунились со смехом и гомоном: заклички затевались. И где-то там, у него на Ишиме, верно, сейчас тоже такое сборище голосистое, радостное. Прямо хоть бросай обоз монастырский да сломя голову по хрусткому насту к молодым вприпрыжку мчись. Но Степан огляделся, не одобрит его порыва чернорясная братия — по делу выехали за город, рыбой запастись.

В артели монастырской он оказался не один из мирских: еще какой-то нестарый мужик из посадских сидел в передовых розвальнях, чтобы указать место, на котором разрешено монастырю вести нынче подледный лов рыбный. А Степану выпало попасть в артель — будто в подарок. Резчик иконостасный Поднебеснов, с которым Степан приехал в томскую Алексеевскую обитель, уговорился с отцом-экономом, чтоб и тоболям рыбке перепало. Дескать, помощник свою часть работы загодя исполнил, пусть на реке разгуляется — всю зиму-зимскую в столярной избке провел. Степан в тот разговор благодарно глянул на своего старшего — медом не корми, а на реку отпусти. За минувший год он сдружился с Поднебесновым, несмотря на разницу в летах. Хоть и лежала у Степана душа к делу, уж и близился конец работе — все части надвратной сени в главном храме монастыря готовы были почти, но привычка к речной воле дала о себе знать.

Словом, рад он был и пофыркиванию коней, и сосняку над крутым обрывом. А уж как спустились к реке, минуя извилистый лог, укрытый по склонам заснеженным березняком и тальником, да когда выехали на лед — оглянулся Степан на отвесный утес, раскаленный закатным солнцем до багрово-сизого цвета — тут и вовсе душа расправилась. Невольно кремль Тобольский на высоком мысу встал перед глазами. И даже пожалел Степан, что город Томский поставлен не

здесь на высоком берегу — вон и место на утесе для храма пригожее, — а где-то там, за густым сосняком, сбегаящим по скату холма к низкому берегу Ушайки.

По правде сказать, за год житья при монастырской работе мало у Степана было дней, когда он выходил в город. Жилье они с Поднебесновым снимали рядышком с обителью в Шумихинском закоулке, где в зарослях черемухи и белотала прямо к Ушайке приткнулось несколько дворов.

Хозяйка избы при первой встрече особого привета не оказала. Посмотрела на Степана коротко, но остро и тут же перебросила взгляд на иконостасчика Поднебеснова. Старик показался ей подходящим, она без промашки определила в нем ровесника — шестой десяток на излете. Малость даже и глаза ее теплотой подернулись, но ненадолго и, повернувшись сухопарой спиной к мужикам, она ушла к себе в закут, только и сказав: «Обживетесь, а там и видно будет...»

Что видно будет, Степан не понял, но недосказанность хозяйки-Марьи обрела свое значение месяца через два, когда и хозяйка, и постояльцы уже пообвыклись и по вечерам было много порассказано друг другу о житье-бытье. Хозяйка-Марья жила в Томском городе лет двадцать. На прокорм она зарабатывала тем, что пускала людей на постой, да еще тихим своим ремеслом. Когда она убедилась, что и Степану, и старику можно доверять, она однажды вечером попросила помочь ей взгромоздить на печь железный кубоватый сосуд. Из него несло кислятиной, и Степан воротил от этого запаха нос, а Поднебеснов, смекнув, к чему идет подготовка, зародовался: «Давай, давай, хозяйшка! Может, тебе и печь пошибчей растопить?..» Марья глянула на него: «Незачем. Ты в моем деле толку не имеешь. Мое дело на тихом, на тонком огне получается — чтоб пенку самую не сжегчи...» Показывая колобок теста в руках и примазывая им какую-то хитровитую трубу к кубу, добавила: «Да уж теперь и сама справлюсь, вам спать время».

Но выспаться Степану в ту ночь не пришлось... Поднебеснов вертелся с боку на бок и что-то бормотал, а Степану мешал спать неотступный запах и бред, будто он, Степан, снова оказался на Тобольском базаре и его догоняет тарский казачий голова Чередов. Степан вроде петляет меж лавок, убегает, прячется, наконец, в какой-то высокой бочке, нырнув в нее без раздумья — лишь бы укрыться. А Чередов запустил

пятерню в бочку и достает его за волосы и окунает снова и снова, приговаривая: «Прихлебни, милоч, напоследок еще прихлебни». Степан стиснул зубы до скрежета, ему пока удастся не сделать и глотка, но бочка наполнена чем-то таким, что издает запах всепроникающий — Степану кажется, что при каждом вздохе он пьет носом что-то отвратительно сивушное. Зубы стиснуты и, если он откроет рот, то влага ворвется в него и разнесет тело на куски... А Чередов окунул его и гнетет ко дну, не вытаскивает наружу: вот-вот придется зубы разжать...

Степан встрепенулся из последних сил, вырываясь и, казалось, пришел в себя. Жара в хате стояла плотная и тяжкая. Весь в поту, он тем не менее не чувствовал, что вынырнул из дурнопахнущей бочки, хотя уже смог отбросить чью-то руку, державшую его за волосы. Степан огляделся в полутьме — то была рука вовсе не Чередова. Это метавшийся во сне иконостасчик бессознательно опустил свою пятерню на голову подмастерья и сжал его нечесанные патлы. Бог весть, что снилось старику. Но Степан, выйдя из бредового сна, понял, что они оба как будто плавают в сивушном запахе самосидки — хозяйка всю ночь курила вино.

Они больше не уснули до утра, хотя делали вид, что спят.

— Вставайте завтракать, постояльцы! Вон уж белый бычок в окна тычется. Светает, — усталым голосом из кухонного закутка окликнула их Марья-хозяйка.

Поднебеснов проворчал:

— Да уж лучше б и не рассветало. Не пили, так от какого лиха закусывать?..

— А можно и выпить. Я дам... — донеслось из-за занавески. — Пока вы вылеживались, я уж все и разлила да окупорила.

— Не-е-е, — протянул не очень уверенно иконостасчик. — Дело ждет.

Кое-как погоняли постояльцы по мискам худую постную похлебку и ушли в столярную избу. Почему-то в то утро дело у иконостасчика не ладилось: то за линию, намеченную углем, заезжала стамеска, то клюкарза не та в руки попадалась, когда надо было подныривать инструментом под тонкий лепесток деревянного цветка.

Поднебеснов бросил инструмент под верстак:

— Нет. Пойду я все ж свою гордость исправлять. Зря утром от чарки отказался. Конечно,

первачу сразу, еще ночью, хотелось, да уж ладно, и теперь не поздно.

Сказал, нахлобучил шапку и скорым шагом — за дверь. Вернулся через час и с порога заявил:

— Винокурка-то у нас шибко юровая. В стенку вдарь — отскочит.

— Не потрафила? — усмехнулся Степан.

— Да уж плеснула, а не первач. Вся лавка посудная корчажками да сулейками уставлена и во всех — разбавлено. Эх! Кабы ночью — первого потоку капель да полную чарку. До чего я люблю первые... И тятка мой любил. Я с им и попробовал в начаток, в первоначал...

Подзахмелевший старик стал вспоминать о своем отце, с которым он разъезжал в артели по северным беломорским погостам и монастырям:

— Я уж выюношем был — в пору вошел, за один гульный стол было мне дозволено с мужиками садиться, когда на два года стали в Соловецком. Тот подряд был всем подрядам подряд. Отец-настоятель Преображенской не поскупился — киворий* заказал, не то что здесь в Томском... Э-э, брат! Там на восемь граней выходила сень. На каждый соловецкий ветер — грань! Да вот как стали тот киворий освящать, да освятили, тогда сам архимандрит велел нам подать лучшего горячего вина, самой первой руки — монастырской высидки! Как попробовал я того зелья — поутру головушка моя, аки тот киворий, и даже пуще — не могу граней сосчитать, руками за башку держусь и со счета сбиваюсь... Вот то было монастырское, соловецкое зелье. А тут... Тут у нас в Алексеевском никто не празднует. Да и работу задали — проще некуда. Правда, и такая работа для двоих — дело коповатое, глядишь, еще полгода прокопаемся...

Не экономя монастырский, а Марья-хозяйка устроила своим постояльцам праздник. Рождество подоспело. Позвала еще и соседа — кузнеца Собянина с женой — у него резчики правили и калили инструмент, как не позвать. Кузнец, худой и мосластый, пришел со своей женой-толстухой, усестся которой, казалось, и лавки не хватит. Она восседала у стены пышной копной, и рядом с ней кузнец торчал, будто кол, поставленный для высокого стога, но забытый. Хозяйка потчевала гостей вином своей выделки, не жалея, ква-

шениной угощала, холодцом и соленьями, сама прикладывалась помалу, а на Степана поглядывала с уважением — вина совсем чуть пригубил.

Кузнец с Поднебесновым догулялись до песен, и бабы нестройно, но голосисто пытались их поддержать. Но общая песня как-то не задась, и Собяниха, хлопнув себя коротенькими ручками по животу, мешавшему ей подсесть к столу вплотную, воскликнула:

— Ну вот, спаси господи! Напилась, наелась — теперь меня ни один демон не поднимет!

Кузнец принялся выкорчевывать ее из-за стола и уж довел до порога, как вдруг Собяниха сделала косой шаг и рухнула в сени.

— Давай ее перекачим на улицу, а там и поднимем, — предложил Поднебеснов.

И они покатали Собяниху во двор, но, не в силах справиться с расплзающимся бабьим телом, на ноги ее все же поставить так и не смогли. Почесав затылки, покатали жену через дорогу — дом рядом.

Марья-хозяйка, перекрестясь, едва руки-ноги Собянихи исчезли за дверью, призналась:

— А как их не позвать? Кузнец мне все для обихода ладит. Как что — к Егору. А чем платить? Да хоть куда кинься, а без вина нынче ни одно бабье дело не сдвинуть...

— Куда ж сын пропал? — вспомнил Степан слова хозяйки о том, что сын у нее где-то далече.

— И-и-и... — махнула рукой Марья, отворачиваясь. Помолчала, глядя в темень малого оконца, и как будто сама себя успокоила. — Его-то, блудню, че поминать. Как сходил мой Михайла с отцом, чтоб отцу такому буявому ни полцарства небесного не видать, сходил еще мальцом на какой-то Каштак, так с той поры и в разум войти не может. Отец его — третий муж мне был. Я уж и не рада, что сына нажила с этим мужиком. Я три раза мужатая была. Двух-то на Илимском погосте оставила. Первого медведь заломал. Второй утоп, — хозяйка перекрестилась. — Ну, а третий и сманул меня с места, — говорит, не заживемся на Ангаре, — тут у тебя мужики гибнут. Айда в Томской!.. Ну, пришли, сын уж и подрастать стал — да все с отцом. А тут Ржевской воевода погнал томских мужиков на этот Каштак руду копать, серебром, говорит, огрузимся. И сын за отцом пошел. Ну, накопили они себе на голову. Другие дак почти все вернулись, а моего калмыки али татарове какие на том Каштаке, будь он проклятый, прибили. Я ж мужа-то норов знала — суется, было,

* Киворий — на престольная сень.

всегда поперед. Кто я — Фролка! Сунулся. Там и схоронили. А Мишка мой, как вернулся с Каштака, на другое лето опять куда-то пропал. И так кажно летичко — невесть куда уходит, шарится где-то по тайгам. Че шарить? Че потерял? Отца. Дак не добудешь с того света. Зимогор какой-то, прости господи...

— И вправду — для чего искать, коли не терял, — поддакнул старой Степан.

— Да голову он свою там на Каштаке потерял. Вишь — нашли они там серебро, да калмыки им его взять не дали. С той поры Михаила к лету — будто в омраке* — пойду искать, добрые люди сказывают, где-то, акромья Каштака, оно хоронится.

Степан вспомнил свой поход к степным могилам, но ничего не стал рассказывать о тех курганах, которые они вместе со стариком Силантием раскопали. И о золоте вслух не сказал — для чего старой бабе такие речи.

Пока они беседовали, как-то за разговором и забылось — а где ж Поднебеснов? Тот явился уже в потемках, нашарил дверную ручку и, представ в облаке пара, весело крикнул:

— А вот и демон к вам явился!

— Да какой из тебя демон? Ты ж не поднял Собяниху, а катом, катом покатыл ко двору, — усмехнулся Степан.

— Нет, мы с кузнецом теперь оба-два демоны! Мы ее подняли и на тулуп!

Видно было, что они с кузнецом еще крепко приложились к чарке, радуясь празднику и успеху в обхождении с Собянихой. Иконостасчика, по всему, тянуло вспомнить молодость и еще погулять-попить:

— Степка! Шас мы с тобой примем святочный образ — разнарядимся медведями и пойдем вдоль Ушайки по дворам — душе веселья не загородишь. Глядишь, медведушек-сударушек сыщем...

— Тебе? Сударушек? — хмыкнула Марья-хозяйка с легкой улыбкой. Степан увидел кратко, как лицо ее скуластое, что-то татарское в нем проглядывало, даже повеселело, морщины не скорбно заиграли у глаз.

— Че искать, коли своя сударушка дома, — упрекнула хозяйка постояльца, вроде бы и в шутку.

— А тебе, Марья, — качнулся над столом Поднебеснов, — надо сидеть дома и пред зеркалом на жениха гадать. А мы пойдем... — еле выговорил и уронил голову на кулаки.

— Да я-то свое уж давно отгадала, сердешный, — ответила хозяйка. — С мужиками мне одно безгодие*.

Но иконостасный мастер не услышал ее. Он ровненько, умиротворенно посапывал, не имея более сил впускать в себя желанного рождественского веселья.

С людьми старой веры Степану в Томске сойтись не посчастливилось. Они становились малоразговорчивы, видя его ежедневное хождение в монастырскую столярную избу. Коль робит с никонианами, значит, чужой. Так и вынужден был Костылев жить одинокодушевно, и веру свою носил в себе. Так и память — церковь не в бревнах, а в ребрах. Иконостасчик Поднебеснов оказался человеком хоть и пьющим, но благосмысленным и весьма знающим старые правила своего редкого дела. Он спрашивал: «Степка! Ты вот смотришь на решетки кивория, кои резьбой крыты. Ведаешь ли — зачем я помещаю в самой середине образ Серафима шестикрылого? Нет? Понеже — малосведущ. Знаешь точию одно — лоб свой долбить двоеперстно. И как ты не чел никогда правил древлеотеческих? Чел, говоришь. А до архангелов и ангелов не добрался? А-а! Книг новопечатных не разумеешь. А тогда как же быть с Дионисием Ареопagitом? Он еще дораскольный наш отец...

Слегка разыгрывая Степана, резчик малопомалу вводил его в смысл своего дела. Когда бы еще задумался Костылев — зачем в храмах сень надвратная и почему лики херувимские поверх дуги, утвержденной на столбах, располагаются. Ничего подобного он в старообрядческих молельнях не видывал. Там все было просто и сурово: кивот и темные лики.

«Ну-ка! Ответь мне, Степка! — затевал свое обучение резчик, накалявая на чистые тонкие доски изображение густотравчатого узора, обвинившего образ херувима. — Как ты толкуешь слова пророков наших о том, что Бог соделал спасение посреде земли? Что у вас на Ишиме об этом говорят?» Степан краснел — ответить было нечего, не силен он в книжном знании. Конечно же,

* Омрак — обморок.

* Безгодие — несчастье.

мастер знал об этом и не спеша, давая молодому возможность призадуматься, начинал растолковывать смысл древнехристианского откровения. «Посреде земли – сиречь в Ерусалиме. А понеже Ерусалим как град не может быть для всех языков посреде, а храмы наши повсюду, то и должно быть так, чтоб престол господен стоял прямо посреде земли под ее небесами: в любом граде и веси. Вот на столбах, кои ты топором обтесал да рубанком выровнял, мы и утвердим купол и дуги – будет твердь небесная над престолом куполом восходить. А землю будет сам престол и на нем неизречно и невидимо будет стоять наш Спаситель. Тако, Степка, и будет исполнено пророчество... спасение посреде земли, и никакая нам сила нечистая сего сотворить не помешает, сим и выполним мы свое предназначение, аки ангелы».

При этих словах Степан не выдержал и усмехнулся: «Да уж какие мы с тобой ангелы? Во грехе рождены и во грехе живем». «Нет, Степка! Ангелы мы, ангелы, как и все в миру. Вот недоука! Тебе бы надо испросить у архимандрита книгу Ареопагита, чтоб слово его исповедное узнать». Степан тихо, но неизменно отнекивался: «Да проку в том чтении... Старик наши на Ишине говорили, дед Силантий мне говорил, будто Благодати Божией несть в никонианских книгах. И даже святого причастия уж какой век нету – кончилось с последним вселенским собором...»

«Да ты вовсе аки недоверок какой толкуешь! – возмущался Поднебеснов. – Ты хоть думал ли – когда Ареопагит свои книги писал! На то время его труды пали, когда прапращур Никон еще и роду-племени своего знать не знал. Благодать Божию ты не замай – рассуждаешь, аки прелестник еретический. Мы с тобой тут дело делаем чего ради? Есть на свете Благодать, есть! Мы с тобой ради нисхождения Благодати Божией и на нас, и на всех делом заняты. Да не пойдешь ты к архимандриту – знаю я. А потому слушай, недоука. Перво – кто такие ангелы. Все они разделены на девять ликов и еще на три чина. В сени напрестольной положено древним каноном устанавливать образы тех, кто ближе всего к Богу Трисвятому. Потому Херувимы и Серафимы прямо под краем купола – они первыми свет и весть от Господа нашего получают. В чине втором Господства, Власти и Силы. А к третьему чину причислены Ангелы, Архангелы и

Начала. Благодеянья Божие низшие получают чрез высших. А мы с тобой тех горних истин, кои получают Херувимы, никогда не узрим сами, но причастимся их чрез иереев, вхожих в алтарь, а Божественный свет истины получим чрез слово. Иереи – то же, что херувимы; диаконы, чтецы и песнопевцы – вторая троица, именуемая властями и силами, а третья часть – народ православный – ангелы есть! Уразумел?»

«Таких толкований со мной дед Силантий не вел», – думал Степан, но согласно кивать наставнику своему не решался – в уме не помещалось, что он, Степка, вынужденный бежать прочь из ишимской слободы, из Аремзянки, а потом и из Тобольска, может считать себя причисленным к троице ангелов. Нет. Какое-то плохое согласие с вечно греховной долей человеческой. А вот там, где его наставник толковал о спасении посреди земли – те слова прямо в душу попадали. Была б воля его, Степанова, поставил бы он храм Спасителя посреди этой земли – вон на том утесе над Томью, чтоб каждому путнику издали было различимо – и здесь сотворяется спасение.

Воспоминанья своего житья рядом с умным человеком не мешали Степану заниматься делом на реке. Вместе с другими он долбил пешней огромную майну и лунки – скоро они запустят через них сети под воду, растянут их поперек плеса, а наутро пойдут проверять улов.

Монахи работали споро, переговариваясь о делах мирских, о всяких пустяках и даже подшучивали над одним из своих братьев. Он неуклюже елозил лопатой по неглубокой яме, выгребая ледяное крошево. Мелкие осколки прозрачного льда плохо поддевались деревянной лопатой, и те, кто скалывал лед пешней, поторапливали:

– Живей, живей, брат Никодим! Небось и твоя душа тоже рыбки просит!..

Монах поднимал на собратьев рябое, битое оспинами лицо, смахивал полую рясы пот со лба, подтыкал полу за пояс и виновато улыбался:

– Мелко крошите, братья. Неухватные крошки...

– А ты поухватистей стань. Небось вспоминаешь – как красны девки на гумне заклички петь собрались. Вот бы тебе туда – ты бы там поухватистей обошелся. Не говорил бы небось, что крошки от жаворёнков мелкие. Залюбодеил бы в соломку-то каку покрупней закличницу. А назавтра – грех замаливать! А? Никодим?..

— Да слово-то, тобой изреченное — твое желание выдает, — отвечал Никодим нападчику. — Вы и сами ныне небось ночевать будете не на заимке, а пойдете в овинах на баб сети ставить, — отбредивался рябой.

Похохотывали труженики — отчего не побалагурить на воле. Хотя каждый из них знал — да, сейчас к ночи начнется на гумне неистребимый обычай игры — закликать весну будут молодые. Но так же и знал каждый монах — ходу им на мирские игрища нету, а кое-кто из тех девок, что сегодня будут вожделеть во тьме овинов на гумне, днями попозже станут на исповедь и при вопросе: «В день сорока мучеников на соломе не валялась ли?» — потупят глаза и не сразу ответят, не решаясь приглушенно признаться в весеннем прегрешении.

Хоть и шутиливый разговор, хоть и мимолетно возник он да улетучился на речном льду — унес его талый ветер, но тлело то слово ночью в телах монашеских непогасимым мужским углем. Монахи спали на полу заимки вповалку, спали плохо, истомно кряхтя и постанывая во сне.

Над Степаном всю ночь летала его жена, будто лебедушка муженеискусная, боялась приблизиться к нему, сколько ни протягивал к ней руки Степан, не в силах оторвать усталое тело от соломенного ложа и сбросить с себя овчинный тулуп.

...Он пробудился раньше монахов и долго очищался от искушений во сне молитвенным словом.

К полудню уже и первые сети вытащили, и скудный улов на льду валялся, когда с верховий реки вдоль темного берега показались всадники — человек тридцать.

— Кого там Бог послал? — прикрыв брови козырьком рукавицы, прищурился монах Никодим.

Конники приблизились к рыбакам, и стало видно, что вместе с людьми в казачьей одежде едут укутанные в меха не то татары, не то калмыки.

— Бог в помощь, православные! — бодро приветствовал передовой казак рыбаков. Таскать вам не перетаскать!

— Спаси, Господи, — ответили монахи. — Потаскать никто не прочь. Да вот рыбы сорной больно много.

— А вам бы стать на стерляжий плес. Тут-ка вы один сорожняк ловить будете. А тамо-ка, —

казак указал рукояткой плетки выше по реке, — тамо-ка и нельма-матушка ходит.

— Рады бы стерлядки словить, ан место нам здесь отвели, — посожалел старший из монахов. Опершись на черен пешни, он рассматривал конных. Полюбопытствовал уважительно:

— Откуль вы сих язычников ведете? Сами откуда будете?

— Да откуда и вы — из Томскова. Годовали в Чаусском остроге. А калмыков ведем под присягу. С Чумыша они. Напросились в присягу. Говорят, и шерть дадут, и аманата оставят — вон того, в козловом кожанае. Тастаракаем его все называют.

— И много их под государеву руку идет? Много их там, на Чумыше?

— У этого княженка всего пять юрт. Кочевкой по реке скатились и зимовали.

— А откуда скатились?

— Бог разберет их. Говорят, вверх по Обе раньше кормились.

— Там, видно, и православного жилья нету? — не унимался с расспросами старшой из монахов.

— Не токмо православного, а и никакого. Эти перезимуют на Чумыше, а весной могут и в степь на левый берег Оби залиться. А могут и к горам поближе. Обь — река вольная, там раздолье.

79

Степан во все глаза разглядывал людей, названных белыми калмыками. Неужели это из тех калмыков, что набегают на русских людей и в плен уводят? Прямо чудно — как же они от своих князьков отреклись и пришли свои лисьи шапки ломать перед русскими воеводами? Да и одежда вся меховая: от сапог из лосиных голяшек до шапок. Кони у них добрые, лохматые, на морозе таким не страшно. Шубейки на всадниках справные, сукном и атласом покрытые. Только вон на том, которого называли Тастаракаем, все какое-то обтерханное надето, кожа даже лысая на шубейке, а подошвы сапог сыромятью прихвачены, онучи торчат из дырок.

Калмыки тоже разглядывали рыбаков, дивясь одинаковой одежде артельщиков — это были первые русские, которых они видели после Чаусского острога. Монашья хламида их, видно, занимала больше, чем то, что лежало на льду — улов. Но вдруг один из белых калмыков спрыгнул с коня, подошел к пойманной рыбе, ткнул коченеющее тело щуки мягким сапогом и что-то стал бормотать, показывая вверх по реке.

— О чем он лопочет? — спросил Никодим казака.

— Навроде хорошей рыбы, — ответил молодой крепкий казак с узким шрамом на левой щеке. Правда, одежда на нем была вовсе не казачья, да и ни сабли, ни ружья при нем не было. Но говорил он уверенно, как будто знал здесь всех и понимал язык любого. — Говорит, ловить рыбу надо там, где они зимовьем стояли. А и впрямь — рыбка у вас неважная. Плюньте на запрет да на полверсты выше по излучке майну рубите — там стерляжье место. Кто вам тут вдолгяд?..

— Ну, ладно, отцы-монахи, — сказал казачий старшина. — Нам уж малость самую ехать до дома осталось. Дома в городе не разминемся. Свидимся.

Путники легкой рысью пошли по реке вниз, в сторону города. Цепочку замыкал Тастаракай. Рядом с его лошастью торопливо перебирала лапами, иногда переходя на бег махом, добрая собака с острыми ушками, и хвост ее пушистым калачиком покачивался в такт бегу. Годовальщики, отъехав с версту, свернули к берегу, растворяясь в густом березняке, а Никодим поглядел им вслед и, повернувшись лицом на полдень, будто бы никому, а так — сам себе, сказал:

— Пойти бы на те реки калмыцкие, да поставить там обитель малую какую, да жить бы там в трудах: ловить белорыбицу, тайгой и рекой кормиться и более ничево не знать, кроме труда да молитвы...

— Давай, кормись пока тем, что Бог на Томи послал, — беззлобно сказал Никодиму старшой из монахов. — Бери пешню, пойдем нову майну задолбим. И впрямь место нам попало неведучее.

Слова Никодима струнули в душе Костылева будто заслонку какую — он вспомнил, как в свое время в смолокурке высказал он, горячась, свое желание деду Силантию — уйти в степь да жить там одиноко. И что-то защемило внутри. Слова деда о калмыцком аркане Степан и не вспомнил, а встали в памяти слова Силантьевы о том, что не дошли они до желанной вольной земли, остановились на Ишиме, а Ишим — не Беловодье, антихристу на Ишиме все достижимо. Как же дед сказал тогда про горы?.. Да. На краю степи горы синели... Там искать надо. Чево искать-то? Вон те люди — калмыки, ходят туда, по словам казака, когда им захочется, а вишь, и к городу опять

же прибиться хотят, шертовать приехали. Че им там не вольница, что ль — у себя в степях да в горах?

В Томск Костылев вернулся только к Благовещенью. Рыбачья работа на продуваемой ледяной реке измотала его. Да к этому еще и великопостное воздержание добавилось — даже и маслица вкусить в эти дни было делом греховным. А вот в праздник дозволялось и рыбную пищу принять. Степан возвращался в город в предвкушении доброго стола на следующий день, и уже виделось ему — хозяйка завтра разольет по глиняным мискам дымящуюся уху, а он с Поднебесным будет погружать ложки в густое варево, поигрывающее жирными блестками при свете утра.

Все почти так и вышло, но за стол Степан уселся не только с резчиком. Вечером, едва он вошел в переднюю избу, как хозяйка встретила его присловьем о блудном сыне. Степан удивился такому встречанью, раньше он у Марьи-хозяйки сыном не навеличивался:

— Какой же я блудный? Я с рыбаками...

— Не про тебя сказ. То про сына моего. Сами без меня с ним тут сходитесь. Я к повечерию тороплюсь, — уже с порога договорила хозяйка.

— Э! Брат, да я видел тебя, — сказал Степану молодой парень, вставши в дверном проеме жилой части избы. Ему было тесно промеж сосновых косяков невысокого входа, и потому он смотрел на Степана как-то снизу вверх.

— Где ж ты меня мог видеть, коли был невесть где? А я тут — в Томском.

— Да на реке. С монастырскими. Я еще глянул на тебя и смекнул — у них на молодых послушников рясы не хватило. Все в монашеском, а ты в мирском азамчике, — с этими словами сын хозяйки вышел на свет.

— И то правда. Теперь и я тебя вспомнил, — ответил Степан, разглядывая на лице Марьиного сына узкий шрам.

— Ты проходи, проходи, — стал зазывать Михайла постояльца в красный угол. — Мать моя и прохожему, и проезжему место под образами всегда находила.

...И вот они сели в день Благовещенья за стол: радостная мать с сыном-зимогором да два ремесленных мужика — и принялись за разварную рыбу, прихлебывая крепкой ущицей. Разговелись чаркой Марьиной высидки, и тепло загу-

ляло по телу будораживой волной, и слова застолья тоже были теплыми. Хозяйка не знала — чем бы еще мужиков попотчевать. Стая мисок, вылетая из рук Марьи, заполонила весь тесовый стол.

— Ну, Марья! В сей день для тебя вдвойне благая весть: царь наш небесный — искупитель наш был Марии обещан архангелом Гавриилом, а твой сын не токмо обещан, а уж и за столом рядом.

— Мне его с дороги сорока настрекотала, — плыла в улыбке хозяйка. — Поздно мне архангела либо голубя ждать. Да мне верней архангела сердце мое весть дает — вот-вот должен Михайла явиться. Ан, глядь — его сапоги уж на крыльце. Вот мне и благая весть — скрип с крылечка. Да и слава господи, и царице небесной слава — не сгинул в дороге. Выпейте за праздник, — без усталости чистила словами хозяйка, смешивая воедино благодаренье небесным хранителям и радость свою материнскую.

Наблюдая эту радость со стороны, Степан все же не мог целиком влиться в нее. Волей-неволей не гасло в душе печалование о том, что деется без него на Ишиме: как-то там встречают престольный праздник его сродники — дед Силантий и жена его, дядья и дальние родичи. Верно, собрались вот так же за столом.

С Ишима на берег томский Костылева возвратил шумный во хмелю иконостасчик, он к обеду уже был пьян и опять, не имея силы встать, собирался к сударушкам.

Но в город на гулянье после полудня пошли только Михайла да неожиданно для себя заразившийся его задором Степан.

Время на дворе стояло — между санями и телегой. Раскисший снег был налит водой, кое-где немощеная улица уже проглядывала чернотой земли, деревянные мостки через Ушайку исходили паром, а взлобок горы, на которой красовались церковь и крепость, был уже совершенно чист от снега. Развеселые сани, запряженные в тройки, разбрызгивая серую снежную кашу, пронеслись по полого вздымавшейся дороге мимо крепости к невеликому озерцу и торговой соляной площади на горе, а оттуда навстречу тоже летели гуляки на взмыленных лошадях. Пеший люд, выбрав местечко на пригорках посуше, замирал, томясь и млея под солнышком, согретый духом праздника и простой земной мыслью — ну, кажись, перезимовали!..

— Вишь, даже и нехристь празднику рада. Поглазеть вышли, — беззлобно сказал Михайла, когда они с Костылевым проходили вдоль деревянной подпорной стены Обруба на правом берегу Ушайки.

— Какая нехристь? — спросил Степан и тут же увидел в толпе несколько калмыков.

— А вон Чаптын со своими, — кивнул в их сторону Михайла. — Говорят, после праздника они шерть нашему коменданту давать будут. Вот и приглядываются к нашему уряду-укладу.

— Шерть — не крещение. У нас на Иртыше юртовские татары тоже шертуют, а живут на свой лад.

— Оно и эти лада своего не поменяют. Видно, их там кто-то из своих князьков обидел, вот и подсыпаются к Томску, бережи ищут. А как помирятся со своими — так и шерть по боку. Встречал я таких на Томи повыше, как от Кузнецка шли, наезжали на наших годовальщиков да огня ружейного испугались.

— По Томи ты доверху ходил? — спросил Степан.

— Нет. Там зюнгорцы всех под своим сапогом держат. Хоть и мягкий у них сапог, да крепко к земле прижимает. Там вверху по всем рекам — зюнгорцы.

— То же и у нас на Иртыше, — согласно кивнул Степан и еще спросил: — Ты на Иртыш не хаживал ли? Матушка твоя говорила — ты кажно лето пропадаешь куда-то. Для чего?

— Да не мимо дела хожу, не мимо... — усмехаясь, ответил Михайла.

Не диковинка для Томска — инородцы, но на Чаптына и его людей, робко проходивших сквозь разгулявшийся народ, обратил внимание не только Михайла. Из глубины гульбища людского возле торгового двора разглядывал иноверцев и фискал Фильшин. И отмечал свое: «Вот еще одна пожива с мягкой рухлядью для коменданта».

Фильшин запоздало снялся из Иркутска, наперед зная, что не поспеет в Тобольск санным путем. Но еще одно лето летовать в городе, где ждать ему было нечего и некого, он не хотел. И вот весна застала его в Томске, и застрял он здесь, но не досадовал, поскольку знал наверняка — в любой город сибирский войди, оглядись да вслушайся — и найдешь дело себе. Тем более Томск был уже года три как на заметке у терпе-

ливого фискала. Еще в те годы, когда здесь воеводствовал Федор Колычев, заслал губернатор сюда своего соглядата Молчанова. Тогда гремел по городу розыск воеводы над своим помощником Качановым — в кормчестве тайном обвинял его воевода. Надо бы радоваться — сыщик поможет в разбирательстве, но Качанов оказался проворнее и сговорился с Молчановым раньше воеводы. И Молчанов люто встал на защиту тайного винокурщика, а самого Колычева винил в разорении народа. Фильшин знал цену той зашиты — посеребрил ручку сыщику Качанов, и потому тот набросился на главу местной власти и досталось даже коменданту Траханиотову — и его винил во взятках губернаторский посланец. О тех сплетениях: кто кому дал, кто взял да у кого взял, — Фильшин вызнал еще в Тобольске от дворовых людей Траханиотова, когда поукас видимый скандал.

И вот теперь, глядя на праздную толпу, думал: «Как все благодно и пристойно. А и хорошо, что есть праздник... Хотя бы один день люди не сварятся, не грызутся. Душе передышка. Злоба остывает... Обиды не кипят, затихают...» В самую благодущную минуту своего раздумья неожиданно-негаданно столкнулся Фильшин нос к носу — так вышло — с иркутским таможенным головой Замощиковым. В Иркутске таможенник, теперь уже бывший, и на людях, и неприлюдно сторонился фискала, будто заразиться какой болезнью боялся. А тут сам руки распахнул на вопрошанье фискалово:

— Ты-то здесь как очутился, Трофимушка?..

— С последним караваном. Иного ходу не было. Чтоб вдогон не послал Ракитин — я и улучил последний. Пускай теперь по хлябям догоняет — дороги нету, — обрадованно ответил Замощиков.

Фильшин вспомнил горячие отношения Ракитина и таможенника, Рупышева вспомнил в праздничное гулянье иркутское, просящего пощады таможенника с кубком вина в руках... Но он так и не добрался до тонкостей той вражды, таможенник что-то берег и не высказывал. И вот, кажется, случай поговорить выпал иной:

— Думаешь — вода тебя от Ракитина отгородит?

— Нет. От Ракитина и Ангарой не отгородишь. От него токмо князь Матвей Петрович оборонить может.

— Так он и оборонит... — усомнился Фильшин. — Он же Ракитина ставил на комендантство.

— На праведное комендантство! — нажал на предпоследнее слово таможенный голова, и в глазах его засветился огонек мстительности.

— Так в чем же его неправда? — с готовностью наострил ухо фискал.

— Ты уж не вини меня, — глянул на него открыто измученный и какой-то пригнетенный Замощиков. — В Иркутском я от тебя нарочито отходил. Опасен я был — наши с тобой разговоры дойдут до Ракитина. Иркутск — город многоушатый. А тут... — таможенник попытался улыбнуться. — Да кто нас тут знает? Тут и напрямки потолковать можно.

— Почему и не поговорить! — возликовал фискал. — Ты где на постой определился? Видно, мы в Томском крепко застряли. Давай ко мне — у хозяев моих жилье просторное... Дождемся сплаву. Дощаники к Тобольску побегут. Переходи. Вместе твою беду перебедем. Да и какая нам беда, коли на дворе Благовещенье! Праздновать надо!

Замощиков согласился без раздумий.

Не откладывая дела, фискал тут же, идучи на квартиру, между прочими маловажными разговорами вставил:

— Как драка случилась у тебя на таможне, когда караван Гусятникова вернулся? Ни то приказчики меж собой сцепились, ни то таможенные кого-то побили. Одного караванщика, кажись, до полусмерти забили. Ущин ему имя, кажись...

— Ущин не приказчик вовсе. Я его давно знаю, по Тобольскому двору княжескому. Он в караване от князя Матвея Петровича. Ущин у него в рентерее самый наиважный меховой человек. Он лучше всех соболей парить* умеет. Князь его, видно, для присмотру за торгом в Китай посылал. Ну, может, и увидел Ущин чево лишнего середь караванщиков... Да князевы люди повсюду. Вся Сибирь проникли.

— Коль человек губернаторский — как же его бить могли? Да и за какую вину? Еле выходили, сказывают. Шибко били...

— Обожди с расспросами. Пока одно знаю — отбил Ущина от караванщиков швед гагаринский

* Парить — подбирать пару соболей по цвету.

Дитмар. Обожди. Дай раздохнуть от Иркуцка. Дорога до Тобольска водой ой-ей-ей какая долгая. Успеется...

Волков с Костелевым вернулись, когда солнышко уже покатило за зубчатый край сосен. И неожиданно для себя Михаила издали еще приметил — на подворье их дома толпились мужики, выжидая чего-то. На Михайлин привет не раздалось обычного «с праздничком!», один из чужаков выдавил гундосо:

— С каким уж праздником...

А когда Михайла со Степаном вошли в жилище, тут и поняли — недоброе в нем творится. Посреди прихожей валялся развороченный снаряд, в котором хозяйка еще несколько дней назад высиживала вино. Сама Марья, прижавшись к опечку, полуприсела на судную лавку, а перед ней строжилась невысокий человек в бараньей шапке набекрень:

— Знаешь, знаешь — корчемствовать запретно. А тебе все неймется. Вот и вышла передо мной — казенным человеком, твоя утайка! Вся наружу вышла! — при этом он пнул винокуренную снасть, и помятая жесть ответила глухо и уныло. — Сбирайся! Пойдешь со мной, — рывкнул в сторону Марьи казенный человек.

— Не на продажу я вино курила. Для себя только. Вот сын вернулся... — попыталась найти жалость в глазах сердитого мужика Марья. — Сын вот... Для него, для праздника...

— Сын? А с ним кто таков?

— Постоялец. Монастырским нарядом определен ко мне.

— Постоялец! Стало быть, и он с вами бражничал! А говоришь — не на продажу. Постоялец платит тебе — значит на продажу. Сбирайся.

Марья неуверенно потянулась за одеждой. Сын попытался отбить оробевшую мать от этого цепкого казенного клеша, но тот прикрикнул:

— Не лезь! А то и тебя за караул возьму, посидишь за частоколом, разберемся — кто откуда.

— Да я и без караула с матерью пойду! — взъярился Михайла.

И они ушли, оставив в доме непорядок и тишину. Степан запалил лучину в железный светец, прибрал малость в избе разбросанный скарб и присел на лавку понуро. Вскоре во дворе послышался хруст молоденького вечернего льда

и какое-то подобие песни — с гулянья возвращался Поднебеснов. На пороге он весело вскинул голову и, надеясь на вечернее застолье, брякнул:

— Хозяйка! Слезай с печи! Мечи калачи!

Но спустя минуту, разглядев угрюмого Степана, спросил приглушенно:

— А где Марья? Где хозяйка?

— За караулом наша хозяйка, — ответил Степан и перекрестился: «Отнеси, Господи, лихо стороной».

Наутро после праздника томский комендант Иван Щербатов вошел в съезжую избу, когда она была уже полна народу: все его подьячие, все подхватчики и казацкие старшины да и прочий олокомендантский люд — все были в сборе и толпились, беспорядочно и разнородно гомоня о том о сем, но над всеми витал единый сивушно окрыленный дух похмелья.

При появлении Щербатова гомон стих, люди расступились, и комендант прошел в красный угол, где был стол и насиженное место главы всей томской округи и где на самом видном месте на треногой подставке красовалось цареве зеркало*. Щербатов внедрил свое крепкое, еще нестарое тело в креслице — рассохшееся дерево тонко пискнуло под комендантом, и он, осмотрев притихшие лица, спросил канцеляриста:

— Клятва готова?

— Все изложил, господин комендант, — поклонился писарь, показывая свитую в продолговатый кругляш бумагу.

— На собаке клятва аль на медведине?..

— Не велик князек. Ему и на собаке довольно будет.

— Тогда зови, — разрешил комендант.

Слова щербатовские долетели до стоявших у двери казаков, они распахнули ее широко, и несколько голосов вразнобой прокричали:

— Давай, веди Чаптынку. Веди князьенку...

На двоевсходное крыльцо, переваливаясь с кривой ноги на кривую, взшел белый калмык Чаптын и вся его небольшая свита. Два казака, сопровождавшие Чаптына, остались у порога, но сабель, прижатых рукоятью к правой стороне груди, не опустили, а так и замерли, направляя

* Зерцало — треугольная пирамида с указами царя.

холодный синеватый блеск клинков в невысокий потолок.

Чаптын сделал несколько шагов к Щербатову и замер, выйдя на свет, сочившийся неярко сквозь слюдяные окончины. Видно было, что он волнуется, из-под лисьей шапки по круглым щекам заструился пот.

Иван Щербатов смотрел на белого калмыка без особого интереса. Щербатов служил в сибирских городах уже третий десяток лет — он был тертый сибирский калачик и в деле таможенном, и в деле розыском, повоеводствовал и на Нерче, и на Илиме и насмотрелся на обряд шертовальный* досыта, когда выходили из тайги мелкие приграничные князьки богдойские, чтобы укрыться под крылом русского острога или крепости от наседавших с поборами более крепких соплеменников. И этот Чаптын, замерший сейчас перед ним, не являл собой некоей исключительности. Для Щербатова нынешний день был обычным, комендант нес да и нес свою государеву службу, но для Чаптына — это был день клятвы и день веры в то, что отныне он будет знать и ощущать ежедневную русскую защиту.

Помолчал Щербатов и распорядился холодно:

— Коли шерть дает — пусть малахай свой снимет. Чай, белому царю присягает...

Чаптын мало что понимал по-русски, в дело вступил толмач, и лисий мех соскользнул с головы Чаптына, обнажив смоль черных прямых волос, вольно рассыпавшихся по атласным плечам его голубой шубы.

— Читай! — подтолкнул комендант подъячего к шертовальщику. И зачастил подъячий привычно и заливисто:

— Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белья России самодержцу и многих государств и земель обладателю, его царскому пресветлому величеству я, белый калмык Чаптын...

Толмач на каждый выдох читавшего откликнулся эхом.

Чаптын был вторым коленом эха — он повторял за толмачом впервые услышанные слова, запинаясь и давился их грозным смыслом.

И когда дело дошло до слов «...а если я, Чаптын, нарушу сию клятву на верность его царско-

му пресветлому величеству, то пусть со мной поступят, как с этой собакой...», у дверей люди зашебутились:

— Где? Где собака? Тащи ее суды...

— Не надо суды, — вяло приказал Щербатов. — Главные слова пред зеркалом сказаны. Не надо здесь. Тут в избе еще кровичи не хватало. Пошли на крыльцо, — и Щербатов махнул рукой в сторону двери.

Вышли, теснясь и толкаясь, образовали полукруг перед крыльцом, на котором грузно замер комендант, а Чаптыну, чтоб не стоял коленопреклоненно на голой холодной земле, бросили под колени ряднушку.

— Главные слова читай снова, — велел комендант подъячему.

— ...а если я, — вернулись вспять и чтец, и толмач, а вслед за ними и Чаптын, — нарушу сию клятву на верность его царскому пресветлому величеству, то пусть со мной поступят, как с этой собакой...

Помощники комендантские выволокли из-под крыльца собаку и растянули ее за четыре лапы, держа невысоко над землей перед Чаптыном.

И тут произошло обрядом вовсе не предусмотренное. Чаптын вскочил на ноги и замахаля руками, загорготал что-то часто-часто, обращаясь к Щербатову.

— Чево он? — повернул голову к толмачу комендант.

— Он говорит — для клятвы была им приготовлена своя лучшая собака. А эта, что перед ним распяли, — не его. Это русская собака.

— Где Чаптынова собака? — рывкнул комендант на своих подхватчиков, державших нарастяжку задворную шавку. — Куда, воры, дели Чаптынову собаку? — угрожающе повторил Щербатов.

Виновато уронивший голову помощник перебросил из руки в руку лапу дрыгавшейся дворняги и прижал правую руку к груди:

— Господин комендант! Повинен я... Я скрал собаку. Да разве ж мочь в руки придет — такую собаку пополам сечь. Ну, ту... Чаптынову. У нее ушки такие востренькие, хвост калачиком, а глаза — глаза по-человечьи смотрят. Да я с такой собакой в тайге сободем обвешаюсь с ног до головы. Разве ж рука поднимется такое счастье пополам сечь! А?

* Шертовальный — клятвенный.

Слова эти, выплеснувшиеся без вранья, тронули Щербатова, и он схитрил:

— Толмач! Скажи Чаптыну, что мы тут хороших калмыцких собак пополам не рубим, а для клятвы любой собачьей крови довольно. Да оно как-то и клятва крепше выйдет, коли собака пошелудивей. Коли шерсть кто преступит, тому и цена как шелудивому. Рубите, ребята!

Чаптын покорно стал на колени.

Собачонка предсмертно взвизгнула и, разделенная сабельным ударом надвое, мгновенно испустила дух. Кровью собачьей Чаптын помазал себе лоб и щеки, повторяя за толмачом слова клятвы. Плотная толпа томского служилого народа окружала его, склоненного над располомленной дворянкой, и голову кверху он поднял только тогда, когда ему сказали, что свою шерсть он будет завершать на золоте.

Щербатов, видя, как поник новый подданный русского царя, решил подбодрить калмыка тем обычаем, который исполнялся только для крупных и именитых кочевых князей. Тут же принесли глубокую чашу, а комендант снял с пальца тяжкий золотой перстень с печаткой и потребовал нож. Наскреб лезвием золотой пыли в чашу и сям налил туда хлебного вина. Подхватчики поднесли чашу Чаптыну, и Щербатов сказал весело:

— Повторяй за мной, Чаптын! Клянусь его пресветлому царскому величеству служить верно и честно... А слова мои будут такими же непорочными, аки золото. И говорю сии слова я — Чаптын! А ты, золотко, чуй!

Чаптын, меняясь на глазах и светлея лицом, кое-как повторил все, что велел Щербатов. Видно, знал — кому какая почесть у русских. Значит, если на золоте шерсть, то он князь для них важный.

А Щербатов, улыбаясь, громко крикнул:

— Пей, Чаптын!

И Чаптын выкупал свое смуглое скуластое лицо в чаше и опрокинул ее кверху дном. Золотые искорки заиграли на его реденькой черной бороде. Окружавшие клятвенника русские мужики с завистью смотрели на льющееся по атласной груди калмыка вино. Как же! Ведь вчера Благовещенье было... А поправки не видно.

Щербатов знал, чем мучаются все вокруг, и бросил в толпу рублевик: — Чево таращитесь! Ступайте! Похмелитесь... А Чаптынку ко мне ведите за стол.

Щербатов и сам был терзаем похмельным недугом, так же, как и пришедший понаблюдать за шертью новый комендант Томска Василий Козлов. Он совсем недавно прибыл из Тобольска на смену Щербатову, но весна так раскиселила дороги, что ни на санях, ни на телеге в путь не тронешься, и Щербатов, ожидая чистой воды на реках, пока не выпускал главенствующие вожжи в Томске и правил дела на глазах преемника, давая понять Козлову — вот так-то надо распоряжаться здесь.

Чаптына комендант позвал в застолье не без умысла, хотя и понимал, что новый подданный царский — птица не великого полета, но рядом с орлом царским высокопарным и малой птичке есть на чем свой клювик приострить. Словом, дело требовало беседы.

Они расселись вольно в отдельном жилье: Щербатов, Козлов, Чаптын и толмач. Нетерпеливо пододвинул комендант к себе чарку серебряную:

— Чаптынке хорошо. Он уж обмакнул греховные губы в винище. А мы с тобой, Василья, еще маемся. Слышь, Чаптынка! У нас первую за здоровье царского величества поднимают. Давай! За государя-царя, коему присягнул.

Опрокинули. Щербатов и Козлов опрокинули привычно и жадно, смачно крякнув после чарки в златошитые обшлага камзолов, а новоклятвенник цедил вино сквозь зубы, будто боялся какой-то мусор в себя пропустить, маялся и содрогался от каждого мелкого глотка и, наконец, одолев содержимое своей невеликой посудинки, очумело глянул сквозь слезы на русских начальников и выдохнул:

— Горит. Сильно горит... — перевел толмач.

— Скажи ему — мы тут приучены нутряные пожары тушить. Рассольцем пожар во чреве, Чаптынка, тушить будем. Капусткой да морошкой, — хохотал Щербатов. И уже обращаясь к Козлову на серьезной ноте, двинул разговор к делу: — Пока Чаптынка не скопытился, надо о выходе к Бии посудить-порядить. Ты, чай, знаешь, — Бикатунскую крепость восемь лет назад Доухар-зайсан спалил. Да еще десятков с шесть казаков в плен побрал. Иные уж и возвращены. Да не в них дело. Ноне указ был губернаторский — там же, на месте сожженной, новую крепость ставить предстоит.

Козлов знал об указе и поднял чарку:

— За нее и выпьем.

Еще раз смахнули с усов то, что в рот не попало, и Щербатов похлопал Чаптына по атласному плечу и продолжил:

— Вот он и поспособствует нам на тех головешках. А, Чаптын? Подмогнешь? Мало понимая о чем речь, Чаптын ословело покатав зрочки с толмача на коменданта, все же закивал, и даже радость во взгляде сквозь туман проглянула.

— Ну, вот и добро. Людей тут мало. О прошлом годе я одних рекрут поболее тыщи собрал да к Москве отправил. Да о запрошлом годе пол-Томска оголил — под Кузнецк людишек погнал для обережки от зюнгорцев. Да на Бердь в новый острог две сотни людей посадил. Нету людей. Кто ж будет крепость ставить? А вот такие, как Чаптынка, и помогут. Верно, Чаптынка? — воскликнул властно Щербатов и, не дожидаясь ответа, спросил у запяневшего вдруг таежного гостя:

— Людишек в твоём кочевье много? Всех приведешь?

Белый калмык Чаптын мотнулся хвастливо:

— Всех приведет Чаптын. Всех...

Козлов знал, что делает русское хлебное вино с кочевыми людьми, и спросил:

— Сколь юрт в твоём кочевье, Чаптын?

Слова переметнулись к толмачу, а потом уперлись в нечесаную Чаптынову голову — под шапкой волос и уха не видать. Но, недолго размышляя, он поднял растопыренную пятерню кверху:

— Беш!*

— О-хо-хо... — протянул Козлов, усмехаясь. С таким кочевьем мы только большой берестяной шалаш поставим.

— Не верь ему, — отмахнулся от Чаптына Щербатов. — Он уже пьян. Да и не на одного Чаптына уповать надо. Ты вот посидишь на городе, увидишь перед второй высокой водой, как из тайги с полуденной стороны эти белые калмыки к тебе на шерть косяком попрут, как рыба на нерест. Их там в черни, в горах почнут зюнгорские алманщики теснить. Вот они и потекут к тебе на клятву, заскулят — прими, отец родной, контайша нас домогается и ремни из наших спин за неплаченный алман вырезает. Набредет народец. Будет кому своими коньми лес на крепость волочить...

Они не успели договорить начатого. На пороге вырос щербатовский слуга.

— Ну? Стряслось чёво-то? — спросил хозяин.

— Там, в тюремном сарае, Мишка Волков грозит себя жизни лишить.

— По какой вине он там? В Благовещенье птиц из клетки на волю выпускают, а Мишка в клетке...

— Он вроде как ни в чем и не повинен. Он за мать свою готов порешиться жизнью.

— А мать чёво?

— Корчемство...

— А-а-а, — протянул Щербатов и глянул на Козлова. — Это мать Мишкину, Марью, сызнова казаки доят. Вишь ты, какое дело. Знают, лукавцы, что Марья самосидкой вино готовит. Вот они кажинный праздничек являются к ней и с порога: «Либо вина, либо под караул». Видно, не откупилась. Стало быть, передай там в тюремном — Марье пяток легоньких плетей и отпусти. Она не шибко вредная городу. Я ее знаю. Доброго сердца баба.

— А с Мишкой как?

— Мишку за буйство и за крики о самолишении живота придержите. Вон Козлов будет его в разворот брать. Василья! Слушай меня. Мишка Волков вот к чему тебе сгодится. Мишка — Марьян сын. И он každолетно куда-то пропадает. Попытать бы его нелишне... Да. Надо попытать. Слегка так, не до пузырей на спине, не головешками. Одно слово — кожу не спускать...

Щербатов повисел над чаркой, выпрямился, выплеснул вино в просторный рот и снова обратился к Козлову:

— Ты вот что, Василья. Не пытай Мишку, а запусти-ка ты его в бугры. Да чтоб не один он туда пошел. Мужики с самовольных и прочих заселков, каких уж много повыше Юргинского урочища, года не пропустят, чтоб валом не валить в степь за Обь. Бугры разорять ходят... Надо вызнать — кто там коноводит. И много ли они, бугровщики, емлют в тех буграх золота. Нет. Не пытай Мишку. Но посули, коли не разузнает — тогда житья ему в Томском не будет. И нигде не будет. А то ведь золото мимо наших комендантских рук течет. И немалое, думаю...

Он говорил все это, не глядя на Козлова, резко ронял слова хмелеющим ртом на доски стола, и слова рикошетом отскакивали в сторону нового коменданта. Преемственник помалкивал, давая понять — «мы и сам с усам». Козлов только изредка поглядывал на посапывающего рядом Чаптына.

* Беш — пять.

Щербатов наконец поднял отяжелевшую голову и ударил вялой рукой спящего Чаптына по плечу:

— Разве может золото мимо моих рук течь? А? Чаптынка! Ты, чай, ведаешь — где алтын в буграх?

Чаптын встrepенулcя. Толмач с трудом вернул его в рассудок разговора, и через некоторое бормотанье Щербатов услышал ответ:

— Чаптын знает, но люди его сеока не берут золото.

— Дурни! — воскликнул Щербатов. — Знают и не берут! Что такое? Почему дурни такие?

— Эрлик накажет. Эрлик охраняет золото. Когда человек берет золото под землей, он к Эрлику попадает и остается там.

— Опять со своим Эрликом-орликом. Что за гроза такая над вами — этот Орлик? Всех им пугают... Может, пойти да к алману его привести. Посечь батогами малость...

— Эрлика побить нельзя! — торжественно сказал, глядя в потолок, Чаптын. — Он живет глубоко — никто его не достанет.

— Ну ин пусть живет, — разрешил с ухмылкой Щербатов и дошутил свою шутку:

— А коли золото само на земле валяется?

— Такое золото нам приносят орлы. Их посылает хозяин неба — Ульгень. Каждую весну приносят орлы золото и незаметно для людей бросают в реки. То золото брать можно.

— И ты знаешь те реки? Те — где золото?

Чаптын молчал некоторое время. Вспомнил, как его на одиноком кочевье по Бии застали врасплох казаки из Кузнецкого городка и долго допытывались — нет ли поблизости золотых могил или речного золота. Чуть было до плетей дело не дошло. И отвел Чаптын от себя очередную беду:

— Тастаракай знает.

— Кто такой?

— Аманат* мой. Тастаракай вам оставлю. Тастаракай знает.

Через три дня после Благовещенья солнце словно спохватилось и поубавило свою ярость. Только и успело согнать снег с крутых обрывов, с пригорков, да и ушло за плотные тучи. По ночам холодный ветер позванивал тонкими ле-

дышками на ветвях обманутых преждевременным теплом деревьев, крепкий наст обнимал все окрест, а к полудню едва-едва оттаивали дорожные колеи в городе, да и то на тех улицах, где жизнь побойчей шла. По этому же хрупкому пути прибыл из Тобольска гонец от губернатора. Не дожидаясь утра, явился под самый вечер к коменданту Щербатову в дом с письмом. Пять красносургучных печатей гагаринских красовались на пакете.

За чтением письма и застал Щербатова новый комендант Козлов. Пришел он не один — с ним вместе оказался пленный шведский капитан Иоганн Бергман. Почти с порога Козлов воскликнул:

— А ведь Чаптынкина шерть с изъяном!

Щербатов отложил письмо — он его перечитывал уже в который раз. И спросил вяло:

— Изъян в чем? Собака была не та?

— Видно, на своих шертях Чаптынка не одну собаку съел. Изъян вышел в аманате.

Допросили мы его аманата — Тастаракай. Повсегда было — в заложниках оставляют родича, ну, или кого из детей. А тастаракай — он и есть тастаракай. Толмач его разговорил — бродяга он. И никакой не сродственник Чаптыну. И ответа за ним по роду Чаптынову никакого. У них, вишь, слово это — тастаракай — вовсе не имя, а толмач сказывает, что толкованье этому слову — бродяга. Его Чаптын где-то по Чарошу подобрал.

— Что ж с того, что бродяга. Зато знает, где калмыки золото емлют. И то дело, — равнодушно отозвался Щербатов.

— Верности от Чаптынки нам не будет. Тастаракай ему чужой. Как только пойдут наши людишки ставить крепость на Бикатунь, я им накажу из Чаптынки выбить родича в аманаты. Будет Чаптын в моей воле. Я с него ясак буду в три шкуры драть.

— Чаптын, может, и будет в твоей воле, — холодно и отстраненно произнес Щербатов. — А вот коли о крепости говорить, то не нам ее ставить велено. И той окраиной ясачной — тож не нам ведать...

— Как не нам? — дернулся нервно Козлов.

— Отныне иначе будет, — веско произнес Щербатов и указал на письмо. — Князь Матвей Петрович распорядился все дела по крепости Бикатунской ведать кузнецкому коменданту.

Козлов замолк, и надолго. Молчал и Щербатов.

* Аманат — заложник.

Смешанное чувство владело Щербатовым. Он с первой водой готов был покинуть Томск и ждать в Тобольске нового определения гагаринского — где служить дальше. Щербатов до ясной ясности понимал, какой лакомый пирог отодвигается от него. Весь ясак, который будет стекаться в новую крепость на Бикатуни, теперь пойдет мимо Томска, а значит, мимо Щербатова. Но первым, кто запустит свои руки в меховой ручей, определен Кузнецк... А соболя из тех мест — ой как важно хороши! Да белки, белки телеутские на китайском торгу высоко идут... Иной китайянин, купцы говорят, и по сто, и по два ста хвостов белых берет...

Щербатов посмотрел на угрюмого Козлова и будто опомнился. Вот кому сожалеть надо о телеутских мехах. А что ему, Щербатову, печалиться, что ему печься о том отодвинутом блюде с пирогом. У Щербатова здесь отодвинули, да в ином месте придвинут — Сибирское царство велико и, считай, немеряно. На всех достанет... Правда, если Матвей Петрович позволит...

Паузу нарушил пришедший с Козловым шведский капитан. Он жил в Томске уже шестой год, и вроде бы небесполезно жил. Поручалось ему не раз и меха закупать в таежной округе, и выезжал дважды вверх по Оби для скупки могильного золота. И, видно, памятуя эти поездки, он вернулся к разговору о бродяге, оставленном в заложниках.

— Тастаракай мало будет польза. Бродяга нельзя верить. Он сказка про орел говорил. Орел носит золото? Где лежит золото в могила — знает один русский мужик с лопата. Я много встретил русский мужик с лопата. Они думают всю степь копать. Абориген знает о золото один сказка.

Коменданты переглянулись, перевели одно временно взгляд на шведа, расхаживающего вдоль высокой стены и постукивающего тростью по голенищам высоких сапог. Самоуверенность шведа не понравилась Щербатову, но он не стал связываться в разговор. Зато Козлов тут же ото звался:

— Бродяга на то и бродяга, чтоб много стран ствовать. Коли он свою землю исходил вдоль да поперек, то знать многое может. Я знаю, как с ним поступить. Допросил я вашего буяна в за стенке — Волкова. Он тоже тастаракай, тоже бродяга, только русский. Надо их свести вместе — пусть хорошенько сойдутся, надо, чтоб Волков

дал согласие выйти к бугровщикам и чтоб взялся по иному какому золоту людишек порасспра шивать.

— Дельно, дельно, — согласился Щербатов. — Помнишь, кто вывел наших заводчиков на бог дойские серебряные ямы под Нерчинском? Местные людишки, из дикарей. И где серебро лежит — знали. Так-то. Да ты, Василий, сам все верно уладишь. Переведи Волкова в аманатскую избу да толмача к ним подсади. Да Мишка и сам тастаракай поймет. Мишка умом — не ленивец. Все по отцову преданью за серебром в чернь ты четсяя. А нам и губернаторским указом велено — сыскивать всякое рудное камень. Да пока ниче го, акромья Каштака, не приискано... Ан и Каштак не по зубам.

...На легкой волне половодья отплывали из Томска тяжелые лодки и дощаники. Дождавшись продолжения пути, все, кто был застигнут в Том ске бездорожьем, засуетились, обнаруживая вдруг: то одного припаса нет, то другого. Каза лось, вся жизнь городская сосредоточилась у пристанских лавок. Вместе с отставшей купече ской челядью из каравана Гусятникова — подтор говывали втихаря мужички в Томске не явным товаром, готовились отправиться в Тобольск и Фильшин с Замощиковым. Они коротали пред отъездный час на пристани чуть пониже устья Ушайки, делившей город надвое. Малая речка, уже более века кормившая и поившая город и посад, была подперта мощным током Томи и как будто перестала течь, поднявшись до уровня ма терой реки и безмолвно вливая в нее свою долю. Раздолье рыбацкое, долгожданно открывшееся, виделось по всему городскому берегу. Фильшин вместе с беглым целовальником проходили вдоль рыбного ряда, разместившегося тут же — прямо у воды: кто на досках, кто на ряднушке, а кто прямо на песке предлагал свой товар: от мелкого окуня до крупных стерлядок.

Замощиков задержался у корзины с рыбной мелочью и ни с того ни с сего принялся расспра шивать старика-торговца «че-почем».

Фильшин, глядя на рыбную мелкоту, думал о том, что за эти недолгие дни, проведенные ря дом с Замощиковым, успел узнать имена купцов, уходивших мимо Иркутской таможни в Мугалы. Из рассказов, из обрывков бесед успел он вы хватить на крючок памяти и шведа некоего,

ушедшего к монголам на торг от Елчина, — из Якуцка караванчик снаряжен был. И ходил тот караванчик беспошлинно! Да вот еще ходоки торговые: Елизарьев, Пуляев, Мясников... Да. Путилов еще...

Перебирал фискал имена и, глядя на мелочь рыбную, прикидывал: «Жаль одного — все это мелочь торговая. Но раз проскочили, значит, кому-то ручку посеребрили. Да кому ее серебрить, как не коменданту! Купцам ходу вольного нигде нет. Вон и мимо Сургута шедшие Путилов да Беляев жалобились — не пустил их без откупа комендант сургутский. Один только осетровый бок мелькнул в этом разнорыбье — Евреинов. Хоть и не сам гостиной сотни купец Евреинов попал на примету фискалу, а его сродник — но ведь хаживал и он в Китай, даже состоя иркуцким таможенным целовальником! Как же поперек указа царского?..»

Почесывал Фильшин затылок, стараясь охватить разом весь свой сибирский улов — с чем же он явится к обер-фискалу Нестерову. Сомневался — неужто только и вывалит свою корзину мелочи? И, глядя на раздолье речное, залюбовался весельем воды и заключил: «Да тут и большой рыбине воли сколь хошь! Будет еще большая рыба». И вслух сказал это же, толкая в бок Замощикова:

— Будет еще большая рыба! Чево ты на мелочь заришься? Пошли. С дощаника машут. Отвальное пьют.

Не засиделся в Томске и Михайла Волков. Он ушел бы из города сразу же, как только его выпустили из-под караула. Но вышел он на волю не вдруг. Его несколько раз водили к новому коменданту в канцелярию, и Козлов, надувая жирные щеки, усердно подводил Волкова к мысли, что он, Михайла, затаил некие воровские затеи. «А по какой такой надобе ты ежегодно из городу исчезаешь?» «Промышляю», — отвечивал Волков. «А в чем твоё промышленье? В чем твой промысел?» — Михайла пытался занавеситься белкованьем да иным чем в таежном деле, но Козлов от него со своими вопросами не отвращался. «Не вздумай в бега удариться. Мать твою заместо тебя засадим, коли уйдя в тайгу, не вернешься».

Вдобавок ко всем наскокам комендантским велено было Волкову сидеть не в острожной избе, а в аманатской, вместе с Тастаракаем и другими заложниками из черневых татар. Досадней всего в этом сидении было то, что аманаты выходили из избы, когда хотели — им нужно было самим заботиться о пропитании. А Михайле и шага на волю не дозволялось. И с Тастаракаем дело не ладилось. Заглянул в те дни в аманатскую Козлов:

— Что, Михайла? Дотолковались?

— Дотолкуешься с ним. Только я к нему с расспросами про алтын — он за голову хватается и начинает глаза закатывать: ох-ах! Алтын гора есть...

— Так и говорит — целая гора?

— Говорит, Алтынту — гора великая, гора святая. Ежлив кто на ту гору пойдет, то и не подымет даже до золотого верха — духи прячут вершину в облака. Скрывают, значит...

Козлов осклабился:

— Ты ему и поверил?

— А как не поверить. В горах чудес — по кадык, — и Михайла полоснул ладонью ниже подбородка. — А что, господин комендант, не напрасно ли я здесь под караулом? Аманат никуда не денется — куда он из города в своих рваных обутках по хляби? И купить ему не за что. Может, его на жилье в мой дом отпустить? А?

Козлов долго не раздумывал. Пожевал молча, пошевелил губами и махнул рукой:

— Забирай свои манатки и аманата забирай. Может, он дома с тобой разговорится. Да будешь каждую седмицу мне рапорт словесный давать.

И вот в тот же день, как отвалили от томской пристани первые дощаники, вышел к Томи Михайла вместе со Степаном Коростылевым, и Тастаракай, как хвостик, следом тянулся. Вышли они сквозь недолгий кряжистый сосняк к высокому обрыву на реке, совсем и пристань, и город лесом заслонились; замерли мужики на самом крутяке, и распахнул руки Михайла: — Вот уж где волюшка! Вольная...

Откуда-то из дальнего-дальнего марева, неразлично соединявшего исходившую паром землю и высветленное небо, просторно разворачиваясь в разбеге, подходила к уступчатому берегу Томь и летела мимо ржаво-красного уте-

са, над которым замерли восхищенные мужики. Хвойная темная зелень, волнами накрывшая овражистый склон, на широкой луговине уступала место дымящемуся фиолетовым налетом безрезняку, готовому вот-вот выстрелить жгучим крапом зелени. А ближе к воде, по неровным оплывшим уступам, берег заполонил распутивший сережки тальник, осыпая первой желтизной пыльцы скользкую синюю глину, покрытую там и сям грязно-зелеными, изумрудными в сверкающем изломе, льдинами, выдавленными напором ледохода на берег.

Вешний день в ясной силе своей ярился и играл над торжеством пробудившейся земли. Да и сам день был неотделимой частью этого поднебесного торжества. Была в щедрости дня такая минута, когда и говорить-то ничего не надо. Радуйся солнышку тихо, да и только.

Не сговариваясь, мужики молча спустились к воде, присели на обветренную поваленную березу и долго щурились на сверкающую бликами Томь.

— Михайла! Помнишь, как встретились? — указал Костылев на дальний поворот Томи, где она терялась в мареве.

— Помню. Я тебя тогда за монаха принял, не разглядел.

— А что? Считай, я уже год почти монашествую. Без угла, без жены...

— Да и зачем тебе на лето угол? Вон раздолье какое начинается. Любой кустик ночевать пустит.

Костылев не ответил ничего. Ему не хотелось высказывать свою тоску по дому, по близким. Все одно — ничего вмиг не поправишь. А Волков и не дал ему растаять в откровениях:

— Может, со мной пойдешь? На все лето...

— Куда мне с тобой-то?

— Да вот послушай. Новый комендант знаешь почему меня под караул запер? А чтоб вот с ним с бродягой этим раскосым разговор нашел, — и он кивнул в сторону Тастаракай, сидевшего чуть поодаль на конце того же поваленного дерева. — Чтоб я вызнал у него все — где в его жилищах алтан обретаются. Их не поймешь, комендантов наших. Старый — Щербатов — велел мне пойти в юргинские деревни да вызвать — кто самый главный бугровщик, кто в степь ходит за Обь могилы копать.

— Ты их сам-то хоть когда-нибудь раскапывал? — обернулся Костылев к Волкову, пошарив за пазухой.

— Мое ли это дело. Нет, не раскапывал, — поскучнел Волков.

— И таких вот зверушек не видывал? — Костылев разжал кулак перед лицом Михайлы. На ладони, равнодушно взирая на небо тусклыми желтыми глазками, в хитром извороте лежал малый зверь, не похожий ни на соболя, ни на белку.

Михайла смотрел на потертую золотую бляшку, полуоткрыв рот. Наконец медленно взял ее в руки и повертел перед глазами:

— Что за зверь такой?

Сгорбившийся на бревнышке Тастаракай, равнодушно взиравший до этих слов на воду, вдруг оживился, обернулся на вспыхнувшую бляшку, привстал и, полусогнувшись, подошел поближе, не отрывая глаз от золота.

— Что за зверь? — переспросил Волков.

Костылев пожал плечами.

— Кто знает... у нас на Ишиме таковых не водилось.

Волков повертел бляшку еще и сунул ее под нос Тастаракаю:

— А может, ты знаешь?

Тастаракай потянулся было взять золотого зверя, но Волков резко отдернул свою руку и поиграл украшением на солнце:

— Э! Нет. Смотри издаля... Узнал?

Тастаракай, было видно, взволновал этот причудливо свернутый зверь, над редкими усами бродяги, раздуваясь и опадая, заходили ноздри, зверь как будто что-то напомнил ему, он кивнул Волкову.

— Смотри! — воскликнул Михайла. — Вроде как узнал! Ну, а название зверю какое? Как повашему называется? — потряс он перед лицом белого калмыка золотой бляшкой. — Как называют? — Тут Волков начал перемежать русские слова с наречием белых калмыков:

— Ну, пойми, ан — зверь! Кайда бу ан? Зверь какой?

Тастаракай наконец понял, чего от него добиваются, и твердо выговорил:

— Ирбис.

— Ирбис? Это барс, что ли?

— Ирбис, — повторил Тастаракай.

— А где он водится? Здесь такого охотникам неведомо. Где он обретаются? Тастаракай рас-

прямылся и, полуоборотясь к излучке Томи, махнул рукой в полуденную сторону.

— Ага! Стало — у них там водится такой зверь, — обрадованно проговорил Волков и обернулся к Степану:

— Ты-то его где взял? Купил?

Костылев помялся, несколько раз коротко зыркнул на Тастаракую. Волков махнул рукой:

— Да ни бельмеса он не поймет! Ну, откуда у тебя...

— Могильное.

— Сам что ль копал?

— Ходили мы за Иртышом... — протянул медленно Костылев, откидываясь на локоть.

— Так, стало, ты знаком с бугрованьем! Вон ты каков, парень! Уж скоро полгода из одной чашки щи хлебаем, а ты ни слова о буграх. Ну, парень...

— Коли не спрашивал — для чего говорить?

— Может, и так. Для чего... — оборвал в раздумье слова Волков. Но уже через минуту встрепенулся, — так и пойдем со мной. Легче мне станет, как юргинских людишек время придет спрашивать. Ты им свое повестье про иртышские бугры дашь...

Костылев хотел было ответить — он не хочет никуда идти, кроме дома своего, но Волков наседал:

— Так и будешь по монастырям со своим Поднебесным приживаться? Да будь я старой веры человеком, я бы ни на шаг к этим монастырям. А в тайге, по реке — воля!.. Все летичко не знай беды. Давай со мной. А?

Костылев не ответил решительно, заметил только:

— Пойду ли, не пойду — все не против господ нашего. Да вот против себя как бы не пойти. Я пуще всего этого боюсь. И не надо меня присударивать* вольностью.

— Пойдем! Пойдем! — твердил мечтательно Волков. — Только реки спадут, только первая вода осядет — пойдем! — решил за двоих Волков.

...Они ушли из Томска в середине мая.

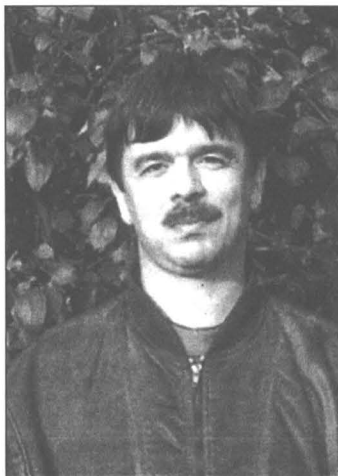
Комендант Козлов знал об их выходе и накануне преподнес подарок — отправил с ними аманата Чаптынова со словами: «Забирайте. Один черт — он аманат ложный. Но смотри, Мишка! Коли не вернешься в Томск, мать твою под караул возьмем безвыходно».



* Присударивать — уговаривать.

**Алексей
БЕЛЬМАСОВ**

**ВКЛЮЧИТЕ
В ПРОШЛОМ
И БУДУЩЕМ СВЕТ!**



*Включите в прошлом и будущем свет!
И вы увидите новым зрением,
как город,
которого еще нет,
уже сейчас проступает во времени.*

*В будущем времени,
где пока
почти без цвета и очертаний
плавают только лишь облака
наших надежд
и наших мечтаний.*

*А в прошлом,
где в мягкости синевы
жизнь улыбалась теплу и свету,
включив освещение, встретите вы
город,
которого
больше нету.*

*Не беспокойтесь,
вы не сошли
с ума
сейчас,
увидев такое, —
в пространстве все сохраняется,*

*и
до времени
градус
хранит
покоя.*

*Но все оживает до срока, вдруг,
когда чудачки
в настроенье хорошем
включают в прошлом и будущем
звук,
включают свет
в грядущем и прошлом.*

*И жизнь,
как будто круги по воде,
по тысячелетиям вяжет звенья,
и нет умерших людей нигде,
есть
лишь уснувшие
на мгновенье.*

*Покой — это только временный ил.
Люди вечны!
На каждой странице
всмотритесь в лица их —
в прошлом*

и
будущем —
те же
самые
лица.

Нет у природы других людей,
и те же самые ходят по кругу
прошлых и будущих площадей,
камни
шлифуя
шагом
упруго.

Включите в прошлом и будущем свет,
и вы убедитесь,
сомнений вместо,
что в будущем —
там,
где вас еще нет,
для вас уже
приготовлено место.

ВРЕМЯ

Уверовав в собственный смысл и расчет,
с завидным упорством и постоянством,
из прошлого в будущее мир растет,
да так растет,
что трещит пространство.

На стыке столетий расходятся швы,
меняется небо вокруг человека.
Вчера еще век был двадцатый —
увы! —
сегодня нет двадцатого века!

На поле минуты передохнув
и наобещав тишины кому-то,
срывается мир,
окно распахнув
мгновения, —
в следующую минуту.

А следом — дороги и города,
пустыни, реки и океаны —

в минуты,
в часы,
в недели,
в года
срываются материки и страны.

Из прошлого в будущее —
в полный рост
врастают события и моменты,
уже пятимиллиардный хвост
маячит
в прошлом
моей
планеты.

Но вечность не вычерпать никогда,
у вечности нет ни конца, ни края,
поэтому
сделанный навсегда
мир
настоящим
живет,
играя.

И житель планеты —
за годом год —
считает столетия неизменно.
Возможно,
единственный счетовод
в Метагалактике
и во Вселенной.

И катится,
катится
времени ком,
свою демонстрируя быстротечность,
из прошлого — в будущее,
напролом —
сквозь Вечность.

Я ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ УМЕРШИХ

У меня за спиной, как тени,
миллионы прожитых жизней,
миллиарды прожитых мною
в прошлых жизнях дней и ночей.

Я приветствую живших со мною
в каждой прошлой моей Отчизне,
королей, бродяг и поэтов,
судей, рыцарей и палачей.

Я приветствую фараонов,
расселившихся по гробницам!
Я приветствую феодалов,
окопавшихся в замках своих!
Если мог бы сквозь тьму столетий
я сейчас разглядеть их лица,
я, наверно, узнал бы многих,
и, конечно, себя среди них.

Только мне неподвластно время,
и законов интерполяций
в интервалах тысячелетий
я не знаю — себе в ущерб.
Мне себя не найти сегодня
в пепле древних цивилизаций
и свой почерк не распознать мне
на камнях вековых пещер.

Время торит свою дорогу
сквозь вселенскую пыль и вечность,
и вычерпывает из мира
мир, которого еще нет.
Но мгновение — быстротечно
и столетие — быстротечно,
во Вселенной чего-то стоят
лишь шаги миллиардов лет.

Только жизнь — это тоже вечность!
В разных обликах, в разных лицах,
жизнь и космос возникли вместе —
из мгновения одного...
Время торит свою дорогу,
оставляя в гробах и гробницах
только Прошлого человека,
но не Будущее его.

Вот поэтому, словно тени,
миллионы прожитых жизней
за моею стоят спиною
миллиарды дней и ночей,
и приветствую я всех живших
в каждой прошлой моей Отчизне
королей, бродяг и поэтов,
судей, рыцарей и палачей!

ГОЛОСА КАМНЕЙ

Я слышу голоса камней
Обычных, придорожных,
Такие же, как у людей,
Но тихие — как ночь,
На миг сплетаются они
В обрывки фраз несложных,
Аукаются в тишине
И исчезают прочь.

У камня не короткий век:
У времени на страже,
Он, предоставленный своей
Стихии и судьбе,
За миллионы лет одно,
Быть может, слово скажет
И снова миллионы лет
Молчит в самом себе.

А может быть, он говорит
Безудержно и много
О том, чему свидетель был
Во тьме и тьме веков,
Но мы не слышим ничего,
Влекомые дорогой,
Или не можем распознать
Тех необычных слов.

Планете миллиарды лет,
За временем за давним
Укрыто многое от нас
В широтах вековых,
Но первыми явились в мир
Планеты нашей камни,
Они осваивали мир
Задолго до живых.

Им есть что рассказать в словах,
Веками не затертых,
Им есть о чем поведать нам
В ученьях ножевых
Мир раскроившим пополам
На мертвых и не мертвых
И космос разделившим на
Живых и неживых.

Я слышу голоса камней,
Пусть редко, пусть мгновенно,
И думается мне тогда,
Без доказательств хоть,
Что камни — те же, что и я,
Создания Вселенной,
Материал иных миров
И вечной Жизни плоть.

В ОТВЕТ НА МОЛЧАНИЕ КОСМОСА

Мы не единственные в космосе,
мы — первые,
нам не Земля, Галактика — Отечество,
с нас началась разумная и нервная
космическая эра человечества.

Земля — наш дом, но только на мгновение,
пройдет, быть может, меньше миллиона лет
и мы — сверхскоростные поколения —
уйдем под крыши множества планет.

Ну а пока — проезжая дорога ли
до ближних звезд? — мы знать хотим,
и без
стеснения уже руками трогаем
и лунный грунт,
и вакуум небес.

Мы первые!
Но в глубину Галактики
мы в телескопы смотрим —
густо, пусто ли?
Держась пока лишь только этой тактики,
мы изучаем Родину без усталости.

Человек состоит из солнца!
Все иное — ложно и думо,
Из горячей солнечной ткани
Нас природа взялась кроить,
Когда солнце вдруг захотело
Наслаждаться жизнью и думать,

Когда солнце вдруг пожелало
Видеть, слышать и говорить.

Человек состоит из солнца!
Сквозь пространства толстую кожу,
Сквозь воздушный колпак планеты,
Где сгорает метеорит,
Это солнце включает в каждом
Человеке температуру,
Это солнце у человека.
Подгоняет сердечный ритм.

Наше внутреннее светило
Мы проносим в себе, как в ранце,
По ухабам судьбы и тропам,
Где любовь, фимиам и дурь,
Вот поэтому в человеке
Есть природа протуберанцев
И поэтому в человеке
Есть приметы магнитных бурь.

Золотыми лучами долго
Пеленало солнце планету,
Наполняя моря и сушу
Духом разума и любви,
И случилось чудо однажды:
Долетевшие в виде света
Сверхстремительные фотоны
Стали солнечными людьми.

И с тех пор по тысячелетиям
Рассыпаясь, как звон весенний,
Сердце хрупкое беспрерывно
Греет в собственном же тепле,
Сквозь природные катаклизмы,
Сквозь преграды и потрясения,
Люди, сделанные из солнца,
Как цветы растут на земле.

Любой человек по природе — гений!
Избранность — это миф и елей,
Способен каждый из нас на деле
Мир покорить работой своей.

*Кто-то поет лучше всех, а кто-то
Самый талантливый скалолаз,
Но гениальной своей работы
Не выставляет он напоказ.*

*В книгах, газетах и кинолентах
Рекорды хранятся числом большим,
Но ведь рекорды – это моменты
Суперпределов и супервершин.*

*Любой человек по природе – гений,
Поэтому мир рукоплещет сполна
Кому-то – за выплавку стихотворений,
Кому-то – за выплавку чугуна.*

*И на планете, словно на блюде,
Своими судьбами – в полный рост –
Играют спектакль
гениальные люди
Перед космическим залом звезд.*

ЗА СПИНАМИ СЛОВ...

*За спинами слов – тишина и покой
И облако пахнет мукой,
И воздух упругий и звонкий такой,
Когда его тронешь рукой.*

*За спинами слов – ни людей, ни тревог,
Ни городов, ни дорог,
Там только пространство и звездный поток –
Как небытия пролог.*

*Там только черемуха детских снов
И эхо бесшумных сов,
И шелест шагов мировых мудрецов,
Ушедших за спины слов.*

*Там искры мерцают в болоте дня
И в небо летят, звеня,
Там музыка снега и смех огня
Все время зовут меня.*



**Наталья
КОЛЕСОВА**

ПОМИНКИ

Рассказ



Сняв плащ, она нерешительно пошла вдоль столов. Люди, в основном мужчины, сидели тихо, переговаривались негромко. Кое-кто кивал ей. Зря она постеснялась надеть форму. В пиджаках-костюмах здесь было всего-ничего...

— Аня! — от дальнего стола взметнулась рука, и она с облегчением поспешила на зов. Соболев подвинулся, чтобы она могла сесть рядом. Обнял за плечи.

— Привет!

— Привет, — слабо улыбнувшись, она кивнула сидящим за столом. Кое-кто взглянул с недоумением.

— Здравствуй, Ань, — сказал сидевший за Соболевым Сергей Вешкин. Она пожала протянутую через стол пятерню бородатого Коли Мичмана и посмотрела в центр зала. Там, на столе, стояла большая фотография Жени Фогта, перед ней — свеча, стакан водки и кусок хлеба на нем.

— Не успела на похороны, только сегодня сообщили, — сказала, извиняясь.

— А чего там смотреть-то? — мрачно сказал сидевший наискось седой парень. — В цинковом...

Она окинула рассеянным взглядом стол — блины, кутья, рыба, нераспечатанная водка...

— Сейчас Палыч подойдет и начнем, — сказал Соболев. — Чего, Оль?

Он отодвинулся, оборачиваясь, и ей стало холодно от отсутствия тяжелой теплой руки на

ее плечах — и от ледяного взгляда подошедшей женщины.

— Здравствуйте, — пробормотала Аня.

Ольга едва кивнула и обратилась к Соболеву:

— Ну и где ваш Лачугин? Сколько еще ждать? Мать же не железная... и Лариса еле на ногах держится.

Соболев посмотрел на часы, переглянулся с друзьями.

— Ну ладно. Давайте начинать.

Соболев встал и сказал. Говорить он умел хорошо и сказал всю правду — и то, как Женю любили, и то, какой геройский Женя был парень, и что остались у Жени больная мать, молодая жена и двое девчонок-пацанок... Аня слушала, глядя в стакан, который парни, по-свойски, налили ей полный. Выпила следом, села за стол — подавальщица разлила всем супа. Соболев подцепил полную ложку кутьи.

— Третий за полгода, — сказал Леша Генкин.

— Еще мало, — подхватил седой, — помнишь, в прошлом году нашу машину...

Она ела, прислушиваясь к разговорам. Народ был еще тих, переговаривался негромко, больше про Женю, но не пройдет и полчаса...

Когда поднялась Лариса, она посмотрела, и больше глаз не подымала — невелика радость любоваться на чужое горе. Сидела, рассматривая свои руки и слушая сбивчивые слова. Хоро-

шо, когда человек может сказать. Или хотя бы плакать.

Седой потянулся через стол, наливая ей треть стакана.

– Нормально?

– Да...

– Ну что, за Женьку?

Мужики едва не чокнулись машинально, но вовремя спохватились.

– Как живешь-то, Анна? – спросил Коля Мичман, закусывая.

Она пожала плечами.

– Живу...

– Все училка?

– Все училка.

– С их зарплаты с голоду недохнешь? – спросил через Соболева Вешкин.

Она похлопала себя по животу.

– Зато лишний вес сбрасывать не надо. На шейпинг не трачусь.

– На хрена тебе ихний шейпинг? – заявил Мичман. – И без того все при тебе – и титьки и жопа!

Она перехватила совершенно одинаковые откровенные взгляды мужчин и посмотрела в сторону, скрывая усмешку. Второго такого мастера на комплименты еще поискать... Круче только Семицвет.

– Мэр квартиру обещал, – сказал Соболев, мотнув головой на родственников.

– Было бы сказано, забыть недолго...

– Палыч проследит. Ты-то, правда, как?

– Лучше, чем он, – теперь она мотнула головой на фотографию.

– Я серьезно, Ань...

– Хочешь и надо мной шефство взять? Квартира у меня есть.

– На работе не обижают?

Она хмыкнула.

– В школе-то? Обычные бабские разборки. Гадюшник. Что, морды пойдешь бить?

– Не-а. Приедем пару раз на джипах – даже бабы зауважают...

– У тебя же «жигуль»!

– У Витька попросим!

Аня посмотрела на соседний стол. Обычное дело. После войны часть подалась в менты, часть – в братки. Витек – огромный, погрузневший, в хорошем костюме с кучей наград на нем, – кивнул ей и, встав, поволок за собой стол вместе со всей нехитрой поминальной снедью. За ним, ворча и посмеиваясь, потянулись мужчины.

– Здорово, Анют, – придавив двух соседей, Витек смачно чмокнул ее в губы. – Все хорошеешь!

– Это я-то? – не поверила она.

Витек покрутил в воздухе рукой.

– Ну, в смысле... волосы отрастила. И вообще. Все в порядке? Никто не наезжает?

Она посмотрела на него. На Соболя. В мужиках неожиданно проснулся инстинкт защитников. Наверное, у нее сегодня какой-то очень сиротский вид.

– Нет, Вить, не наезжает.

– Кто обидит...

– Сразу к тебе.

Витек кивнул с чувством выполненного долга.

– Точ-на. Давайте за Женьку, а?

Выпили за Женьку. Вспомнили и снова выпили.

Потом пришел Палыч – майор Андрей Павлович Лачугин. Постоял, разговаривая с родственниками, пошел по залу, то и дело останавливаясь то с тем, то с другим.

– Ого-го! – сказал Соболев, уже не понижая свой привычный голос. – Вот и наш майор пожаловал! Андрей Палыч, ну их, к нам, к нам просим!

Они шумно поднялись, Лачугин пожал руки мужчинам. Повернулся к Ане.

– Анна Васильевна...

Хотел пожать руку и ей, но спохватился, приложился губами к запястью.

– Как жива-здоровая?

– Спасибо, хорошо.

Лачугин оглянулся – от соседнего стола ему уже тащили стул. Похоже, центром сегодня будут они. Сколько она его знала, майор всегда выглядел подтянуто и элегантно – даже там, в горах...

– Палыч, ты с ними был?

– Нет, у меня командировка через неделю, – сказал Лачугин, как всегда, неспешно и негромко. – Может, будь я с ними...

– Может, и тебя бы тогда сегодня поминали. Выпей, Палыч, легче станет...

Она так и не могла определить, чем – но Лачугин притягивал людей, как солнце – подсолнухи. Вот и сейчас народ подтягивался со всего зала – поговорить и поглядеть...

Ушли родственники. После их проводов народ заметно оживился. Шепнув Соболеву: «держи место», она пересекла зал и, миновав курящих в холле мужчин, зашла в туалет. Когда мыла

руки, вошли женщины. Она узнала голос жены Соболева — Ольги.

— Никак я этого не пойму! — раздраженно говорила та. — Что значит — «боевая подруга»?

— То и значит, дорогая моя, — значительно отвечала вторая.

— Я ему сколько раз говорила, а он только смеется! Видала? Сегодня — не успела войти — и уже висит на шее... Это на поминках-то!

— Ты знаешь, по-моему, она просто ненормальная! Ну какая нормальная баба пойдет в спецназ или как это там у них называется? Или мужика ищет — тут-то с ее внешностью шансов никаких, а там на безрыбье... А может, она из этих, ну как их... телом женщина, а...

«Ненормальная», продолжая машинально греть руки под жиденькой струйкой воды, подняла голову и посмотрела на себя в зеркало.

— Гермафродитка, что ли?

— Нет, и не «розовая»... Ну эта...

Она, глядя в зеркало, ждала установки очередного своего диагноза. Волосы, действительно, отросли, и шрама практически не было видно. Глаза с расширившимися зрачками сейчас казались очень большими и очень темными. Нижняя губа прикушена, в правом углу рта морщинка из-за привычки кривовато улыбаться. Она и сейчас усмехнулась — себе в лицо — аккуратно закрутила кран, неторопливо стряхнув руки, вытерла влажным уже полотенцем и вышла из-за прикрытия кабинки. Ольгина собеседница, очень милая дама средних лет, поперхнулась от неожиданности. Соболева тоже опешила, но тут же приняла вызывающую позу, готовясь к скандалу. Аня прошла мимо — неспешно и спокойно, точно их не было вовсе — но Ольгина подруга неожиданно шарахнулась в сторону, вцепившись плечом в косяк. Она подавила желание сказать ей «Ав!» в лицо. Вышла, аккуратно закрыв за собой дверь.

Бедный Соболек. Неудивительно, если он скоро тоже начнет от нее шарахаться...

Она завернула за угол — и едва сама не шарахнулась. Ну да, давайте сегодня все ко мне, все ко мне!

— Здорово, — сказал Семицвет, или, если угодно, Семицветов Игорь Сергеевич, неспешно вынимая изо рта сигарету.

— Здоровее видали, — со вздохом отзывалась она. Оглядела опустевший холл с двумя креслами, диваном и кадкой с какой-то гигантской зеленью. — Дай сигарету.

— Ты же не куришь, — заметил он, доставая пачку.

— Курю — с этой минуты. На легкие перешел?

— А я бросаю...

Она прикурила от его зажигалки — Семицвет смотрел недоверчиво, подозревая подвох, — оглянулась и села в кресло. Семицвет постоял, подумав; сел в соседнее. Вытянул и скрестил ноги.

Из туалета вышли женщины; усиленно их не замечая, двинулись в зал. Семицвет посмотрел им вслед, и на губах его зазмеилась такая знакомая и такая ненавистная ей усмешка.

— Это же соболевская баба? То-то я смотрю, ты с такой перекошенной мордой... лицом вышла!

— Мордой лица... — пробормотала она, затаиваясь. Семицвет смотрел на нее сбоку неодобрительно.

— Видел тебя на неделе, — сказал неожиданно. — К остановке подходила с мужиком каким-то...

— И хорошо?

— Что — хорошо?

— Хорошо подходила?

— Ничего. Красиво. И мужик у тебя смазливый.

Мужик, и правда, был ничего, только вовсе не «у нее». Но уточнять она не собиралась.

— Не из наших? — небрежно спросил Семицвет.

Она поглядела.

— Из каких это — «ваших»?

— Чего гонишь-то? Я же ясно спросил!

Та-ак, надолго его не хватило. Не проходило и нескольких минут после любой их встречи, как начинали лететь искры.

— Тебе-то что? — спросила Анна, собираясь встать.

Семицвет лениво протянул руку — пальцы сомкнулись на ее запястье, словно наручник — не слишком тесный, совсем не болезненный, но по прочности — как настоящий. Она так удивилась, что и не попыталась высвободиться. Осталась сидеть, глядя на него с ожиданием.

— Погоди, ну... — увещеваяще сказал Семицвет. — Я же не со зла. Я к тому, чтоб ты смотрела, кто там и что... А то, может, морда у него ничего, а сам гнида-гнидой...

Все больше удивляясь, она склонила голову набок.

— Правда, тебе-то что, Семицветик?

— Ну как... — он рыснул по сторонам зеленоватыми узкими глазами. — Ты мне вроде как родная...

Аня дар речи потеряла, а Семицвет продолжал бубнить:

— Если б кто из наших, мы бы тебе про него все мигом узнали: где, как, что... А то какой-то левый...

— А кто из наших-то? — спросила она, кусая губы, чтобы не рассмеяться. — У тебя кто-нибудь на примете есть?

— А что, кроме твоего Соболя уже и мужиков других нет? — огрызнулся Семицвет.

— Нет, почему, еще Палыч, но он уже женатый. Может, пройдемся по списку?

— По какому списку? — не понял Семицвет.

— Списку кандидатов, — пояснила она. — Будешь давать им характеристику. «Характер выдержанный, нордический...»

Семицвет глянул, как рублем одарил. Пора убираться — от греха подальше. Хорошо, в холл вышел громадный Мичман.

— Опять деретесь? — спросил миролюбиво. — Идите, а то водка кончится.

Прочувствовав этот довод, Семицвет разжал пальцы. Она машинально потеряла запястье.

— Больно, что ли?

— А то нет! — огрызнулась она так же машинально. Держал ее Семицвет очень аккуратно.

— Ну, прости, не хотел.

Что-то был сегодня Игорь Семицветов само дружелюбие, и Анна не знала, как себя с ним вести. Не помнила.

А ведь когда-то были они втроем не разлей вода: Соболя, Семицвет и она...

Ее стул, конечно, был занят. Соболев увидел ее, вспомнил, оглянулся и, разведя руками, хлопнул себя по коленке. Она живо представила себе выражение лица Ольги — нет уж, я лучше пешком постою!

— Пропустите-пропустите! — Семицвет втискивался в тесное пространство у стола со стулом над головой. — Освободите место для детей и инвалидов!

— И кто из вас дите, а кто инвалид?

— Инвалид я! — объявил Семицвет. — Всегда был слаб на голову! Плесните чуток для профилактики обострения!

С трудом расчистили место. Костя хлопнул себя по колену:

— Аньк, садись ко мне на одно полужопие, удобней будет.

— Еще чего! — немедленно окрысился Семицвет. — Размечтался! Ваши кони тихо ходют!

В результате пришлось устроиться на коленях у Семицвета. Она старалась не обращать внимания на руку, обнявшую ее талию — похоже, он боялся, что она соскочит и убежит. Куда? Тут повернуться-то невозможно — кругом локти и плечи. Семицвет налил себе, ей, Косте, соседу слева, которого она не знала.

— Давайте. За Жеку.

Замахнув стакан, сосед повернулся к ней — громадный, и как только такой на броню взлезит...

— Это ты, значит, и есть соболевская Анька?

Она почувствовала, как напряглась рука Семицвета. Допив, аккуратно поставила стакан и сказала безразлично:

— Анька-то я Анька. Только фамилия у меня другая.

Тот поспешно выставил здоровенную ладонь:

— Без обид! Я ничего такого...

— А раз ничего, — вставил Семицвет, — так за базаром следи! Анька у нас резкая, да и я не мягче.

Сосед с удивлением воззрился на него.

— Зема, да ты че? Я с девушкой знакомлюсь, а не с тобой! Ань, меня Вадим зовут.

Она кивнула.

— Хау ду ю ду?

— И хаю, и дую, — подмигнул ей Вадим. — Ты, правда, что ли, теперь спиногрызов английскому учишь? Возьмешь еще одного?

— Нужен ты ей был... — проворчал Семицвет, и потому она тут же дружелюбно кивнула:

— Позвони, поговорим.

— Щас, я телефончик... — засуетился Вадим, отыскивая салфетку.

— Телефоны кому попало раздаешь, — бурчал ей в шею Семицвет.

— Не кому попало, — невинно возразила она, — НАШИМ.

— Аня, как дела?

Задрав голову, она оглянулась.

— А, Олех! Ничего. Как рука?

— Видишь? — он сжал-разжал пальцы. — Через две недели на комиссию. А ты то лекарство достала?

Она хмыкнула, выразительно потерла пальцами.

– Тут и доставать не надо, бабло плати!

– В Москве, говорят, дешевле.

– Так то в Москве...

– Какое лекарство? – спросил над ухом Семицвет. Мысленно чертыхнувшись, она дернула плечами.

– Такое.

– Какое лекарство? – повторил он свирепо, встряхнув ее малость.

– Да врач назначил, – неохотно сказала она.

– И что?

– Что – что? Накоплю – куплю.

– Анька, ты дура! – сказал он с яростью. – Я тебя сам убью!

– Вот спасибо, отмучаюсь...

– На, – он завозился, достал и шлепнул перед ней на стол записную книжку. – Пиши название и сколько надо.

Почти прижавшись щекой к ее щеке (что ее очень отвлекало), Семицвет смотрел, как она выводит буквы.

– Поди, даже Соболю не сказала? – спросил мрачно.

– А чего ему говорить, у него своих хлопот полон рот.

– Ну ладно, мне, что ли, не могла позвонить?

Аня едва не рассмеялась. Семицвет иногда звонил ей, и тогда телефон начинал дыметься – каждый разговор их напоминал спарринг: удар – ответ, удар – ответ. Не раз и не два она бросала трубку, не зная, плакать или смеяться, и зачем он звонил ей вообще... Жаловаться Семицвету? Нет уж, увольте!

Дописав, она машинально пролистнула книжку и сразу же наткнулась на свою фамилию. Телефон. Адрес.

Изумленно обернулась:

– У тебя и адрес есть?

– И «мыло» твое, – буркнул он, выхватывая книжку.

– И чего не приходил?

– А ты звала? – окрысился он.

Что-то не замечала она раньше за Семицветом такой церемонности...

– Ладно. В следующую командировку мы через Москву. Найду.

– Ну... спасибо, – неловко сказала она.

– Не булькает! – отозвался он. – А Соболю я заговорю взгрею.

– За что это?

– Знает же, что ты упертая! Сдохнешь – не попросишь! В следующий раз буду сам узнавать...

– Заткнись, а? – пробормотала она. – Выпей вот.

Семицвет выпил. Сколько она помнила, пил он много, но почему-то почти не пьянел.

– Когда летите?

– Через месяц. Может, кому привет передать?

– Ага. Горячий и пламенный.

– Что горячий – это точно, – ощерился Семицвет. – Не бойсь, передадим. За Жеку. За тебя.

– Эй-эй-эй, – она подтолкнула его локтем. – Я-то живая, если ты еще не заметил.

– Это ты сейчас... – покрутив, он поставил пустой стакан на стол, – живая. А когда мы с Сободем тащили тебя от той «зеленки»...

Она смотрела на свои руки. Боль. Страх. Бессилие. Мозг, задышающийся в предавшем его теле...

– Я живая, – повторила она, словно убеждая в этом его. И себя. – Тебя тогда тоже ранило. Я не знала.

– Да какое там – ранило! – он махнул рукой. – Зацепило. Раны и морщины украшают труп мужчины!

Юмор у Семицвета всегда был на уровне: «Маленький мальчик нашел пулемет – больше в деревне никто не живет».

– Мы всей палатой ваши передачи слопать не могли – тащили на целую роту, – вспомнила она.

– Ты бы тогда себя видела! Бинты, нос и глаза... поневоле весь магазин купишь. А сейчас, – он двинул ногами, словно взвешивая, – ничего, справная...

Она засмеялась.

– Это ты как определил? На взгляд или на ощупь?

Семицвет осторожно притянул ее поближе.

– Да я бы с удовольствием пощупал, так ты же мне все руки повидаешь!

– Так ты и испугался!

Он громко выдохнул ей прямо в ухо.

– Аньк, я ж боюсь тебя до смерти!

Она засмеялась — Семицвет взглянул близко и как-то обиженно — и она вдруг почувствовала себя неловко. Похлопала его по руке.

— Да ладно, Семицветик! Не бойся, не трону я тебя!

— А ты тронь. Сопротивляться не буду.

— Прямо так лапки задерешь и сдашься?

— Тебе — прямо щас.

Как-то слишком серьезно он это говорит. Аня поморгала. Начинала кружиться голова. И не потому, что она выпила. Это...

— Пусти-ка меня!

— Эй, ты куда? Ань, ты чего?

Поспешно перебирая руками по плечам, рукам, головам, наступая на ноги и перебираясь через колени — мужчины смеялись и ругались и отодвигались — она выбралась из плотного ряда сидящих у стола. Спотыкаясь на ровном месте, торопливо шла к выходу: он качался, делался то дальше, то ближе, то вообще растягивался в стороны. Звон в ушах нарастал. Не хватало еще грохнуться у всех на глазах. Опозориться перед Соболев, Палычем. Семицветом...

Она-таки добралась до туалета. Цепляясь за расшатанную раковину, плескала в лицо холодную воду. Повернулась к распахнувшейся двери, уже почти ничего не видя — в глазах стремительно темнело.

— Аньк, да ты чего... — сказал Семицвет сквозь звон. И еще она услышала его «оп-ля!», когда он подхватил ее почти у самого пола.

— Вот так, — сказал он.

— Отпусти меня, — вяло сказала Аня. — Все нормально.

— Вижу, как нормально.

Семицвет опять мягко привалил ее за плечи на диван. Потер ее холодные руки, пристально вглядываясь в лицо. Он казался потрясенным.

— Ты чего это... падаешь? Пойду Серого притащу, если не нажрался еще до зеленых соплей.

— Да не надо...

— Заткнись, а? Лежи так! Лежи! Я быстро. Ольга, смотри, чтоб она не вставала!

Только сейчас Аня заметила стоявшую неподалеку Ольгу. Семицвет унесся, и Аня мимоходом посочувствовала фельдшеру Сереге: сейчас его поймут, повяжут, доставят...

— Ты не беременна?

— Чего?

— Я когда Гошкой ходила, то и дело в обморок падала. Еще и живота не было.

Она завозилась и села на диване. Провела ладонью по мокрому лицу. Пробормотала:

— Было б от кого еще...

Ольга постояла, глядя по сторонам и сжимая в руке стакан.

— А от моего? — спросила глухо.

Она замерла на секунду-другую, потом опустила голову между ног — голова продолжала кружиться, пол — плыть.

— А твой здесь при чем?

— Ты скажи, есть между вами что? Или нет, а? Я ж так больше не могу! Я же что-нибудь...

Она поглядела исподлобья. Ольга стиснула стакан так, что за бедную посудину было страшно — хорошо, столовский, крепкий. Аня трудно вздохнула и выдохнула:

— Ду-ура! Он же тебя любит!

Снова наклонила голову. В ушах звенело, как будто ей отвесили хорошую оплеуху. Диван тяжело просел — Ольга плюхнулась рядом.

— Что — совсем-совсем ничего?

— Совсем-совсем, — сказала она сквозь зубы себе в колени.

— И правда! — схватилась Ольга. — Ты же девка свободная. Вон какая боевая, на фига тебе женатый, с довесками! Вон гляди, Игорь Семицвет об тебя все глаза обмозолил! Да и Валерик Громов холостой...

На радостях она готова была сосватать Ане весь белый свет.

— Угу, — буркнула невеста на выданье, — а еще Андрюха развелся... Оль, да успокойся ты! Ничего нет, и ничего не будет! Ясно?

— Нет, ну правда? — никак не успокаивалась Ольга. В голосе — облегчение пополам со страхом. Аня откинулась на спинку дивана, закрыла глаза. Не хотелось смотреть на Ольгу, да и на весь белый свет — тоже. Боль усиливалась.

— Правда-правда, — сказали рядом. — Уймись ты, наконец, з-зараза! Принеси лучше минералки.

— Ага, я сейчас, Игорек, Аня!

Диван вздохнул освобожденно и тут же снова осел.

— Серый уже под столом. Ты как?

— И давно ты здесь? — спросила она, не открывая глаз.

— С начала допроса.

— Мог бы и спасти.

Смешок.

— Зачем? Мне и самому интересно!

Аня сказала кое-что. Семицвет рассмеялся. Подвигался, устраиваясь поудобнее, твердое бедро коснулось ее ноги.

— И часто ты в обмороки плюхаешься?

— Первый раз.

— Угу...

Аня помолчала и добавила:

— В этом году.

— А в прошлом?

— Чаще. Выпила, наверное...

— И курила.

— Да иди ты... — беззлобно сказала она. Открыла глаза. Семицвет сидел, в точности повторяя ее позу — руки на животе, ноги вытянуты, голова на подголовнике. Смотрел искоса.

— Ну что смотришь? Не пройду я комиссию, да.

— А как ты на своих курсах тогда самооборону преподаешь?

— А ты откуда знаешь?

Она видела, что вопрос ему не понравился. Семицвет потер ухо.

— Да знаю...

— На курсах я в обморок не падаю, — сказала она. Подумала и добавила: — И вообще не падаю. Голова закружилась, понял?

— Понял, не дурак... Дурак бы не понял.

— И вообще, чего это ты тут сидишь? Там водка кончается.

— Кончится — еще купим, — сказал Семицвет просто. — Вон Витек вообще к себе уже зазывает. Обещает царские хоромы и питье рекой.

— А баб?

— А баб — нет, — с сожалением сказал Семицвет. — Повод не тот.

— Будто тебе когда повод нужен был...

Он вдруг обиделся.

— Аньк, ты чего! Я ж тебя никогда не окучивал!

— Ни разочка! — подтвердила она. — Как получил плюху — с тех пор ни разу.

— Так это когда было! — он потер ухо. — Я уже и забыл...

— Напомнить? — готовно предложила она.

Семицвет поспешно вскинул ладони.

— Видишь мои руки? Во-от они где!

— Вот минералочка! — пропела вернувшаяся

Ольга. — Аня, ты как?

— Тебя только за смертью посылать! — буркнул Семицвет.

— Ну что, Ань, получше?

Она отвела взгляд. Ольга заглядывала ей в глаза и только что хвостом не виляла.

— Давай-давай, топай отсюда! — скомандовал Семицвет. — Там Соболек без присмотра остался!

— Грубый ты, Семицвет, — вздохнула Аня, когда Ольга послушно «утопала».

— Ну. Пить будешь?

— Давай.

Семицвет набулькал в стакан. Аня пила глоточками. Пить не хотелось, голова кружилась, но болела уже меньше. Рисковать подниматься она пока не хотела. Да и вообще ничего не хотела — просто сидеть здесь... хоть бы и с Семицветом. Тот сделал большой громкий глоток из пластиковой бутылки. Покосился. Увидел, как губы Ани дрогнули в улыбке, и мгновенно широко ухмыльнулся в ответ.

— Ты это... давай больше без обмороков, — предупредил. — У меня нервы, знаешь, какие слабые!

— Все, завязала!

— Может, тебя домой доставить?

Аня вздохнула.

— Посижу еще. Тебе что, не терпится от меня отделаться?

— Так я это... в порядке шефской помощи.

Он осторожно положил холодную руку на ее лоб.

— Башка раскалывается, наверное, да?

Аня хотела привычно огрызнуться-отшутиться, но встретила его сочувственный взгляд и не нашла, что и как ответить. Слабо боднула лбом его ладонь.

— Бывало и хуже.

В его хищном лице что-то дрогнуло. Семицвет предупредил быстро:

— Ты только спокойно, ладно?

Сгреб ее руки за запястья одной рукой. Пока Аня недоуменно тарасилась, наклонился и поймал губами ее рот. Целовал жадно, сильно, даже больно — словно после долгой разлуки, словно изголодался, давно представляя, как все это будет. Аня могла только хватануть воздуха, когда он наконец чутко отодвинулся. Семицвет тоже дышал тяжело, глядел близко «плывущими» глазами.

— Руки... — пробормотала она.

— Что?

Она пошевелила пальцами онемевших рук.

— Руки пусти... идиот.

Он поглядел вниз. Пробормотал:

— Только не убивай меня сразу, хорошо?

Разжал пальцы. Аня уже привычно терла запястья.

— Дурак. Синяки же будут.

— Ну, извини.

— Ты чего... вдруг?

— Не вдруг.

— Не вдруг?

— Не вдруг, — упрямо повторил Семицвет.

— Слушай, Цветик-Семицветик, — она пыталась говорить с привычной насмешкой. Не получилось. Губы горели. — Мы с тобой уже сколько друг друга знаем?

— Ну?

— Что сегодня-то приключилось?

— Я думал, ты на Соболя запала... — Он вдруг окрысился. — А ты, типа, не видела, что я вокруг тебя круги наматываю?

Ей вдруг стало смешно.

— А я-то думаю, что это вокруг меня такое мелькает? Аж в глазах рябит!

— Аньк... — сказал он тяжело. — Анька, я ж тебя... да я за тебя...

Она взглянула, испугалась и спешно закрыла ему рот рукой. Семицвет прижал и поцеловал ладонь. Несмело провел рукой по ее голове.

— Отросли... — сказал невнятно, все еще ей в руку. — Хорошо.

Жесткие пальцы сжались, крепче обнимая ее шею. По позвоночнику словно прошел нервный ток.

— Хватит болтать! — строго сказала она и взяла Семицвета за уши. — Хватит!

— Ага! — моментом согласился он.

— ...Ого!

Придавивший ее Семицвет не сразу, но отодвинулся и, моргая, она увидела вывалившую из столовой толпу.

— Ого-го-го! — одобрительно гаркнул Коля Мичман. — Договорились наконец-то!

Аня села прямее, высвобождаясь из рук нехотя отпустившего Семицвета. Глянула исподлобья. Соболев смотрел на них, прикусив губу. Неожиданно кивнул и показал большой палец.

— Мы по домам! — сообщил Витек, ухмыляясь. — Анут, подбросить?

— Ты же в драбадан... — пробормотала она, неловко поднимаясь. Свирепо глянула на подержавшего Семицвета — тот и не подумал отпустить ее локоть.

— Обижа-аешь! — загрохотал Витек. — До «драбадана» мне еще как до Луны пешком! Да у меня и водила за рулем!

— Без тебя доберемся, — сказал Семицвет. Аня покосилась. Он на нее не смотрел. На лице его горел темный румянец — наверное, такой же, как у нее самой.

— Ну... тут дела семейные! — сказал кто-то ясным голосом. Мужчины, закуривая, посмеиваясь и с любопытством поглядывая, шли к выходу. Кое-кого вели под руки — водки на поминках был явный перебор. Аня смотрела им вслед, потому что не хотела смотреть на остановившегося рядом Соболева.

— Пока, Аня, — сказал он, и пришлось все-таки посмотреть. Соболев жал руку Семицвета. За мужнин локоть крепко держалась Ольга. Глядела с жадной радостью.

— До свиданья, Ань!

— До свиданья, — кивнула она.

Соболев неожиданно наклонился и поцеловал ее в щеку.

— Пока.

— Пока...

— Игорек, ты заходи к нам! — сказала Ольга. — И ты, Ань.

Она от неожиданности моргнула и машинально кивнула. Ага. Ждите. Пирог пеките...

Оба одновременно оглянулись на опустевшие двери столовой. Поглядели друг на друга. Аня шевельнула локтем, опять пытаясь стряхнуть крепкую руку Семицвета.

— Может, уже отпустишь меня?

— Нет, — с непривычной серьезностью сказал он. — Не отпущу. Никуда я тебя уже не отпущу, Анька.

Ей вдруг стало смешно.

— А плащ можно надеть?

— О! — сказал он, удивившись. — Забыл! Щас!

Анна вышла на крыльцо — народ расходиться и разъезжаться не спешил. Переговаривался. Курил. Она подняла голову. В лицо летел ночной дождь. Говорят, в день, когда хоронят хорошего человека, всегда идет дождь...

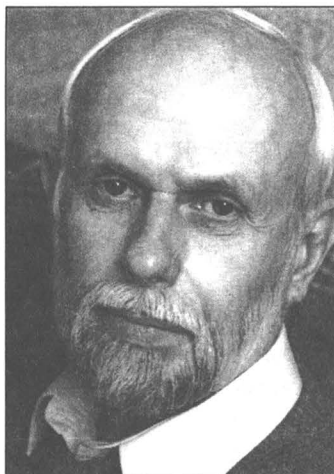
— Вот, — сказал Семицвет. Практики в подавании женщинам плащей было у него явно маловато. Аня терпеливо справлялась с ускользающими рукавами. Семицвет, натягивая куртку, заглянул ей в лицо и спросил озабоченно:

— Ты чего? Плачешь, что ли?

— Дождь... — ответила она.

**Владимир
ЕРЁМЕНКО**

**ДУША
ПРОЩЕНИЯ
ПРОСИТ**



ПЕРЕДОВАЯ

*А край света –
На Руси он за первым углом.
Ю. Кузнецов*

Не надо и тень наводить на плетень,
Духовная битва идет каждый день
Не переставая.

Сирены пленяют предательским сном,
Край света зияет за каждым углом,
Здесь – передовая.

Пронзают нас стрелы эфирные лжи,
Взрывают сознание дурман-миражи
От края до края.
Очнись, разорви их, увидь и услышь,
Ты мертв, если им не противостоишь.
Здесь – передовая.

Здесь, где ты живешь, где Россия, где дом,
Где сердце терзает вселенский Содом,
Добычи алкая,
Где тьма, ополчившись, глумится в глаза,
Здесь – или нигде – нам восход в Небеса.
Здесь – передовая.

75

ВИДЕНИЕ О ВОЙНЕ

*А мама плакала во сне
В то воскресенье. На войне...*

Война... Война который год.
Смертей кружится хоровод.

Родную землю топчет враг.
И не очнуться ей никак.

И меркнет, меркнет белый свет.
В окно стучат!
– Что?
– В сельсовете!

Махоркой сельсовет пропах.
– Что вы как на похоронах?

И полыхнула явь из сна:
– Ты угадала!
– Что?
– Война...

Ерёменко Владимир Спиридонович родился 4 октября 1948 года в городе Мариинске Кемеровской области. Служил в армии. Окончил Кемеровский государственный институт культуры, режиссерско-театральное отделение, работает в нём. Окончил Московский Свято-Тихоновский Православный Богословский институт, катехизаторско-педагогический факультет.

Печатался в газетах, журналах «Огни Кузбасса», «После 12», «Всерусский Соборъ» (Санкт-Петербург), коллективных сборниках: «Собор стихов», «Поэты университета». Автор книги стихов «Белый инок». Живет в Кемерове.

РАЙМАГ

Раймаг – как магазин в Раю!
И я за сахаром стою.

Нам продавец его продаст
И тетя на конфеты даст.

Влетевших в магазин ребят
Здесь разбирают нарасхват.

И только слышится: «Сынок,
Постой за сахаром часок,

Я на мороженое дам!..»
А что нам нужно, пацанам?!.

И мы, забыв игру свою,
Стоим за сахаром в Раю.

Положено отвесить нам
По пять на душу килограмм.

Нас кормит Родина!.. Давай
Полнее чашу насыпай!..

И продавец из-под руки
Нам улыбается: «Сынки!..»

Послевоенные птенцы.
К нам не ко всем пришли отцы.

Но чувствую спокойно я,
Мы здесь – единая семья.

Как часовые на часах.
За сахаром на Небесах...

Но с детских, помнится, Небес
Меня пугает Райсобес.

РАЙСОБЕС**I**

Райсобес – и бес и рай,
Кого любишь – выбирай!

Рай земной – тыловикам,
Бес – простым фронтовикам.

На троих – один протез,
Люди с душами и без.

В мире – Новая заря:
Нет ни Бога, ни царя!

Отвернулся от Небес
Всенародный Райсобес.

II

– Мы от Бога – не крестись –
Всей Россией отреклись!

– Но без Бога днем с огнем
Всей Россией пропадем.

– Погуляем до поры,
Прежде чем – в тартарары!

III

Где кошмар, где явь, где сон?
Райсобес со всех сторон.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ**I**

Гремят оркестры духовые!
Весна! Судьба! Победный Май!
Друзья приходят фронтовые
К отцу:
– Софроныч, принимай!

Столы на улицу выносят
И возгласы ласкают слух,
Меня вдруг в облака подбросят
Так, что захватывает дух!

Мир в звонкой радости купался,
И я почти не замечал,
Что кто-то без отцов остался
И только их в мечтах встречал.

II

В три года, помню, с половиной
Отец в Москву меня повез!..
(От недостатка витаминов
Меня терзал экзематоз.

Порой наваливался зверски:
Так, будто кто смолой облил...)
Москва!.. Вокзал и Министерский
Тупик, как спутник пояснил.

Вокзал обычный из вокзалов,
Но взгляд мой сразу приковал
Круг из десятка генералов,
А в центре – Главный генерал.

День светел был и вертикален...
К отцу на шею я взлетел:
– Смотри!
– Кто это, папа?
– Сталин.
Он снизу на меня глядел.

Потом полжизни, испытую,
Меня во снах он посещал...
Врач тихо в истину простую
Отца неспешно посвящал.

Все разъяснял предельно честно,
Болезнь высвечивал до дна.
А мне другое интересно:
Победа! Родина! Весна!

III

Москва шумит, слезам не верит,
В глазах отца ловлю тоску,
Но он меня улыбкой мерит:
– Пойдем, сынок, попьем кваску!..

Мне удивительно и странно:
Отец – как будто денег нет –

Официанту ресторана
Медалью платит за обед!..

Ты эти с кровью чаевые,
Душа, вовек не забывай...
Гремят оркестры духовые!..
Москва! Судьба! Победный Май!

ЗВЕЗДА-ПОЛЫНЬ

Я сплю, но должен пробудиться
От сна,
Из мира в мир другой пробиться
Душа должна.

Дремота вязкой маской липнет
Вокруг лица,
Я не проснусь – и мир погибнет,
Весь до конца.

Уже с небес к земле стремится
Звезда-полынь,
Я должен, Боже, пробудиться!
Аминь!

Н. К.

Душа прощенья просит,
Как нищий на юру...
А ветер носит, носит
И днем, и поутру,
И вечером, и ночью
Ее щенячий плач...
Стенает и хохочет
В окне полночный грач.
Смерть забирает, косит
В погоду и непогодь...
Душа прощенья просит
Спаси ее, Господь!

Сергий АДОДИН, священник

РАССКАЗЫ



МОЛЕБЕН

— Эх, да чтоб меня! — досадливо хмыкнул дед Лазарь, выйдя поутру на крыльцо веранды. Его взору предстала нерадостная картина: поникшие бабкины георгины, утонувшие анютины глазки, всюду мутная жижа. Некогда аккуратные высокие грядки были подмыты водой, лук лежал в грязи. Оставленные вчера на бетонной плите перед верандой калоши не уплыли только потому, что в них была вода. Трезор, цепной пес, услышав хозяина, высунул было рыжую морду из будки, но, уловив его настроение, быстро спря-

тался. С неба струилась, нет, лилась почти сплошным потоком вода.

— Хоть рыб запускай, — горько усмехнулся старик, вспомнив слова внучки-библиотекаря. Та что-то говорила про какую-то иностранную книгу, мол, такой же дождь там шел месяца три, что ли.

— Ну, тогда мы здесь все уплывем, — бормотал он, выволакивая тяжелую скамейку с веранды на крыльцо — под навес. Облокотившись одной рукой на раму окна, дед медленно сел, щадя больную поясницу. Вытащив из кармана трико раскрытую пачку «Примы», постучал синим ногтем о торец — чтобы легче достать сига-

рету. Покатав ее между пальцами, сунул в рот, прикурил от спички. Зажигалкам он никогда не доверял — считал, что газ портит табак. Затянувшись, выпустил дым в серое мрачное небо. Закашлялся, вызвав этим краткий интерес Трезора, сплюнул в грязь. Загрустил.

Дождь длился уже шестнадцатый день. Последний раз такое было году в пятьдесят восьмом — тогда лило недели три подряд. Траву скосить не успели, картошка вся сгнила в земле, Каменка поднялась и затопила понтонный мост, а также несколько огородов, расположенных близко к реке. В общем, хлопот было...

Из соседнего дома вышла Тамара Михайловна — местный фельдшер.

— Томка, а ты куда это собралась-то? Воскресенье же, как-никак. А сапоги надо повыше носить. А то, что это? Баловство одно. Эх, скоро будем на лодках по деревне разъезжать, как в этой, в Венеции.

— И тебе доброго утра, Федосеич! Как спина? Почему без бандажа ходишь? По уколам соскучился?

— Дык я это... покурить просто вышел, ненадолго... чего ругаешься?

— Ага, ненадолго, а как скрючит, так сразу другому запоешь.

Сергий Адодин, священник, родился в 1977 году в городе Кемерово. С 1999 года — священнослужитель Русской Православной Церкви. Служит в церкви Св. Пантелеймона г. Кемерово при Православном Сестричестве Св. Жен-Мироносиц.

Публиковался на сайте журнала «Фома», в изданиях: «Собор стихов» (Кемерово, 2003), в газете «Кузбасс». Автор книги стихов и прозы «По дороге вечной» (2006 г.). Живёт в Кемерово.

Тут женщина поскользнулась на мокрой доске крылечка и ухватилась рукой за перила, чтобы не упасть.

— Ну, ядрить твою перекись через медный купорос! — выругалась она, — да сколько же можно лить-то? Веришь, нет, я вчера к капусте подойти не смогла! Воды — почти по колено. Сгниет все напрочь!

— Точно, будем картошку в магазине закупать. Втридорога. Да ты собралась-то куда?

— Да мальчика одного прокапать надо. Дочь его позвонила, попросила.

— Это, случаем, не Иван Николаича? Почта-льона нашего? Так он, говорят, запил вроде.

— Ну, вот и пойду из запоя выводить. Ему пенсию скоро разносить.

Тамара раскрыла над головой мужнин черный зонт, взяла пакет с лекарствами и, выйдя за ворота, направилась в сторону клуба.

Докурив сигарету, Лазарь Федосеевич, единственный на весь район печник, бросил окурочек в жестяную банку из-под кофе, стоявшую на крыльце, медленно, в три приема, поднялся со скамейки и зашел в дом.

— Ну, чего там, солнца не видать? — спросила из своей комнаты Зинаида Никифоровна — его жена.

— Да какое там? Забудь про солнце. Все заволокло — ни просвета.

— А вчера в «Вестях» погоду передавали — по всей области дожди идут.

— Так возьми да позвони им, пусть хорошую погоду передадут в новостях, — пошутил дед, ставя чайник на газ.

— А сегодня поп наш молиться будет, чтоб дождь перестал, — сказала бабка Зинаида, заходя на кухню.

— Во дает, циркач! А ты почему знаешь?

— Да мне Ильинична сказала, у ей внук там работает, в церкви.

— Митька, что ли? Так он школу-то еще не окончил вроде.

— Да он там по воскресеньям работает да во время каникул.

— Никак в попы решил записаться? А парень-то вроде толковый, в технике всякой разбирается, ему бы ехать поступать в университет какой. Эх, пропадет! — дед Лазарь сокрушенно махнул

рукой, покачал головой и поставил на застеленный вышарканной клеенкой стол два бокала.

— Да чего он пропадет-то? Вон, говорят, попы получают хорошо, живут богато, — возразила жена, вытаскивая из буфета небольшой тазик с булочками.

— Ну, не знаю, может, где-нибудь в Москве они и хорошо живут, а по нашему-то и не скажешь. Сколько видел его, все в одном и том же ходит, да и попадая его тоже не щеголяет. Хорошо еще, что детей у них нету. Да и разъезжал бы он тогда на машине, а не на лисапедке. Садись давай за стол, я вон налил уже.

Завтракали супруги молча, время от времени поглядывая в окно.

— Здорово, Митяй! Ты куда это с утра пораньше?

— На рыбалку поди пошел.

— А чего ходить? Можно прямо тут ловить, карась подплывает прямо к забору!

Дмитрий обернулся. Над высоким зеленым штaketником торчали две головы. Одна из них, рыжая, принадлежала Антошке, вторая, лысая — Сережке. Оба брата счастливо ухмылялись.

— Сами-то чего не спите, караси? Детское время еще, банички надо.

— Да он щютник! — округлил глаза Сережка.

— О-хо-хо! Держите меня! Ржу — не могу! Насмешил. Похвально. Бить не будем. Помилуем, — простонал Антошка, делая вид, что утирает слезы.

— Не, в натуре, ты куда?

— В церковь.

— А че, праздник какой-нибудь?

— Ну, в принципе, каждое воскресенье — малая Пасха, — терпеливо объяснил Дмитрий.

— Че, надо говорить: «Христос Воскрес»? — деланно удивился Антошка.

— Да нет, не обязательно, — смутился Дмитрий.

— Да ладно, не бери в голову. Слушай, а что — правда, батек сегодня Богу будет молиться, чтобы дождь перестал? — заинтересовался Сережка.

— Ну, молебен будет после Литургии. Отец Владимир всех приглашал.

— Скажи ему, что мы не придем, — захихикал Антошка.

— Ага, и да поможет ему Гидрометцентр! — фыркнул Сережка.

— Да ну вас на фиг! — отмахнулся Дмитрий.

— Ой, он что — так сматерился на нас?

— Да нет, слышалось. Ты че, ему ведь так нельзя говорить, Боженька накажет.

Махнув рукой, Дмитрий поспешил в храм, стараясь не обращать внимания на дальнейшие реплики одноклассников.

Литургию отец Владимир совершал со смешанным чувством радости и горечи. Радостно ему было всякий раз, когда он, облачившись, становился перед престолом и зычно возглашал: «Благословен Бог наш...». А горечь была оттого, что в новенькой кирпичной церкви, отстроенной богатым спонсором — бывшим директором совхоза, а ныне преуспевающим бизнесменом, совсем не было народу. Люди не хотели ходить на службы.

Отец благочинный, открывая приход, докладывал архиерею, что в деревне полным-полно верующих христиан, жаждущих духовной жизни. Спонсор докладывал, что приход священника прокормит. Получив указ о переводе, отец Владимир ехал в гостеприимную деревню добрых христианских традиций. Приехал — ни прихода, ни жилья. Первые полгода с матушкой жили в бане. Потом сняли небольшой домик. На первой же службе понял, что будет трудно — в храме было пусто. В последующие две недели ситуация не изменилась. Послушавшись совета своего друга — настоятеля поселкового храма, ходил по дворам, знакомился с жителями. Посещал все деревенские мероприятия, первое время ходил только в рясе. Пока не понял, что, издрав эту, другую пошить не сможет — не хватит денег. Затем устроился в одну компьютерную фирму в городе, стал собирать системные блоки за три тысячи рублей в месяц. На жизнь стало хватать. С клиросным пением, уборкой храма, бухгалтерией справились — вдвоем с матушкой. Потом в храм стал ходить соседский парнишка — Дима. Дело пошло. Втроем было уже веселее.

Два дня назад батюшка развесил по деревне несколько объявлений о том, что после воскресной Литургии в храме св. Дмитрия Донского состоится молебен о прекращении дождя. Зная обо всех трудностях деревенского жителя, связанных с затяжными дождями, отец Владимир надеялся, что теперь-то люди придут. Но Литургия уже подходила к концу — матушка Ирина уже пропела «Отче наш», а во всем храме их было только трое. Он, жена и Дима.

Причащались двое — он сам и Дима. Иру исповедовать он не мог, а ближайший другой священник находился в сорока километрах. Проповедь звучала для худого застенчивого мальчишки и любимой супруги.

— Господу помолимся! — возгласил отец настоятель перед заключительной молитвой, оглядев пустой храм.

— Господи, помилуй! — пропели в ответ два молодых голоса.

Жители деревни не сразу поняли, что произошло. Вроде бы, ближе к полудню, появилось солнце, но дождь не переставал. Затем кто-то сказал, что над церковью дождя вроде бы нет. Ему не поверили, но народ стал постепенно подтягиваться к храму. Братья Коноваловы — Антон и Сергей прибыли первыми и стояли тихо. Молчал и Витька-комбайнер — первый в деревне безбожник и острослов. Была молчалива и Валентина Семеновна — учительница биологии, воинствующая атеистка. Подходили молодые и старые. Пришел и дед Лазарь — в фуфайке, перепоясанной дырявой шалью, и полиэтиленовом дождевике. Вскоре только самый больной или ленивый не стоял у церковной ограды, разинув рот. Вовсю сияло солнце. На сухой церковной крыше сидели отец Владимир с Димкой. Перепачканные с ног до головы, они спокойно красили оцинкованное железо в синий цвет. Внизу стояла матушка Ирина и, шурясь, давала указания, как лучше красить. На собравшихся людей они вроде бы не обращали никакого внимания. Только изредка счастливый Димка украдкой бросал взгляд на притихших земляков, поливаемых дождем.

ТРИ МЕСЯЦА ЖИЗНИ

Пробуждение из небытия было долгим и неясным. Чувств еще не было, но было смутное осознание своего «я». Был Свет. Он был совсем рядом и нежно ласкал юную, только что созданную душу, удивленную собственным существованием. От Него исходила любовь, согревая крохотное, размером в одну клеточку, тельце, питая жизнью, окружая заботой и наполняя необъяснимой радостью и спокойствием...

Юное существо училось управлять обретенным сознанием. Пока что оно работало только на восприятие, давая возможность впитывать происходящее так, как губка впитывает воду. Ощущалось присутствие Бога. Дав жизнь, Он поддерживал ее, наполнял смыслом, и дарил Самого Себя. Время вытеснялось вечностью, прерываемой частыми снами. Они давали отдых от ярких впечатлений, несли что-то необъяснимое, сладостное. Была легкость, какую ощущают лишь птицы небесные, скользящие в струях летнего ветра...

Вскоре ощущение полета стало незаметно проходить. Изю дня в день становилось все тяжелее, сны менялись, чувство вечности ускользало: наступало время. Хотелось удержать все это, вернуть в прежнем объеме, но это было невозможно. Росло тело. Рост притуплял чувства и несколько изменял способы познания окружающего. Становилось как-то неловко и тесно, но с течением времени былые ощущения улетучивались из крошечной памяти, живущей только настоящим. В снах появлялись цветочные гаммы, обрисовывались смутные контуры внешнего мира...

С каждым днем Божье создание обретало все больше уверенности, что его тело является чьей-то маленькой частицей. Кто-то питал его и заботился о его безопасности.

Кто-то шепнул ему новое слово: «мама». Оно что-то затронуло в душе и породило новое чувство, которое стало нарастать и скоро захлестнуло сознание сладостным волнением, чувство, укрепившееся навсегда, — нежнейшая любовь к той, что называлась мамой...

Человек! Он был человеком, притом мужского пола. Мальчик. Правда, тело еще не сформировалось, ведь ему было еще только семь не-

дель со дня пробуждения к жизни, но пол был уже определен, как и многое другое, например, цвет глаз, голос, характер, наклонности. Он будет любить петь, у него будет сочный баритон и тонкий музыкальный слух.

Сны обретали все более четкие контуры, несли все больше информации...

Интересно, знает ли мама о моем существовании? Ведь я — внутри, и она не может видеть меня. Но она должна чувствовать мою любовь. Да и вес мой растет, и потребности в пище увеличиваются. Из снов я теперь знаю, что есть небо, облака, солнце и деревья, и хочу увидеть все это собственными глазами. Но больше всего мне не терпится увидеть маму. Я знаю, что она самая красивая и добрая. Скорей бы наступил день моего рождения! Он должен быть весной — через шесть месяцев.

Весна. Какая она?..

Малышу снился чудный сон. Он с мамой был в зоопарке, но звери не сидели в клетках, а свободно гуляли по покрытой растительностью территории. Жирафы подозрительно обнюхали их и, покрывшись от нетерпения разноцветными пятнами, стали ожидать угощения. Мартышки же от бананов отказались и, смешно кривляясь, умчались донимать старого бегемота, мирно дремавшего в поросшей тиной луже. Мальчик хотел было поиграть с кудлатыми медвежатами, что шумно возились, отбирая друг у друга банановую кожуру и кусаясь, но внезапно пошел сильный холодный ливень, и мама, подхватив сынишку на руки, поспешила укрыть его под навесом...

Сон прервало появление Ангела. Малыш видел Ангела впервые, но он ему очень понравился. От него исходили свет и любовь. Внезапно все тело пронзила жгучая красная боль. Во сне мальчик не заметил, как к нему подобрался острый инструмент. От него пахло смертью. Ножницы стали методично отсека крохотные ручки и ножки, заставляя ротик малыша открываться в беззвучном крике.

Мама, мамочка, беги отсюда, спаси меня, мама!

Хищно изогнув свой клюв, приблизился крючок Брауна к головке малыша и отделил ее от четвертованного туловища. Маленькое тельце еще раз судорожно дернулось и затихло...

С ужасными воплями налетели было полчища бесов, почуявших смерть некрещеного младенца, но Ангел отогнал их властным движением руки. Он взял трепещущую от страха трехмесячную душу и, нежно прижав ко груди, начал свое восхождение к Богу.

Малыш же, прильнув к любящему сердцу Ангела, думал о своей маме...

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЧАСОВ

Основано на реальных событиях

Набегая на прибрежные камни, легкие морские волны ласково окутывали их на мгновение и отступали, теряясь в утомленной дневным неистовством пучине. Их мягкий шепот убаюкивал, умиротворял древние молчаливые скалы, нависшие над узкой полоской берега. Тонкий серп молодого месяца, купаясь в легких тучках, небрежно озарял серебристо-темную волнистость. Величие этой картины дополнялось тем, что на одном из прибрежных камней спиной к скалам неподвижно стоял на коленях седовласый старец, чье лицо было почти полностью скрыто косматой белой бородой. Выделялись глубоко посаженные карие глаза, спокойно взирающие на окружающий мир из-под густых кустистых бровей. В широких, изъеденных морской водой и ветром ладонях старик держал плетеные самодельные четки. Огрубевшие от работы узловатые пальцы не спеша перебирали веревочные зернышки одно за другим — молитва за молитвой.

Но вот пальцы замерли — прервалось размеренное дыхание, память, беспрепятственно пройдя сквозь время и тысячи километров,хватила молодое мужское лицо. Измазанный грязью воин лежал на теплых горных камнях, терпеливо наблюдая за верандой одноэтажного кирпичного дома через затемненное стекло оптического прицела Мини-Драгунова.

Вот уже четырнадцать часов, как он ждет на позиции, не имея права встать и размяться. Другого случая может и не представиться. Он получил приказ ликвидировать одного из командиров бандформирований с дурной славой извращенного палача. Сейчас цель была внутри изъеденного выбоинами от бронебойных снарядов дома.

На грубой деревянной скамье у веранды сидели два бородатых парня в камуфляже и щелкали семечки, положив автоматы на столик перед собой. В прицел было видно, что предохранители были сняты. Боевики, беседуя, не переставали изучать усыпанную раздавленными ягодами тютюника улицу и большой сад, прижавшийся плетнем к обмелевшей горной речке.

Контрактник ждал. Он умел ждать. Снайпером его назначили не зря. В свои тридцать два года он был мастером спорта по стрельбе и восточным единоборствам. Его профессией была война. За последние двенадцать лет он побывал в десятках горячих точек планеты. Даже в Израиле и Эфиопии ему находилось дело.

Наконец открылась входная дверь. Из дома вышел бородатый мужчина с обожженным лицом, в военной форме без знаков отличия. На руках у него сидел мальчонка лет пяти, крепко обхватив его талию ногами. Мужчина улыбался девочке помладше, которая ехала на его правой ноге, цепко ухватившись ручками и ножками. Следом за мужчиной из дома выходила раскрасневшаяся молодая женщина в цветастой косынке и весело грозила пальцем девушке.

52

Телохранители вскочили на ноги. Один из них дал сигнал водителю стоявшего неподалеку внедорожника и, вскочив на крыльцо, стал оглядывать окрестности, задрвав дуло автомата в сумеречное небо. Автомобиль стал осторожно сдавать задним ходом прямо к веранде, стараясь не задеть беседку из виноградной лозы и яблоню. Снайпер занервничал. Оставались считанные секунды, а мальчик все не слезал с рук, несмотря на уговоры мамы. Сейчас машина заслонит от него цель, и задание останется невыполненным. Четырнадцать часов против нескольких секунд.

— Слезай, — беззвучно прошептали его пересохшие губы.

— Уходи! — крикнуло сердце. Еще секунда. И еще.

— Ну что же ты, пацан, — выдохнул он, нажимая спусковой крючок.

Венгерская пуля прошла расстояние в шестьсот метров в один миг, мягко проткнув густой вечерний воздух.

Мальчик судорожно обхватил шею отца, который, захлебнувшись собственной кровью и

страшным проклятьем, уже падал на земляной пол веранды, пытаясь непослушными пальцами зажать рану в спине сынишки. Двухлетняя девочка, напугавшись неожиданного падения и пронзительного крика матери, истощно заорала, пытаясь выбраться из-под папиной ноги. Стоявший на крыльце брат убитого, бросив оружие, рванулся, схватил племянника и, убедившись, что маленькое сердечко уже не бьется, завыл страшно, почти по-звериному, прижимая тельце к груди. Второй уже палил из автомата наугад в сторону горы, через речушку, надеясь зацепить невидимого стрелка.

Поздно. Снайпер, матеря все и всех, уже бежал вниз по склону горы, пригибаясь. Он надеялся добраться до части еще до наступления темноты. В части его ждал командир и, вероятно, новое задание. А где-то далеко отсюда его ждали жена и маленькая дочка.

Седовласый старец едва подавил стон. Слезы привычно полились по морщинистым щекам. Глаза закрылись. Пальцы, помедлив, вновь тронули зерна четок. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству Щедрот Твоих очисти беззаконие мое», — зашептали губы слова молитвы. Сердце отозвалось тяжелой болью за неповинное дитя.

Море огорченно плеснуло волной, месяц спрятался в тучу. Старик положил земной поклон и долго не поднимал головы, шепча молитвы за весь мир.

Вот уже пятьдесят с лишним лет несет он ночную стражу на одном и том же месте у ставшего родным северного моря, моля Небесного Владыку дать людям еще один день на покаяние.

АНГЕЛЬСКОЕ ПЕНИЕ

Посвящается всем меломанам

Однажды свежим мартовским утром, почти переходящим в день, Денис проснулся со странным чувством — ему не хотелось слушать рок. Это ошеломило, насторожило и расстроило его одновременно. Все дело было в том, что Денис, будучи меломаном в высшей степени, под музыку жил: засыпал, просыпался, принимал пищу и

учил уроки. Даже лекции и семинарские занятия он посещал, не расставаясь с плеером ни на секунду. Плеер был дорогой, особой конструкции: благодаря полной герметичности, его можно было слушать даже под тропическим ливнем. Аудиокассеты к нему подбирались с особой тщательностью, почти ритуально. «Рок-н-ролл — моя религия», — спел кто-то из классиков 70-х, и Денис был полностью с ним согласен.

Но вернемся в то самое утро. Ничто не смогло бы поразить Дениса сильнее, чем абсолютное нежелание услышать пропитый голос Оззи Осборна. Вам, может, и смешно, но Денису было вовсе не до смеха. Постояв в недоумении перед величественной пирамидой аудиокассет, он к великому своему ужасу обнаружил, что не испытывает желания послушать ни «Блэк Саббат», ни «Рэйнбоу», ни «УДО». Тогда обескураженный Денис стал наугад включать альбомы других команд, но все было тщетно. «Дайр Стрейтс» казались слишком нудными, «Дип Пёпл» — слишком крикливыми, «Дрим Театр» — шумными. Не изменили печальной картины ни бородачи из «Зи-Зи-Топ», ни «Айрон Мэйдэн». Больше ни на что глаза даже смотреть не хотели.

Денис нервно ворвался в кухню, распечатал дрожащими от волнения руками пачку «Золотой Явы» и стал курить в форточку, переваривая происшедшее. Где-то внизу врубили на полную громкость то ли «Руки Вверх», то ли «Отпетых Мошенников», и Дениса передернуло от неподдельного отвращения.

Тут же душу его наполнило некоторое удовлетворение тем фактом, что поп-музыка все еще оставалась ему ненавистной. Эстрадных исполнителей Денис не любил, и вообще свято верил, что все катаклизмы и нестроения в мире происходят только оттого, что одна категория людей пишет поп-музыку, а другая ее слушает. Переубедить его в этом было просто невозможно. Даже свои положительные черты характера он приписывал исключительно влиянию рок-культуры, а отрицательные — воздействию эстрады. Стоило бедному Денису услышать где-нибудь в автобусе: «Крошка моя, я по тебе скучаю...», как настроение неизбежно портилось на целый день. Его спасение было только в плеере и «джентльменском» наборе кассет. Лучшими его друзьями

после Ричи Блэкмора и Ронни Дио были пиво, водка, сигареты и крепкий листовой чай.

Если вам хоть на миг показалось, что Денис был каким-нибудь хулиганом из подворотни, то вы ошиблись. Молодой человек успешно заканчивал пятый курс медицинской академии на факультете стоматологии. Несмотря на изобилие отвлекающих элементов, он много читал, учился на «четыре» и «пять», получал престижную губернаторскую стипендию и даже подумывал о красном дипломе. За всю свою жизнь он не обидел и мухи. Обладая спокойным, рассудительным характером и приятной внешностью, однако всячески избегал представительниц женского пола, считая любовь чувством иррациональным. Женитьба же представлялась ему как минимум татаро-монгольским игом. «Рокеры не сдаются», — часто говорил он.

Жизнь Дениса проходила очень спокойно. Все невзгоды обходили студента-медика стороной. Духовная сторона бытия волновала его немногим больше, чем события в совхозе «Путь Ильича». Желание креститься в православную веру возникло у него лишь однажды, когда ему объяснили, что в Крещении прощаются все содеянные им грехи. Тогда он поинтересовался, нельзя ли устроить так, чтобы простились и будущие грехи? Не торопясь принимать Крещение, он все же был абсолютно убежден, что лишь православная вера является истинной. А когда он прочитал (буквально за неделю проглотил) предложенные ему книги диакона Андрея Кураева, то вообще сделал для себя вывод, что все остальные религии не представляют ни малейшего интереса, а разнообразные секты, скорее всего — печальный удел любителей «попсы».

Произведя статистическую выборку и несложные арифметические расчеты, он на примере своих знакомых вычислил, что «несчастные», по его мнению, приверженцы эстрады большей частью находятся в каких-нибудь сектах, а любители рок-музыки крещены в православную веру. Заглянув в мини-библиотеку своего соседа по комнате (тот слушал исключительно танцевальную музыку), Денис обнаружил Бхагават-Гиту, Агни-Йогу и даже книги Рона Хаббарда. «Вот до чего доводит

попса», — печально подумал Денис и еще раз убедился в истинности... рок-н-ролла. На этом его духовные искания несколько утихли.

Позднее ему довелось просмотреть видеокассету о сатанизме в зарубежной музыке. Увиденное оставило довольно неприятный осадок в душе. Прямые воззвания к дьяволу в некоторых текстах «AC/DC», Билли Айдола, «Айрон Мэйдэн» коробили. Сатанинская тематика у «Блэк Саббат», «Дио», «Доорз», «Лед Зеппелин» отталкивала. Горящие кресты в видеоклипе Мадонны, шестерки, пентаграммы, черепа и монстры на обложках альбомов различных групп и исполнителей — все это приводило в недоумение и наталкивало на невеселые мысли о критическом состоянии их душевного здоровья. В сатанизм оказалась вовлечена почти треть зарубежных рок-групп, значительная часть металла, большинство современных танцевальных команд, а также техно-, хаус-, рэйд-, индастриал- и эйсид-направления в поп-музыке. От увиденной грязи хотелось избавиться, как от неприятного сна. Но Денису все же не хотелось верить, что весь этот сатанизм был взаправду.

Выкуренная сигарета произвела психологический эффект, и Денис успокоился. Сегодня ему не нужно было идти на «тер. стом.» в поликлинику, и он решил погулять по городу. Позавтракав в оглушающей тишине безо всякого аппетита, Денис отправился в зимне-весеннюю прохладу. Без плеера было как-то неуютно и ужасно скучно. Обязательный обход музыкальных ларьков показал, что никаких изменений в аудиомире не произошло. Цены все те же, ассортимент не увеличился, качество на прежнем уровне. Супермаркеты по-прежнему изобиловали малодоступными для студенческого кармана напитками. Табачные магазины тоже не могли предложить ничего нового. Пустые кинотеатры привычно показывали третьесортный хлам. В театре музкомедии шла все та же «Сильва». На набережной было холодно, серо и пусто. «Солдатское» кафе — опять закрыто. Весьма нехста-ти, надо сказать.

Утренняя хандра постепенно перерастала в вечернюю депрессию. Визит в семейную общагу к другу показал, что тот отсутствует дома. На ра-

боте — в церковной лавке на улице Кирова его тоже не оказалось. Тогда Денис решил поискать его в кафедральном соборе. Близился вечер, а значит, где-то в это время должна быть и вечерняя служба. Автобус за несколько минут довез Дениса до цирка и устало укатил вверх по проспекту.

Собор еще издали поражал своим великолепием. Горящее золото куполов напоминало взметнувшиеся к небу языки пламени свечей. Впервые за свои двадцать лет Денис переступал порог церкви. Шапку он предусмотрительно снял, опасаясь всячески расписанных ему другими студентами «злых бабушек». Войдя в притвор, он задержался у стеклянных витрин с книгами и иконами, близоруко пощурился на стенд с обложками сектантских печатных изданий с предостерегающим заголовком: «Осторожно — сектанты», перечитал все объявления о работе приходской библиотеки и воскресной школы, полюбовался на винтовую лестницу, таинственно уходящую наверх и вниз, и только потом решился войти в храмовую часть собора.

Какое-то время он стоял в проходе, впитывая окружающее и происходящее. Денис ожидал увидеть одних только стариков, но, к его удивлению, вокруг стояли люди всех возрастных и социальных (как сказал бы декан) категорий. Впереди высился великолепный иконостас, а перед ним стояло несколько священнослужителей. Царила невероятно торжественная атмосфера. Никто не переговаривался. Многие стояли на коленях. Денис замер.

Молодой священник приятным звучным тенором читал необыкновенно красивые слова: «Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию, но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление». Небольшой хор из одного священника и трех диаконов, стоявших рядом, запел: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Священник продолжал неспешное чтение, а Дениса постепенно охватывало какое-то странное чувство. Незнакомые слова приятно ложились на слух и согревали остывшее за день сердце. Время бездействовало.

Слабое зрение не давало возможности подробно разглядеть иконостас, и Денис, положив руки на оградку, закрыл глаза. То ли от насыщенности впечатлений, то ли от проведенного на ногах дня, хотелось лечь и поспать. Чтение убаюкивало.

Но вот запели: «Душе моя, востани, что спиши?» Денис вздрогнул, открыл глаза и отогнал сон. Вскоре кафедра перед ним опустела. Началось чтение псалмов. Немного постояв, он уже собрался было уходить, но вдруг откуда-то сверху полилось дивное пение. Мужские голоса задумчиво выводили старинным распевом: «С нами Бог, разумейте языцы».

Невероятная красота пения вдруг закружила голову. Стали добавляться другие голоса, хотя количество певчих не изменилось. Голоса эти были сказочно красивы, они умножались, и вот уже огромный хор пел, наполняя молодой собор чудным пением: «Хвалите Его во гласе трубнем». Никогда еще не касались слуха Дениса такие совершенные звуки. Сердце наполнялось необычайной сладостью. Мир Христов наполнял некрещеную душу, призывая к Божественному общению.

«Придите...», — слышались удивительные слова. Они были обращены и к нему тоже.

«Его же славословят непрестанно ангели», — лилось из открытых небесных врат. Лучшей музыки нельзя было и представить.

Как возмутительно было бы пить из лужи, испробовав сладчайшего нектара, так невозможно было бы слушать любую другую музыку после ангельского пения. Широко открыв глаза, смотрел Денис куда-то вверх, сквозь купол, вызывая, может быть, у кого-то недоумение. Ему было все равно. Закончилась служба первого дня Велико поста, а он все слушал и внимал небесам, позабыв о земном. Сейчас он стоял, устремившись мыслями к Тому, Кого воинства небесные славят, Кто повесил землю на водах, пред Кем трепещут херувимы и серафимы, Кого хвалит всякое дыхание, Кто призвал его, Дениса, видя незачерствелое еще сердце и неогрубевшую душу. И Он, некогда распятый на Кресте, принимал сейчас свое чадо с любовью, выше которой нет на всей земле.

**Елена
ЕЛИСТРАТОВА**

**НЕБРОСКИЙ
ВРЕМЕНИ ПОРТРЕТ**



*Мольберт, подрамник, холст, грунтовка,
Вот кисти, краски, вот сюжет,
Эскиз, набросок, зарисовка,
Пленэр, палитра, тени, свет.*

*Белила, охра, стронций жёлтый,
Крапlak и крон, ультрамарин,
Синь голубая, умбра, чёрный,
Лесная зелень и кармин.*

*Гуашь, прозрачность акварели,
Загадочность размытых черт,
Гравюры строгость, сон пастели, —
Неброский времени портрет!*

2005 г.

*Прикоснёшься — и вмиг на осколки
Я рассыплюсь, хрустально звеня,
И пронзят твои пальцы иголки
Острой боли, и день изо дня
Станешь тщетно слагать силуэты
Странных снов, позабытых давно,
Видеть знаки судьбы и приметы
Там, где видеть другим не дано,*

56

*И однажды в кристаллах мерцая,
Обозначится вновь образ мой,
Я возникну, как прежде, живая,
Буду той же, но всё же другой.
Узнавай, привыкай, мой избранник,
Как звезда на нелёгком пути,
На твоих траекториях странных.
Я — мечта. Ты со мной не шути.*

14 марта 2006 г.

*Говорим на разных языках...
А казалось, так с тобой похожи,
Что ресниц случайный лёгкий взмах
Рассказать без слов о многом сможет.*

*Но внося сомнения и страх,
Словно с разных уголков Вселенной,
С тенью недоверия в глазах
Объясняемся мы неизменно.*

*И по траектории своей
Каждый в одиночества безбрежность
Ускользнуть стремимся поскорей,
Не заметив встречи неизбежность.*

Июль 2006 г.

Елистратова Елена Львовна родилась в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. Окончила Кемеровское медицинское училище. Работает на кафедре Кемеровской государственной медицинской академии.
Публиковалась в журнале «Огни Кузбасса» и газете «Культура Кузбасса». Живёт в Кемерове.

Такого дня не будет больше,
Как ни ищи, как ни зови,
Его нет радостней и горше –
Дня сотворения любви.
Из тонких нитей ожиданий,
Предчувствий счастья, перемен,
Тревог, волнений и желаний,
Внезапно захвативших в плен,
Он соткан – день случайной встречи,
В нём перемешаны сейчас
Смятенье, спутанные речи,
Дрожанье губ и вызов глаз...
И невесом, и нереален,
Вот-вот растает, словно сон,
Однажды нам судьбой подарен –
Уже не повторится он.

Апрель 2006 г.

«На шкафу посмотрела и в нём
Перерыла все полки с одеждой,
Пригрозив темноте фонарём,
Под кровать заглянула с надеждой –
Хлама много. А счастья вот нет.
Но я точно ведь помню, что было!
День давно наступил, бледный свет
Озарял беспорядок уныло
Через пыльные стёкла окна;
Оживив декорации драмы,
Вытиктакивала тишина
Раздирающие душу гаммы.
И подумала я: «Нормалёк!» –
На руины взирая печально, –
«Видно, счастье на чёрный денёк
Мной запрятано не случайно!»

5 апреля 2006 г.

Два мнения – такое и другое...
Вновь завершился ссорой глупый спор!
Послушай, перестань; пока нас двое,
Давай оставим этот разговор.

Давай закончим нашу перепалку –
И в парк пойдём, где рыжее дитя
С восторгом листья собрало в охапку,
Разбрасывает под ноги, шутя.

Они шуршат... Покажется неважным
Тот спор, что так тревожил нас с утра,
И в небо самолётиком бумажным
Всё унесут осенние ветра.

Сентябрь 2006 г.

ОСЕННИЙ СЛОВАРЬ

Осень, сырость, ненастье и хмарь...
Не рукою написан словарь,
А слезинками лета в ночи,
Не ленись и слова заучи.

Слякоть, изморось, дождь, листопад...
Повторяй к месту и невпопад,
Повторяй наугад, не молчи –
Ты к зиме подбираешь ключи.

Пусть решат: человек не в себе...
Просто ветер, сквозящий в судьбе,
Первым снегом заносит мечты,
И в слова превращаешься ты.

12 октября 2006 г.

Зима хозяйкою всю ночь
Гуляла по пустым дворам,
А утром вдруг умчалась прочь,
Заслышав птичий гам.

Повсюду шум, переполох!
Наплыв весенних звуков, сил
Застал проснувшихся врасплох,
Всем головы вскружил!

Зачем такая кутерьма?
Смеются окна невпопад, –
Должно быть, дом сошёл с ума,
Капели первой рад!

И щурится прохожий люд
От бликов солнца на стекле,
И вновь кораблики плывут
На радость детворе.

Январь 2006 г.

На душе злодейка-кошка,
Точит, точит коготки,
Мир, скользя из рук, как плошка,
Разлетелся на куски.

Вот бы склеить так умело
Из осколков витражи,
Чтобы солнце то и дело
В них рождало миражи.

Чтобы сёстрам всем по серьгам,
Кошке – «Вискас», мне – стихи,
И с учётом всех потерь нам
Были списаны грехи.

Ноябрь 2005 г.

ОТВОРОТ

Не думай, не думай, не думай о нём
Ни ночью, ни утром, ни завтрашним днём...
В тот час, когда город зажжёт фонари,
Все мысли о нём ты в шкатулку запри.

Снеси на рассвете шкатулку туда,
Где ряской затянута блюдец пруда,

Где старый мосток над водой, камыши,
Где время уснуло в блаженной тиши...

От мыслей навязчивых средство одно –
С размаху бросай свою ношу на дно!
Исчезнут круги на воде без следа,
И вновь безмятежна поверхность пруда.

Знать истину будут стрекозы одни,
Но ведь никому не расскажут они,
Что где-то на дне водоёма в глуши
Осталась забытой частичка души.

18 мая 2006 г.

Поздно в окнах января
Просыпается заря.
Неохотно, еле-еле
Солнце поднялось с постели,
На замёрзший небосвод
Льдинкой медленно ползёт.
Время близится к обеду,
А тепла в помине нету,
Во дворах царит зима,
Холод просится в дома,
Ощетинившись, как звери,
Не пускают гостя двери,
Торопливы и легки
По снежку скрипят шаги,
Звук в полёте индеек...
Вот уже и вечереет.

Январь 2006 г.



**Владимир
ЕСЕНИН**

ПУСТОЦВЕТ

Повесть

*Бабушкам, сберегшим в сердцах
своих веру отцов, святое православие,
земной поклон.*

Автор

*Но имею против тебя то, что
ты оставил первую любовь твою.*

Откр. 2, 4

I

Вдоль дороги среди невзрачных домишек хозяйство Сапрыкиных пряталось за добротным забором. Пирамидой возвышалась крыша из оцинкованного железа с редкой по тем временам телеантенной. Из огорода крестом торчало пугало в драной фуфайке и шапке-ушанке. На одном из створов прочных ворот вывеска: «Собака». Узкая ограда хибары бабушки Нюры и Петьки Сафрончука, паренька лет четырнадцать, в выцветшей рубашке и выдавших виды штанах, примыкала к забору. Соседи. Частенько от нечего делать парнишка садился на крыльцо, а рукой подать — другая, невидимая жизнь. То пес прогремит цепью, скользя по проволоке, то подаст голос хозяин, то хозяйка. То потянет вареным мясом, от которого у вечно голодного Петьки рот наполнялся слюной, а мысли начинали играть, рисуя вкусное блюдо.

— А кто они, что делают? — интересовался Петька у бабушки. — Ворота есть, а сроду никто не заезжает.

Бабушка, худенькая, в платке, цветастом сарафане, с лицом в глубоких морщинах и батоном в руке, исподлобья взглядывая на внука, говорила:



— Сколь живу, не видела, чтобы кто приезжал к ним. Дом они ишшо до войны ставили. Так и стоит — ни-и-куда не глядит. Сапрыкины они. Сначала-то собаками звали... Так себе, пустоцветы! Ни котенка у них, ни дитенка...

— Зато собака! — Петька мечтал о четвероногом друге, да бабушка запрещала держать, мол, самим есть нечего.

— Ну да, объявление висит, а нам и так хорошо, — урезонивала бабушка. — Кот у тебя звон какой красавец!

Сосед, мужик кряжистый, возрастал к плечам широкогрудый, длиннорукий и неспешный, появлялся по утрам. Дверь на одном из створов приотворялась, и черные глаза на широком лице простреливали улицу из конца в конец. Показывался сам, и ни с кем не здороваясь, шагнул на работу. Раз в два дня свету Божьему являлась хозяйка. Ее природа создала из округлостей — маленькая, пухленькая, с короткими ногами, нос и тот — картошкой. И она, ни с кем не общаясь, шла в магазин. Обратно тащиась, тяжело дыша, с полной хозяйственной сумкой, а лицо, усыпанное потом, блестело бисером. «Как только не лопнут?! Нам бы на месяц хватило!» — отмечал Петька.

Так бы и жили — ни здравствуй, ни прощай, но однажды, когда Петька слонялся по улице, в зазор между не закрытыми по случайности створами ворот соседская свинья выставила рыло.

Есенин Владимир Иванович родился в 1948 году в г. Лиелая, Латвия. Член Союза писателей России. Автор книг «Голос» (1992), «Балалайка в трамвае» (1996), «Историю делаем сами» (2006). Печатался в сборниках: «И жизнь, и слёзы, и любовь» (1999), «След от полёта» (2004). Живет в г. Кемерово.

Похрюкала-понюхала, взмахнула ушами-лопухами и вынесла ходившее ходуном сало на придорожную траву. «Вот это по-о-орода!» — Петька присвистнул, а она принялась рыть землю.

Ни души, только птички и кузнечики рассыпают окрест звонкие голоса, да на столбе, наблюдая за происходящим, каркает ворона. Петька с силой похлопал свинью ладошкой, покрутил хвостик — никакого внимания. На разные лады кричал несколько минут, чтобы шла домой — результат прежний. «Настырная!» — обозлился Петька. Принял боксерскую стойку и, подпрыгивая, стал отрабатывать на свинском задку удары: левой, правой, и так и эдак... Увы! Тогда осенило прокатиться верхом. Разбежался, вскочил на спину, свинья истошно завизжала, сбросила его, да так поддела грязным пятак бок, что Петька взвыл от боли и испуга. Плюнул и пошел домой.

Как бы там ни было, но день этот уже был нескудным. Бабушка спала, свесив по-детски маленькую руку над полом и сложив пальцы горсточкой. Сколько помнил Петька, она всегда что-то делала: то хлопотала во дворе, то дома, то в огороде. Успевала и внука погладить по голове, и доброе слово сказать. И хотя на это уходила минута, для него она была особой. Ее слова, наполненные любовью, гнездились в душе. Бывало, бабушка спросит.

— Чего пригорюнился, внучек?

— А почему они все... плохие?! Хотят, чтобы я подлизывался к ним.

— Так не бывает, что все, — выходит, сам плохой! С человеками надо жить в мире и дружбе. А угождать — Богу, который испытывает, есть ли у человека сердце или камень у него.

У Петьки, конечно, было сердце, и он старался забывать обиды.

Бабушка с виду оставалась такой же, как год и два назад, стареть-то дальше некуда, но в последнее время сильно сдала. Больше молилась перед черной иконой или лежала на кровати почти бездыханно. И внук понял: он хозяин в доме. Мыл полы и посуду, стирал белье, варил картошку, топил баню, ходил за пенсией и в магазин, трудился на огороде, где росли картошка, лук, капуста, огурцы, морковь и горох. Как у людей.

Повеяло предвечерней прохладой, а вместе с ней пришло беспокойство: у соседей закрипели ворота, загремела цепь — с работы вернулся хозяин. Мария (так за забором ее звал муж) гремит ведром с кормежкой для свиньи, радостно

повизгивает пес — время ужина. Петька сглотнул слюну и вспомнил о надоевшей картошке с капустой. Тянул время, чтобы сильнее проголодаться, тогда все что хочешь становится вкусным. «Натрескаются и придут выговаривать!» — подумал он. И верно, вскоре заглянула соседка. Стоя на улице, положила полные руки на калитку и обратилась к Петьке:

— Тебя вроде как Петя зовут?

— Ну, — делая вид, что занят, ответил он.

— Кузьма Мефодьевич просит зайти к нам...

Идти держать ответ не хотелось, и он понуро плелся за Марией, но любопытство все же тянуло в дом за забором, как железку к магниту. И вот мир, где жизнь была сытой и обустроенной. Идеальная чистота, порядок, все блестело свежей краской — от резных наличников до ступенек высокого крыльца веранды. Поодаль стояли рубленая баня и большой сарай, даже собачья конура просторная, из хороших досок. Огромный пес Тарзан с красными глазами, завидев гостя, с рыком рванулся было к нему, но Сапрыкин цыкнул, и тот, поджав хвост, лег и положил пасть на лапы. От ворот вдоль стены — гравийная дорожка, босым ногам больно, и Петька передвигался крадучись. Хозяин наблюдал у крыльца явление соседа с видом незаслуженно оскорбленного человека, с долей высокомерия и любопытства.

Несмотря на лето, на Сапрыкине безрукавка на меху, хорошие яловые сапоги и штаны на выпуск. Петька скосил взгляд на хозяйку. На ее лице вышло подобострастное выражение. Стало тихо, воробы — и те угомонились. Хозяин молча и неподвижно рассматривал Петьку, и того сковал безотчетный страх, вытравил все желания, кроме одного — рвануть отсюда подалее.

— Привела, как велел, — сказала Мария.

Тот хмыкнул и спросил:

— Значит, боксер, говоришь?

У Петьки загорелись щеки — не в силах разлепить губы, он молча кивнул.

На лице Сапрыкина отразилось удовлетворение, и он сказал то ли себе, то ли супруге:

— Парнишка-то, видать, смирный.

Сел на крыльцо и обратился к Петьке:

— Ну, кабы на боксы только взял, а то ведь верхом ездить удумал! Зачем?!

Озорник молчал.

— Как дальше-то жить будем?

Петька пришел в себя, и мир ожил, ворвался в уши воробьиным гомоном, шумом листвы то-полей, звоном кузнечиков, прохладным вечерним ветерком на разгоряченных щеках.

— А если бы убежала? Тогда как? — промямлил он, надеясь поскорее отвязаться от соседей, уйти от этого дурманящего запаха щей из дверей веранды, и сказал про себя: «А на фиг бы вас всех!»

— Ну правильно... Вижу, сообразительный, — отметил Сапрыкин, и его лицо стало добродушным.

А свинья извелась вся, хрюкая на разные лады. Хозяин совсем подобрел, подошел к ее рубленому домику с длинным окном у земли, наклонился и через решетку почесал за ухом: «Барыня, Барыня». Она грузно плюхнулась на бок, выставив два длинных ряда сосков. Мария расчувствовалась, всхлипнула и привычным движением смахнула слезу.

— Мы ее ма-а-хонькой взяли. В коробке на матрасике жила, из сосочки кормили, чтоб росла, матерела. Ручная, добрая ...

— Будет плакаться тут! Чужое, значит, не тронь! — Сапрыкин снова оглядел соседа с головы до ног. — По огородам-то наверняка лазишь?

— Зачем? Баба сказывала, что писано: «не укради», — сказал Петька.

— Эва-а, писаным только забор бывает. Про коммунизм вагон и маленькую тележку писано, и что? Ладно, — продолжал хозяин, — предложение есть. За Барыней присматривать. Народ всякий... Ну и когда Марее подсобить... А сам на довольствии будешь!

Он неторопливо разминал «Беломорину», прикуривал, пускал пласты дыма, а Петька соображал: хорошо ли быть свинопасом, что подумает красивая девочка Таня, которая живет через дорогу. В папиросной дымке слабо дрожали малиновые лучи. Давно пора есть — желудок прилип к позвоночнику. Мария вынесла на веранду здоровенную чашку щей и пригласила Петьку. Веранда была больше, чем вся Петькина изба. В углу стоял кованый сундук, в другом — шифоньер и рядом диван, слева от входа, под лампочкой, столик, на котором дымились щи.

— Ладно, бери ложку, — разрешил Сапрыкин.

Перед школой Петька каждый день поджидал Таню, чтобы идти поодаль, а она делала вид, что не замечает соседа. Жила с родителя-

ми, а у него отец с матерью утонули, когда еще был в люльке, — «казанка» перевернулась. На ней бывают новые платья, а он все в одних и тех же застиранных брюках. И мечта о новых занозой торчала в Петькином сердце. Ходил бы с Таней в кино, дружил! Сегодня наконец мечта обретала черты реальности: «Может, заработаю на брюки!»

На удивление, бабушка сегодня сидела на крыльце, опершись о батог. Рядом кот Рыжий мерцал зелеными глазами. Злился. Кот слышал скрип калитки, громко замыкал, перебрасывая хвост по половице: мол, где тебя носит?!

— Уж спать пора... Чего было, сказывай, — проворчала бабушка.

— Предложение от них — за свиньей смотреть.

— Так это ладно. Подумаешь — свинья... Мы в Каргаске жили, у нас лошади, коровы, телята, овечки были, курей — не считано. Батька, бывало, рыбы целый обласок наловит. Бо-о-чку солили на зиму. Слышь-ка, Петь, а может, и на штаны заработаешь.

— Заработаю!

Бабушка жила верой и воспоминаниями. То шептала молитвы, то рассказывала о своем житье-бытье, а внука хоть и волновал больше день сегодняшний, но и о Боге думал. В избе — кухня с печкой и комната, где святой уголок с иконой и медным распятием. На черной от времени доске просматривался лик Богородицы в золотом нимбе с Младенцем на руках. Однажды Петька, еще несмышлёныш, перекрестился перед иконой. Бабушка, поправляя его руку, учила говорить: «Слава тебе, Господи! Пресвятая Богородица, спаси нас!».

Бог был огромным и неизвестным миром, уходящим куда-то далеко за их ограду, высоко в небо. Бабушка любила и славилась Бога. Уже потом, в школе, он входил в жизнь, с удивлением узнавая, что все считают: Бога — нет. «Как это нет?!» — возмущался он, если в нём самом после каждой молитвы открывалось нечто, чему хоть и не знал названия, но любил. И Петька затаился, храня росток веры, жизнь с ней была не такой уж серой и безрадостной: «Пусть не верят, пусть я буду один...»

Только бабушка все понимала, и он не раз порывался спросить: почему люди не хотят знать Бога? И хотя сейчас от последних ее слов о брю-

ках сладко заныло под сердцем, Петька решил задать ей вопрос, давно вертевшийся на языке, о котором стеснялся даже думать. Завтра первый рабочий день и во взрослую жизнь хотелось входить, оставаясь в ладу с бабушкой, с собой и с хозяевами. Душой-то он знал – Бог есть, а вот в рассуждениях – полная беспомощность доказать существование Его.

Петька почесал затылок и спросил:

– А почему, баба, говорят, что Бога нет?

Он ждал, она обидится и разозлится, но бабушка улыбнулась, даже морщины стали не такими глубокими на её неожиданно просветлевшем лице.

– Кто верит, у того Бог есть. А кто не верит, так их и зовут – безбожники. Их жалеть, Петя, надо!

– Говорят, покажи Его, тогда поверим... А правда, почему Бога не видно? Хотя бы одним глазком глянуть!

Бабушка задумалась, отрешённо смотрела куда-то в себя, будто в ней была бесконечная даль и там содержался ответ на все вопросы.

– Ладно, баба, – выдохнул внук. – Не видно Его – так и не надо, все равно Он есть!

– А тебя-то самого весь народ видит? – голос ее стал таким, каким произносила молитвы.

– Откуда? Конечно, не видит.

– Тебя тоже, выходит, нет? Стоишь тут, мерещишься мне!

– Я не мерещусь. Я есть! – хотел было обидеться Петька, но вспомнил о своем глупом вопросе.

– То-то. Господь не девица, чтобы на Него кто-то глаз положил... И не последний кусок сахара, чтобы до праздника чай вприглядку пить, – она, охая и крихтя, подалась спать и уже в дверях добавила: – И с хорошими глазами можно слепым быть...

Он сел на крыльцо – подумать и подышать. Рыжий уже простил его и тёрся у ног. Это ещё тот гулёна и хитрован. Ночами орал на огородах, бывало, являлся под утро ободранный, грязный – что за удовольствие шариться где попало? И ничего, будто так и надо. А вот Петьке стоило задержаться, как Рыжий весь свой характер наружу, видите ли, он тут хозяин наравне с бабушкой! Кстати, кот тоже не прочь отведать мясного блюда и охотился на воробьев. При виде их приседал, сжимался пружиной, готовясь

к стремительному прыжку. Однако воробьи, только он появлялся во дворе, с паническим чириканьем веером разлетались по сторонам.

А прошлым летом Петька обнаружил Рыжего во дворе напротив крыльца под забором –дохлым. «Вот тебе и на! Только что спали вместе?! – так сильно расстроился, что забыл о неотложных делах на огороде. – Такой хороший кот был!» Поднял безвольное тело за передние лапы, погладил на весу, положил на землю, но тот вдруг встал и замурлыкал. «О как! – удивился Петька. – Хочешь валяться – валяйся! Пусть на тебя воробьи с...». Где-то с месяц, притворяясьдохлым, кот ловил воробьев, пока те не сообразили что к чему. Вся ограда была в перьях, а Рыжий поправился, аж лоснился от сытной жизни. Увы, успешная охота закончилась, а привычка притворяться – осталась. Сейчас Рыжий ждал, когда Петька возьмет его за лапы, воротником положит себе на шею – доехать до кровати.

Давно Петька не ложился в таком распрекрасном расположении духа, разве когда был еще совсем маленьким и просто жил, радуясь свету и бабушке. Завтра наконец-то первый в жизни рабочий день. Вот оно, будущее – прорастает! Не зря верил, придет время, и сам все для себя сможет делать. Он будет, как Сапрыкин, строгим и хозяйственным, и добрым, как бабушка.

Все погрузилось во мрак, а Петька мечтал и мечтал, лежа на кровати в своей кухоньке, закинув руки за голову, глядел в оконце с яркими звездочками на черно-бархатном небе. Они мерцали далеким, но реальным светом, знаком будущей жизни, которая казалась Петьке бесконечной сказкой со счастливым исходом. Он и заснул в сказке-мечте, где все жили счастливо – и соседи, и он с бабушкой, и красивая Таня, и Барыня, и Тарзан, и Рыжий. А с бабушкиной иконы ласково улыбалась Богоматерь.

II

Петька проснулся от стука в окно.

– Подъём! Марeya ждет! – сам Кузьма Мефодьевич зашел к ним, уходя на работу.

Он продрал глаза, с трудом возвращаясь из мира снов: «Щас. Я щас!»

Оконце сияло от солнца, гомонили воробьи, и даже Рыжий слинял куда-то, а Петька, оказывает-

ся, дрыхнул, забыв обо всем на свете. Он пружинисто соскочил с кровати, перекрестился, быстро размялся, сполоснул под рукомойником лицо и был готов. Еще не просохла роса, и трава вдоль улицы сверкала радужными искорками, черемуха и ранетка в палисаднике у Тани оправились от дневного зноя, посвежели. Начиналась новая жизнь, было легко, радостно и интересно.

Мария Степановна — так попросила звать — встретила работника там, где вчера их ждал хозяин. Сказала, кормить будет утром и вечером, а вся работа связана с Барыней. Рядом со свинарником пробита скважина с ручным насосом на трубе. Тут же на двух столбах крепилась здоровенная емкость для воды, в которую по утрам предстояло закачивать воду — для мытья свиньи и полива огорода.

Сегодня Тарзан на удивление спокойно встретил Петьку, чего не скажешь о Барыне. Слушая насос, который чавкал клапанами, она все время повизгивала, видимо, считала, что работник ест предназначенный ей корм. Петька совсем развеселился. Ручка насоса отшлифована до блеска, и держать-то ее приятно, да вот ходила она весьма туго, и он с удовлетворением наблюдал, как после каждого качка дергается шланг, пропуская очередную порцию воды. Работа!

Вышла Мария Степановна с ведром корма. Петька остановился, смахнул застилавший глаза пот и посмотрел на ладони — малиново-красные.

— Ах ты, Боже мой! — воскликнула хозяйка. — Рукавицы же вот! — показала на скамейку рядом с насосом. — Волдырями пойдут!

— О, а я что-то и не заметил, — работник героически улыбнулся. — Ххэ, да на мне как на собаке!..

Она отлила густой жижи псу, остальное — свинье и скрылась на веранде. А он продолжал. Ручка стала казаться наждаком. Уж и белый свет померк, но прожорливая емкость все требовала воды — на толстых ногах, с плоской физиономией она вдруг ожила, смахивая на Кузьму Мефодьевича, который кривил губы в презрительной усмешке, мол, это тебе не Барыню боксовать! Когда Петька совсем выбился из сил, сверху пролилась серебряная веревочка. «Слава Богу!» — с облегчением выдохнул он, и опустился на скамейку.

Мария Степановна вынесла пол-литровую банку с чем-то густым и белым.

— Ну-кася, ну-кася, что там у тебя?

Повернул ладони кверху, словно просил милостыню, скрюченные пальцы дрожали, а сам не чуял собственного тела.

— Свиное сало. Хорошо помогает! — сказала Мария Степановна, смазывая ладони и морщась, будто болело у нее.

Петька долго сидел, держа ладони кверху, и взрослая жизнь показалась не такой уж заманчивой.

Без мужа Мария Степановна была весьма общительной. В простеньком, выгоревшем до белизны ситцевом платье, формами напоминала снежную бабу. Присела к Петьке вполоборота и стала расспрашивать: как, да что, да почему. Но рассказывать особо нечего, живут себе с бабушкой да живут. Однако он оживился, заерзал, как только речь зашла о школе. Хороший момент договориться о брюках.

— Я в восьмой перешел... Окончу — и в город... В училище на киповца поступать.

— Они кто такие, киповцы? — уважительно поинтересовалась она.

— О-о, считайте, инженером стану! КИП — это контрольно-измерительные приборы и автоматика. Когда не так, как я воду качал, а кнопку нажал — и все само работает!

— О как! А я подумала, весовое хозяйство какое...

— Вот и надо школу закончить, — продолжал Петька закидывать удочку.

И правда, боль в ладонях улеглась, теперь в них что-то щекотало и приятно пульсировало. Петьке стало хорошо сидеть с Марией Степановной на скамеечке в уютном дворе, и ему захотелось быть хозяином в таком доме, но когда это будет? Даже простая мечта о брюках почти безнадежно запуталась в паутине забот, и он, потупив взор, продолжал:

— Ботинки-то, Мария Степановна, у меня есть. К школе берегу. Вот брюк пока нет! Кроим, кроим пенсию, никак на брюки выкроить не можем. Я уж было решил на заработки податься, да вы переманили, — закончил он свою хитроумную тираду.

Солнце уже высоко над забором, густо заполняло прохладный двор теплом. Тарзан с Барыней вальяжно развалились каждый у себя, но

пес, высунув голову из конуры, явно слушал беседу — подергивал веками, наострив уши-кульки в их сторону. Вчера он потянулся мощным телом и так клацнул челюстями, что у Петьки по спине пробежали мурашки. И сейчас в самый неподходящий момент Тарзан встал и не спеша направился к нему.

— Познакомиться хочет, — сказала хозяйка съезжившемуся работнику.

Пес обнюхивал ноги, а у него все ныло в животе от страха, вызывая противную дрожь. «Господи! Спаси и помилуй!» — прошептал Петька и, набравшись смелости, заставил себя погладить лобастую голову Тарзана раз, другой, третий.

— Хороший, хороший, Тарзан, Та-а-рзан!

Ошейник из сыромятной кожи совсем стер шерсть на шее собаки, отчего казалось, что голова крепилась к туловищу непрочной и может отвалиться. А он явно признал в Петьке если не друга, то равноправного обитателя двора, вплотную встал боком у колен, свесил набок длинный язык, мол, здесь его собачье законное место. Он гладил и жалел Тарзана: «Посиди-ка всю жизнь на цепи! Когда даже в избе и дня не высидишь!».

— Смазать бы тоже! — кивнул Петька на шею пса.

— Экий, паря... Ветеринар! — сказала Мария Степановна. — Болело бы, так не носился бы как угорелый... А то, суку зачует, того и гляди цепь порвет! Вот ей борова надо, — указала на Барыню, — так Кузьма ни в какую, своих де нет детей, так поросычью ораву и даром не надо.

— А-а-а, — Петька покраснел. Стеснялся таких разговоров. Если по правде, и его мучили эти дела. Инстинкт, помноженный на любопытство, был силен, и он подумал, жалея пса: «Тут вообще взбесишься!»

В памяти живо всплыл прошлогодний эпизод, когда ходил в ночную рыбачить километра за три от дома. Была теплая июльская ночь, журчала быстрая речка, вытекая серебристой косичкой из омута у Петькиных ног. Вода лежала темным зеркалом, а он сидел за кустом и наблюдал за поплавком. Благодать! Ночью-то мечтается по-особому — живее, искреннее, и он уже населил омут килограммовыми окунями, когда на противоположный берег явилась девушка. Сбросила халат и несколько минут стояла обнаженной в свете полной луны. До чего же красивая!

Вся из желанных женских черт: с литой грудью с чуть вздернутыми сосками, тонкими шеей и талией, стройными ногами, — она была такой осязаемой, что у Петьки кровь закипела в жилах, гулкими ударами отдаваясь в ушах. Он так и закаменел над удочкой.

Девушка пустила ногой круги, пробуя воду, и стала медленно входить в омут, каждая деталь ее обнаженного тела была прекрасной. Он, весь горя, оставлял в воображении ее на берегу, какой увидел в первое мгновение. Поплавала, плескалась, снова вышла на берег и растворилась сказочным видением во тьме.

Петька глядел на хозяйку, а видел прекрасную девушку на берегу быстрой речки.

— Я и говорю, Мария Степановна, ботинки-то есть, а вот брюки бы...

Она как-то не так посмотрела на его пунцовое лицо, одернула прилипшее к фигуре платье и тоже скраснела.

— Понятное дело, надо... — помолчала. — Мне, Петя, всех жалко: и собаку, и людей, и себя жалко. Одна да одна. Молчком.

Оба задумались, и разговор угас.

Прошла неделя, а Петьке казалось, будто он у Сапрыкиных давно, что раньше в этом круговороте дней только его и не хватало. Три раза ходил в магазин, в основном за хлебом на корм, и каждый день караулил Барыню. Мария Степановна не забыла о школе и вспомнила об этом обыденно, — даже не сразу сообразил, о чем речь. Закачал воду, и она по обыкновению присела рядом.

— У нас «Зингер», Петя. Трофейная. Так что, не переживай, сошьем не хуже фабричных... Только будь смирным. Так-то Кузьма мужик ничего, но слова поперек не скажи. Закаменеет, прямо боязно делается, — вскинула глаза и продолжала: — Мы с ним как живем? Молча! Вроде рядом, а сказать нечего. Все хорошо, тихо, мирно, а что-то не так... То ли он какой-то не такой, то ли со мной что? Шла за него такая счастливая! После войны мужики в дефиците были. А тут — хозяйственный, мастеровитый, непьющий... В общем весь из себя заметный. А сейчас? Ни худого, ни ласкового слова не дождеешься. Другой раз до того тошно, думаю, лучше бы пил, друзей водил, как у других. Вроде, Петя, и не в тюрьме я, но и не на свободе. Что был день, что не было... Так и жизнь катится, будто ее и нет. Вот нет ее, и все тут!

В волнении Мария Степановна преобразилась. Неподвижное доселе лицо заиграло, ожило, и она показалась Петьке обаятельной доброй женщиной. Он кивнул в знак сочувствия, а Мария Степановна в отчаянии махнула рукой, утерла покрасневший нос-картошку. Перед Петькой была маленькая, растерянная, несчастная женщина.

— Ах, да что это я?! В общем, Петя, чижало мне. Сердце нет-нет да сдавит. А ты знай свое дело да молчи... Главное, не перечь ему. Лучше мне высказывай...

— Конечно, конечно! — воскликнул Петька. — Подумаешь, хозяйство — Барыня с Тарзаном! Вон бабушка говорила, раньше, знаете, сколько скотины держали. И ничего. А молчать — это же не воду качать. Я смирным буду, вот увидите!

Они часами просиживали на скамейке, то молча, то беседуя о том о сем. И Петька замечал: она завидует его молодости и надеждам. Он хотел стать героем, чтобы Таня потом узнала, на кого не смотрела. Мария Степановна в ответ грустно улыбалась, мол, ее время ушло. Однажды она присела к нему особенно задумчивой, в глазах вопрос: говорить или — нет. Петька ждал.

— Знаешь, Петя, сон привиделся: будто я еще в девках по лугу иду, а цветов-то, цветов — сколько глаз хватает, — проговорила она тихо, пытливо глядя в его глаза. — Небо синее-синее, а впереди видочек такой чудный, рощица берёзовая. Я цветы рву, рву, а у рощи — старец, весь в белом, седобородый, высокий, будто бы с маминой иконы сошел. Он далеко-далеко от меня, а я все равно слышу, говорит мне: «Мария, не собирай цветы, а приди ко мне». Я этак букет-то выпустила из рук, ничего мне не надо стало, иду вроде к нему, а на месте стою, а он все там же, вдалеке, — улыбается и зовет меня. А я разозлилась, что хочу к нему, а и шаг сделать не могу. Тут тучи, небо потемнело, хоть глаз коли! Только старик весь светится, прямо как луна в небе, и так жалеючи покачал головой, мол, неправильно я делаю. Проснулась, Петя, веришь, вся подушка мокрая, а в голове одно: есть ведь и другая жизнь, хорошая... А я, правда, живу, будто меня все кто-то зовет, куда-то манит, а я — ни с места. Вкопанная!

Ему захотелось помочь Марии Степановне добрыми словами, но их он знал только в молит-

ве. До сих пор молился за себя да бабушку, а за чужого человека — и в голову не приходило. Теперь надо. Так-то Мария Степановна хорошая, но знает ли она, что Бог есть? Можно ли открыться ей, попросить за нее?

Одно время в школе косились на Петьку за слово «Бог» и однажды вызвали к директору вместе с классной руководительницей, Галиной Ивановной. Петька интуитивно понял: лучше поиграть, прикинуться простаком, а то, как говорит бабушка, безбожники будут заставлять отказываться от Бога. На второй год оставят — стращали. Вот он, то краснея, то блелея, на все вопросы отвечал односложно: «Я откуда что знаю? В школе не проходили...». Директор в годах, с усталым и строгим лицом, пообещал выгнать ученика на все четыре стороны, если тот не прекратит распространять религиозный дурман.

Но бабушка-то говорила только о Боге и на вопрос директора будет ли он исправляться, опять заныл:

— Про религию не проходили... Я откуда что знаю? Уроки учу...

— Да какой он верующий, — заговорила Галина Ивановна. — Он, знаете, с бабкой живет, еще при царе родилась. Вот и нахватались «Господи, прости!» да «Царица небесная!» и так далее. В общем, Сафрончук и сам не понимает, что болтает.

— Так усильте воспитательную работу! — потребовал директор. — Домой сходите, побеседуйте. Выговор вам... Для начала.

Петька сильно удивился, что Галина Ивановна заступилась, ведь из-за него имела столько неприятностей, а вот ответила добром. Он шел, и чем ближе к дому, тем сильнее нарастало чувство вины, стыд за слабость перед бесенёнком, который, казалось, завёлся в их классе, нет-нет да дёргал Петьку за язык. Дома, сбросив пальтишко, встал перед Богоматерью и произнес молитву:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!
Помилуй меня, раба Твоего Петьку, грешного,
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Аминь.

Галина Ивановна однажды пожалела, дала на дом легкое задание: выучить стихотворение «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои», а

он?! Сказала, мол, не всё класс смешить да прекрасный русский язык словечками коверкать и, если у Сафрончука задание от зубов будет отскакивать, забудет и поведение, и двойки – поставит за четверть тройку. Шанс! И выучив стихотворение как «Отче наш», Петька ходил по классу в ожидании урока весьма довольный собой, а одноклассники посматривали на него: чего это он такой таинственный?

Наконец Галина Ивановна торжественно произнесла:

– Пожалуйста, Петя.

Откинул крышку парты, встал и с пафосом, без запинки декламируя стихотворение, наблюдал – учительница одобрительно кивала головой. И уже было занесла ручку над журналом – вывести отметку, когда на последнем слове бесенёнок дёрнул-таки за язык. Вместо: «ледяной махает булавой», выскочило: «ледяной махает топорой». Откуда – он и в толк взять не мог. Класс того и ждал, кто-то сдавленно хихикнул, и все взорвались смехом. Лишь две отличницы, аккуратно положив перед собой руки, тихо сидели со щеками цвета перезревших помидоров. Учительница с перекошенным лицом – допёк – подскочила и рванула парту так, что Петька сел на сиденье, а она, не удержавшись, попятилась, споткнулась и, едва не упав, вприсядку, спиной топ-топ – обратно до своего стола. «Может, им что-то другое послышалось?» – мелькнула у Петьки мысль. Тут и отличницы прыснули, зажали лица в ладонях, согнулись, и их спины затряслись.

– Вон! Вон из класса! – вне себя закричала Галина Ивановна. – Чтобы духу твоего здесь не было! Во-о-он!

А бесенёнок тут как тут: мол, теперь, Петька, ты захоходи! Но он, покраснев, стараясь перекрыть гвалт, во всю силу легких выпалил:

– Булавой!

– Во-о-он!

Из школы выскочил, перепуганный, растерянный, а перед глазами прыгала и вертелась злорадная тень: ну, кто из нас сильнее?! Никак не ждал и не желал Петька такого итога и не мог понять: почему и над чем вповалку хохотал класс? Шел домой не чуя ног, глотая слезы: «Подумаешь, одно слово не так сказал!»

Вспоминал о проделках школьного беса, а Мария Степановна тоже молчала, наверное,

перебирала в памяти их совместную с Сапрыкиным жизнь. Лицо ее было грустным и растерянным.

– Не дал мне Бог бабьего счастья. Нет ребёночка у нас. Раньше Кузьма не хотел – теперь я не могу! – она с тоской и болью посмотрела на Петьку, и ему показалось: просила разрешения полюбить его, хоть не как своего, а просто, раз уж жизнь свела по соседству.

– Мария Степановна! – тихо сказал он. – У вас в доме, наверное, бес проказит. Давайте помолюсь за вас.

Она удивилась, обрадовалась, и на лице ее высветилась надежда – давно ждала чего-то такого, и вот – сбылось.

– Очень благодарна буду!

– Я молитвы знаю! У бабушки в тетрадке есть, и икона у нас старинная, – похвалился Петька.

– А у нас нету! Кузьма не верит ни в Бога, ни в черта, ни в партию, ни в коммунизм. В себя, говорит, верю – под себя гребу, вот и живем хорошо. У меня, Петя, тут все болит и мается, – она крестом прижала ладони к груди. – И что болит, и отчего – не пойму. Помолись ради Бога! А пока – ступай, после обеда жара спадет, за Барыней присмотришь. А про штаны-то...Что-нибудь придумаем.

Домой возвращался человеком, которому впервые раскрыли душу, и от гордости распирало грудь. Одно плохо: бабушка-то сидит на картошке с капустой. Она и Рыжий ждали во дворе.

– Брюки пообещала сшить! – ответил на ее немой вопрос.

– Вот и ладно, – обрадовалась она. – Я ведь только за тебя и молюсь. Мне уж одно... Скорей бы Господь прибрал, совсем немощной сделалась. Ни ног ни рук не чувую, а душа болит за тебя, она и держит на белом свете!

– Будет, баба, что попало-то говорить. Пенсия теперь только на тебя пойдет, – бодро ответил Петька.

– Ай, да ничего уж мне не надобно!

– А знаешь, Мария Степановна хочет, чтоб помолился за нее.

– Когда муторно, все Бога поминают... – вздохнула она. – О Нем надо и в радости помнить!

А кот извертелся, с недовольным видом обнюхивал Петькины ноги, он поднял Рыжего за передние лапы к лицу и строго сказал:

— Веди себя смирно, тогда и сытым будешь!

В ответ тот громко и вопросительно мяукнул — так с ним еще не общались. Кот считал, что Петька должен любить только его, а Тарзан — собака — этого не достоин. Каждый день фыркал, поднимал голову и мяукал: мол, опять не нашим духом пахнет! Петька гладил кота, брал на руки, заглядывал в глаза и говорил:

— Ты почему такой?! Тарзан же твоих воробьев не ловит.

Но Рыжий стал держать Петьку на расстоянии, не терся у ног, не играл. Вычеркнул из домашней жизни, считая соседом, завидев, обиженно орал и шел своим путем. Спал где-то возле печи. «Ну и ладно, мне работать надо, а не баловством тут заниматься!» — думал Петька.

Так-то все шло по-прежнему, но в мыслях Петька во многом переселился в другую жизнь, вырвавшуюся в мечтах о будущем. После восьмого класса получит в городе профессию, устроится на работу, пойдет в школу рабочей молодежи, а там, глядишь, и в техникум, а то и в институт поступит — на заочное. С планом на душе легче. И когда Петька спускался с небес, мир казался прекрасным, но через секунду настроение омрачалось, он вспоминал штаны и погружался в задумчивость и грусть. Однажды Барыня показала Петьке не такой уж и некрасивой. Как в первый достопамятный день, обошел вокруг, рассматривая со всех сторон. Если с боку, можно нарисовать всего-то одной линией — начать и закончить пятаком. Завитушку хвоста сделать совсем легко, уши, правда, труднее. Но и эти лопухи оказались на месте. «Как это я раньше не заметил?!» Окинул взглядом улицу и в убогости кособоких домишек тоже увидел своеобразную красоту. И тут вспомнились слова бабушки, что и с глазами можно быть слепым. «А я разве не слепой?!» Петька застыл от охватившего чувства — прозрел! «Если мне и дальше все так будет открываться, увижу Бога!» Снова посмотрел на Барыню, на витиеватые завитушки, вычерченные рылом на земле, и понял: она-то никогда не будет рваться в другую жизнь, мечтать о цветущем луге. Ее жизнь ограничена кругом возле ворот, как у хозяина — забором. Так что особо и следить-то за ней не надо. Обычно в пять, когда в их халупе пикало радио, Барыня, призывно хрюкая, направлялась к воротам. Петька — сле-

дом. Мария Степановна ждала их. Сегодня она тоже смотрелась иначе. Словно нарядили ее в волшебное платье, проявляющее красоту.

Петька каждый вечер с удовольствием поливал Барыню из шланга, тер спину и бока щеткой. Вода с журчанием стекала куда-то в яму в огороде, а пол влажно блестел, отдавая прохладой. И сам обливался — благодать! На веранде уплетал заработок: щи, огромную котлету с картошкой, запивал это целой кружкой компота. А на сытый желудок все сильнее свербело — посмотреть телевизор. Глянуть, как это можно пробежать взглядом тысячи километров, сидя в избе. И хоть дальше веранды не пускали, в глубине души считал, если по справедливости, то жить должны втроем — он, бабушка и Мария Степановна. Кузьме Мефодьевичу и одному хорошо. Его как бы вообще не было — так себе, тень мелькала, и все. Петька уже не спешил домой, старался больше помогать хозяйке. Несмотря на запрет мужа, Мария Степановна обещала как-нибудь включить телевизор, но пока не решалась. Мол, он сказал, что смотреть в нем нечего, только зря лампы жечь, а будет путевое — разрешит.

Однажды работник уже поднялся из-за стола и, весело переговариваясь с хозяйкой, собирался домой, когда с работы раньше обычного пришел Сапрыкин.

— Ну, как? — бросил жене, посмотрев на повеселевшего от сытной еды Петьку. — Люди работают, а вам, гляжу, праздники тут!

— Все делает, молодец! — похвалила хозяйка. — Послушный, смирный мальчишка.

Сапрыкин неопределенно хмыкнул, глядя на работника с немим вопросом, но тот попрощался и поспешил домой.

— Наелся, напился, а теперь молиться! — вдруг бросил вслед Сапрыкин. — С бабкой Ньюрой каждый день, поди, поклоны бьете? Сколь помню, все молится да за нос ловится!

Петька помрачнел и обернулся. Хозяин стоял в той же горделиво-обиженной позе, что и в первый день знакомства, только улыбался с самодовольной ехидцей.

— А вам-то что?! Бабушка плохому не учит...

Петька брел к своей калитке, памятуя слова бабушки о том, что безбожников надо жалеть. Пытался пожалеть Сапрыкина и не мог, не получалось — плюнул.

Круг дня замкнулся, опускалась теплая ночь, завтра наступит другой — а это все ближе к же-

ланной цели — учиться и закончить школу. Там, как и в доме за забором, тоже появилась близкая душа — та самая классная руководительница. После памятного разговора у директора пришла к ним для беседы. У них Галина Ивановна была такой же, как Мария Степановна в отсутствие мужа. Простая, обычная женщина, совсем не злая. Вздыхая, осмотрела убогое жилище, покачала головой, и сели на крыльцо. Петька, не понимая почему, признался ей в своей вере в Бога, чего в школе никогда и ни за что бы не сделал.

— Я знаю, — сказала она.

— А заступились! Почему?

— Так надо было... мне. До этого директора был один тоже неверующий, не чихнет без партии. А когда помирал, сказал: а Бог-то есть! — Они еще помолчали, прислушиваясь к тишине, и учительница снова вздохнула. — Ты верь, пожалуйста, но пойми, у нас, педагогов, должно считаться, что Бога нет. Учил же историю... Была революция, стала советская власть... Безбожная... Понимаешь, Петя, это политика государства. Идеология такая! Поэтому, Петя, свою веру не выдавай словами, чок-чок зубы на крючок! Крестик прячь... И я не скажу. Ну выгонят нас с тобой из школы — и чего хорошего? А когда еще в Бога все поверят — неизвестно. Чего мы с тобой добьемся?! Договорились?

Петька помолчал.

— Да.

III

Барыня паслась на травке, а Петька упал спиной в пырей, нетронутым оазисом зеленеющий у забора, и раскинул крестом руки. Ни облачка, только точка коршуна высоко-высоко выписывает плавные круги. Погрузился взглядом в бездонную синеву: лежал, точно в колыбели, ни о чем не думая, с мыслями чистыми, как это летнее небо. Ах, какое ослепительное счастье — плыть в огромном мире, ощущать под собой несокрушимую твердь, вместе с Землей нестись куда-то в бесконечные дали. Увы, вечно пребывать в высоком полете невозможно. Вот и сейчас, только размялся — припожаловала Барыня и, хрюкая, хотела лечь рядом.

— Еще чего?! А ну-ка, пошла!

И она, взмахивая ушами, послушно удалилась в кювет, в котором еще не просохла грязь от недавнего дождя.

А Петька вдруг показался себе маленьким, одиноким и никому не нужным. «Только бабушка меня и любит! Рыжий и тот отвернулся, считает, что я его на Барыню и Тарзана променял». За огородами подает голос кукушка, вот по травинке взбирается букашка, другая, наоборот, ползет вниз. Все что-то делают, куда-то стремятся. «Живут, а зачем? Я-то не букашка, чтобы быть, как Сапрыкин, сам по себе. Почему так: думать про Бога можно, а говорить нельзя?! А может, все, как Галина Ивановна, притворяются, что Бога нет? Только врут на людях? Значит, не любят друг друга. У меня, слава Богу, есть кого любить — бабушку. Но одной ее мне не хватает». Вспомнил бабушку, и мир засиял. Петька напевно, с благоговением, какого раньше не испытывал, произнес молитву:

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

Он любил эти непонятные слова, выученные им еще до школы.

— Ты слушай, Петя, слушай — все поймешь! — наставляла бабушка, без устали повторяя «Отче наш».

И он вслушивался в родной голос, в звук молитвы и верил, что подрастет и ему откроется что-то очень важное, что уже знает и бережет бабушка. Слова «Отче наш» таили загадку, наподобие семян неизвестных пока цветов, которые должны прорасти, дать всходы, вырасти и украсить землю.

...По воскресеньям Сапрыкин осматривал дом, возился на огороде, подметал и без того чистый двор, а напоследок с молотком обходил забор, укрепляя гвоздями и так прочно прибитые доски. Мария Степановна при муже обращалась к Петьке коротко: сделай то, сделай это. А вот Кузьма Мефодьевич молчал так, что было понятно: кто чего стоит, кто и зачем здесь нужен, и зачем он — хозяин. Скупой на ласку, он иногда трепал Тарзана за шею, но каждый день чесал Бырыне за ухом.

Лишь однажды спросил у Петьки, нравится ему у них или нет.

— Ну-у, так, ничего, — неопределенно ответил он, мол, не нравилось бы, так не работал.

На лице хозяина мелькнула тень неудовольствия: де, должен считать за счастье, что его приютили. Но Петька соблюдал обет молчания, данный Марии Степановне. Чужая, что с Кузьмой Мефодьевичем отношений лучше не иметь. А тот от выходного к выходному все внимательнее присматривался к работнику, особенно, когда на лице у того светилось хорошее настроение. Сам-то Сапрыкин не улыбался, не любил, когда улыбались другие. «Скорее бы в школу! — каждый раз думал Петька. — Какое мне дело до Сапрыкина, если родная жена — и та с ним ужиться не может, плачет и только притворяется, что любит. С хозяином только Барыне хорошо, так она же свинья. Ей лишь бы ведро кормежки наворачнуть!»

Если по правде, Петька поправился на соседских харчах, но хозяина — не любил. При нем жизнь в доме как бы ужималась в невидимый шар, за пределы которого не могли вырваться даже мечты. И он шмыгал мимо, старясь держаться подальше от Сапрыкина.

Однажды Кузьма Мефодьевич вынес из дома нечто, сложенное четырехугольником.

— Вещь! — уважительно сказал он.

Петька только что закачал воду и блаженствовал на скамейке. Когда хозяин развернул ее на траве, посередине появился прямой окантованный вторым слоем брезента вырез. Вещь была в серо-зеленых пятнах.

— Не видишь?! Плащ-палатка, — в ответ на вопросительный взгляд бросил хозяин. — Трофейная! Волгская!

Впервые он поделился своими заботами, и во мраке их отношений для мальчишки вспыхнул огонек, сердце порхнуло навстречу: а может, хозяин совсем не такой, каким кажется? Может, он только притворяется плохим, как сам Петька в школе — безбожником?

— О-о-о! — восхитился он. — Вот это да-а, трофейная! Потрогать бы!

— Потрогай, — разрешил хозяин. — Только не вздумай ходить по ней. Трава не отстирывается. Повертись тут, чтобы воробьи не обосрали. — Медвежьей походкой поднялся на крыльцо и скрылся в доме.

А Петька впился взглядом в брезент, и перед ним развернулись ожесточенные бои за Родину

с душегубами-фашистами, которые сплошь были в плащ-палатках, квадратные и беспощадные. Они лезли и лезли на наших. Сапрыкин среди героев — смело строчит из автомата ППШ, и гады ложатся рядами, травой под литовкой. Петька тоже не жалеет патронов, на дно окопа веером сыплются гильзы. «За такое все можно простить фронтовику, все стерпеть, — думает боец. — Даже подковырку насчет молитвы. Не зря Мария Степановна терпит его. Он вещь бережет — память о друзьях-товарищах».

Он с ненавистью посмотрел на стайку воробьев, рассеявшихся на заборе со стороны их ограды и тоже с любопытством разглядывавших плащ-палатку. Схватил метлу и так заорал, что из дома выскочил Кузьма Мефодьевич.

— Что случилось тут?!

— Воробьи! — объяснил Петька, ставя метлу на место.

Вышла Мария Степановна, а Сапрыкин развел руки, раскрыл рот, постоял так с минуту и наконец сказал:

— Молодец! Только чего вопить, не пожар же?!

Хозяйка поддержала Петьку:

— От этих засранцев, Кузьма, спасу нет! — пожаловалась она. — Пугало твоё и то обгадили. Уж клубнику поклевали! Спасибо Пете за кота — теперь у нас воробьев ловит!

Хозяин насторожился, затем неопределенно хмыкнул и произнес:

— Это, конечно, номер! Это хорошо-о-о...

Петька и сам только узнал, что Рыжий расширил охотничьи угодья: «Видать, считает, будто мы с ним тут хозяева». А Сапрыкин продолжал:

— Не он ли блажил по ночам с кошками, что мы с Мареей спать не могли?

— Так зато с ягодой будете, — заметил Петька.

Сапрыкин хмыкнул на этот раз дружелюбно, перевернул плащ-палатку и распорядился караулить дальше. Петька снова очутился на фронте, но уже бравым командиром с орденами на груди и, повоевав, уже собирался к соседке Тане, когда Кузьма Мефодьевич опять появился на крыльце. Как хозяйка в первый день Петькиного пребывания здесь, сел на скамейку к нему вполборота, не спеша закурил «Беломорканал». Всем видом давал понять — дело у него важное.

— Ну, Петя, за сколько кота продашь?

Петьке и в голову не приходило продавать Рыжего, и он пожал плечами, не зная, что ответить.

— Тебе-то он зачем? А мы без варенья сидим... Давай за трехлитровую банку...

«Как это «зачем»?! — возмутился про себя хозяин кота. — Но, с другой стороны, и правда, зачем?» Никогда не задумывался, для чего они нужны друг другу. Подобрал Рыжего на улице, маленького, в осеннем снежном дожде, беспомощного, тонюсенько и жалобно мяукающего. Котенок с такой надеждой смотрел на Петьку своими мутно-синими бусинками, что он не задумываясь спрятал его на груди и рванул домой. Вспомнились их игры, какой кот умный, ловкий, как бесконечными зимними вечерами ходил в избе по пятам, не отпуская ни на шаг. Рыжий и бабушку любил, несмотря на то, что доставалось батогом, чтобы не путался под ногами. Но видел, что Петька любит бабушку, и все ей прощал. А когда он становился перед Богоматерью, крестился и шептал бабушкины молитвы, Рыжий смирно сидел рядом. Это были минуты радости и покоя, словно ветхая избушка перемещалась вдруг куда-то, где были все: и бабушка, и родители, и где был свет и тепло. Петьке казалось, что его видит Сам Бог.

Стало погано, что за Рыжего предлагают варенье, а сосед наседали, мол, давай тогда — за деньги.

— Он мне нужен! — отрезал Петька.

Сапрыкин откачнулся от собеседника, и морщины на его лбу волнисто углубились, напоминая стиральную доску.

— Да и убежит он. На цепь же кота не посадишь.

Кузьме Мефодьевичу это показалось убедительным, и он согласился.

— А, ладно. И так пользу делает! За бесплатно...

Барыня уже визжала и хрюкала, просясь на травку.

— Веди, — закончил разговор Сапрыкин.

Сегодня Мария Степановна таинственно поманила в дом смотреть телевизор. Хоромы! Три огромные комнаты и кухня. Диван, кресла, ножная швейная машинка «Зингер», столы, кровати. По стенам — ковры и даже батареи автономного отопления. «Рекорд» стоял в углу на тумбочке, прикрытый салфеткой в васильках. Она сняла

ее, аккуратно повесила на спинку кровати. Телевизор! С виду-то обыкновенный ящик со стеклянным, похожим на выпученный глаз экраном. Сел на стул и стал ждать.

— Сейчас поверну штучку, и немного погодя фигурки забегают, — сообщила Мария Степановна.

Щелкнула выключателем, внутри загудело, послышался голос, стало светлеть, и вдруг нарисовался мужик в галстуке со строгим лицом. Стал рассказывать о достижениях, трудовых победах по всей стране, о том, что советский народ своим ударным трудом уверенной поступью шагает к коммунизму. Потом появился завод, где и вправду трудилось много людей. Здесь еще один, в рабочем халате, тоже бодро говорил, что социалистические обязательства они перевыполнили, что задание партии им по плечу. Мол, так считает весь их трудовой коллектив, стоящий на ударной вахте. Показали, как спускали с верфи корабль, который с разгону носом въехал в море и закачался. Здесь тоже было полно радостного народа, выступали и так же благодарили самое большое начальство страны.

Смотрели уже час. В телевизоре была ожившая мечта о будущем, и Петька решил, что будет вместе со всеми строить коммунизм.

— А кина-то кажут? — не отрываясь от экрана, полюбопытствовал он.

Мария Степановна спохватилась и выключила «Рекорд».

— Не знаю, Кузьма раз десять включал, все про коммунизм да про партию. Плюнул, мол, ждать будем...

— А мне понравилось про коммунизм, — сообщил Петька. — Разве плохо, когда всем хорошо?

— Ты молчи больше! Посмотрел — и будь доволен.

Быть смирным, понял Петька, — совсем не плохо. Вот только хозяину все больше не нравилась их дружба с Марией Степановной, и он, догадываясь о ней, наливался неприязнью, которая, подобно испорченному воздуху, быстро становилась явной. А Сапрыкин не очень-то и таился. Каждый день, приходя с работы, если заставлял Петьку, бросал жене:

— Что этот молодец против овец сегодня опять у тебя молодец?! — словно хотел, чтобы Петька хоть как-нибудь набедокурил.

— А что он? — пожимала плечами. — Ничего не скажу.

В очередное воскресенье Сапрыкин снова усадил работника на скамейку напротив себя и, доставая папиросы, спросил:

— Ну, как жизнь?

— Ничо, — ответил Петька, чуя недоброе и усиленно соображая: что делать?

— Слышал, в школу штаны надо? — хозяин закурил, затянулся и, выпустив дым, добавил: — Без штанов, конечно, нельзя.

Работник пожал плечами.

— Так-так, — Сапрыкин хотел было продолжить, но тут у Петьки созрел план. Он задал свой вопрос.

— А интересно: как вы на фронте фашистов косили? Как вещь у них отобрали?

Сапрыкин помедлил, решая что-то про себя, и наконец произнес:

— А я, слушай, не дурак! Я прятался! — он умолк, внимательно, исподлобья глядя на работника.

И Петьке захотелось поиграть, попритворяться, ну не дохлым, как кот, а так — подыграть. Куда все покатится?

— Дэ-э-э, чего-чего, а дураков у нас пруд пруди! — подтвердил Петька, и хозяин вдруг улыбнулся. То ли оттого, что высказался, то ли, что нашел в работнике правильного собеседника. Видать, за молчаливую жизнь и у Сапрыкина накопилось столько, что надо было высказаться до самого доньшка.

— Вот тут, Петя, ты прав... — он замолк, явно вспоминая знакомых «дураков». — У меня начальник, зав. складом, дурак, каких белый свет не видывал! Ворует помногу, но редко. А сколько веревочка ни вьется, все равно конец будет. При мне уже трех упрятали, а я, кладовщик, — все на месте. Мне команду дает: бери, только документы правильно оформляй. Думает, если сядем, то вместе. Ну и дура-а-ак! — Сапрыкин взглянул Петьке в глаза и продолжал: — А почему дурак, знаешь? Нет? Я-то беру с разрешения, выходит, не ворую, я исполняю. Это раз. А два — то, что я, не как он, беру помаленьку, но часто. Как курочка...

Петька слушал и гадал: зачем и для чего Сапрыкин все это рассказывает? «Мария Степановна, понятно, меня за человека считает, а это-м что надо, если я для него — букашка?»

— А ты говоришь: не укради! — продолжал Сапрыкин. — Все воруют — так по природе устроено. Пчелам дай сладкую водичку, только водочки чуток плесни — и они в чужой улей за медом полетят.

— Я не ворую.

— Э-э-э, это временно. Погоди, больше меня наворуешь... Я, Петя, по-соседски, помочь в одном деле... Сказать?

— Воровать не стану!

Кузьма Мефодьевич изменился в лице.

— Ну, конечно, где уж вам, чистоплюям, да нам подсобить! Вам бы только креститься, молиться да через нас кормиться! Во что верите-то?! Во что! Ведь не скажешь, ну не скажешь же!

— Почему это? — удивился Петька. — В Бога.

— Верят в то, что потрогать можно. Я вот верю в себя! На себя и надеюсь, — Сапрыкин ткнул большим пальцем в грудь: — Вот он я!

А Петька думал о бабушке. Она не заставляла верить, ничего не доказывала, а вот не соглашаться с ней и в голову не приходило, и он все больше злился на хозяина, но терпел. Обещал же быть смирным.

— А-а-а, молчишь? Ну и дурак! — Сапрыкин тоже умолк, видя, что криком верующего не возьмешь, и погода спросил: — Если Бог такой хороший, чего же тебя в голодранцах держит?! Не желаешь подсобить, а я за просто так должен брюки дарить? Просто так и чирей не соскакивает. За Христа ради? Так мы не верующие! Вот ты мне помогай по хозяйству так, за Христа ради. Ась?

Петька молчал.

— То-то!

Чем больше безбожник входил в раж, тем сильнее Петьке казалось, что тот не очень-то уверен в своей правоте, но и ответить не мог — так все перевернул, что можно даже согласиться. От такой мысли стало поганее, чем от предложения варенья за кота. «Вот Сапрыкин против Бога бьется. Он ему воровать мешает. А школа?.. Почему школа против Бога? Чем Он ей мешает?.. Получается, что школа похожа на Сапрыкина. Неправда у них одна — безбожная!»

— Ну, верь! — с показным равнодушием пожал плечами Сапрыкин. — Хватишься, да поздно будет. Вижу, у вас тут с Мареей дружба, а я — лишний! Одна сказки про коммунизм желает смот-

реть, другой Бога придумал. Не видать тебе штанов, как своих ушей!

Петька метнул злой и растерянный взгляд на соседа — тот сидел с довольной физиономией и собирался курить. «Какой же он... — запнулся, не зная как назвать. — В общем, хитрюга! Не, а если Бога нет, чего он тогда бьется-то так? Как будто знает, что Он есть, но хочет, чтоб Его не было!»

— Вот, подумай хорошенько, — добавил хозяин. — Надумаешь, скажешь.

На том и расстались. «В школу придется идти махорником», — вздохнул Петька. Путь от ворот до их калитки показался длинным, дом красивой девчонки Тани далеким, а мечта о дружбе с ней стала неощутимой, точно воздух в горсти.

Дома осмотрел брюки. Они были чисто шерстяными, перешитыми из отцовских флотских клешей, стали немного коротковаты, но беда, что на задку в двух местах сильно протерлись. Он мараковал, как лучше заштопать их, когда из комнаты вышла бабушка и спросила:

— Что за горе, Петя?!

— Воровать заставляет, — кивнул в сторону соседей. — А нет — так брюк как ушей не видать!

Она присела на длинную, во всю стену, лавку и вздохнула.

— Ворованное — что брошенное — без пользы оно... Помяни мое слово, Петя, все у них прахом пойдет!

— Все, мол, воруют... Даже пчелы!

— Вот наказание-то! Пчел и тех ослабил... Даже не знаю, милый, чего и делать.

— Рыжего просил за варенье, потом за деньги. Полезный для них — воробьев гоняет.

— Кота?! Да его в мешок посади, унеси хоть куда — все одно дорогу обратно найдет, — бабушка вдруг приободрилась, приосанилась, будто сбросила десяток лет и заявила: — А вот что, пойду-ка похлопочу, чтоб честно дал заработать.

Петька не помнил, когда она выходила за ограду, и принялся отговаривать от затеи: хватит ли сил? Но, несмотря на просьбы на худой конец сходить вместе, твердо сказала, мол, дело серьезное, управится сама, а он — еще не дорос.

Нащупывая ступеньки батога, спустилась с крыльца, дошла до калитки, держась за жердь двумя руками, передохнула и двинулась дальше. Петька караулил поодаль, готовый в любой

момент поддержать за руку. На удивление, она, перешагивая через вырытые Барыней канавки, добралась до ворот и постучала по ним батога. Забрехал Тарзан, и скоро дверь на створе приоткрыл сам, высунулся в просвет и удивился: чего надо?

— Здравствуй-ка вам! Мира да добра! — она перекрестилась. — Дай Господь счастья да благополучия вам!

— Чего, чего?! — Сапрыкин сквасился и поспешил отвязаться. — Мы не подаем!

— Я не за милостыней, милый. Я с просьбицей кланяюсь, — она, и без того согнутая в крючок, снова крестясь, низко поклонилась Сапрыкину. Он распахнул дверь, в упор уставился на бабушку.

— Нельзя ли, уважаемый, Петьке в школу на штаны заработать? Воровать мы не умеем.

— Чего?!

— Тюремщиков, говорю, у нас сроду не бывало, — пока Сапрыкин думал, бабушка повторила вопрос: — Ась? Воровать-то грех... Мы люди непривычные, а штаны, слушай, нам шибко надобны.

— Меня, про между прочим, Кузьма Мефодьевич зовут! — он сообразил, для чего она пришла, и поинтересовался: — А что же это ты, молельщица, к грешнику-то припожаловала? Что гром разобьет, не боишься?! Или в смолу попадешь?!

— Чай, сам не попади, безбожник!

Петька хотел выйти и заступиться за бабушку, но тут Тарзан так гавкнул за спиной Сапрыкина, что тот вздрогнул и чертыхнулся.

— Цыты!

— Царица небесная! Спаси и помилуй! — перекрестилась бабушка. — Так как? Пуцай работает.

— Его кто заставляет воровать? Так, помочь маленько... А он, видите ли, с характером. Упорный!

— Дак ить Петька-то никогда не врал!

— Ххэ, «не врал», а сегодня взял да соврал!

Он хотел было закрыть дверь, но она взмолилась:

— Христом Богом прошу, не забивай дитенка! Сирота он безответный.

Петька слышал, что Сапрыкин усиленно засопел — значит, разозлился. «Господи! Нашла, кого просить», — злясь от стыда и беспомощности, подумал Петька.

– Чего взялась тут мне... Учить тут... Будто мне надо! Я знать не знаю... Обидел тут вас! Он сам кого хочешь обидит! Пою, кормлю, не пере-работался... Чего еще от меня надо-то? Никто силой его ко мне не тянет. Не нужен он мне такой! – Сапрыкин резко захлопнул дверь и, что-то бубня, удалился. Прогремела цепь, и все стихло.

Бабушка стояла перед закрытыми дверями, ухватившись обеими руками за батог, не в силах сделать шаг, Петька подхватил ее под руку. Пока брели до дома, бурлил от негодования и обиды: как можно так врать, а бабушка выдохнула только одно слово: «Нехристь!». Легла, а он, сидя на крыльце, думал: «Никто Сапрыкина не грозит выгнать с работы, как учителей из школы, никто не заставляет возводить напраслину, а он, взял и соврал бабушке, будто бы я ей соврал. Что теперь она думает? Конечно, не поверила, но почему-то промолчала». Петька на цыпочках вернулся в дом посмотреть на бабушку, если отдохнула, расспросить обо всем. Лежала, плотно сомкнув веки и губы, платок сбился набок, и на подушке рассыпалась прядь. «Даже не поела! Совсем жить не хочет!» – он заплакал и вышел во двор.

Все отходило ко сну, а Петькины мысли гудели в поисках ответа: что делать завтра? За два месяца привык к сытной жизни, к Марии Степановне, Барыне и Тарзану. И вот – оборвалось. Сам-то, конечно, не пойдет на поклон, бабушка сходила и что? Ночами август давал знать о себе холодом – зябко, муторно. Слышно, как за забором осторожно закрылась дверь веранды, скрипнули ворота, и через час мимо их калитки с пыхтением обратно прошел хозяин. Что-то глухо упало. Из-за забора потянуло «Беломором». Петька уже хотел идти в дом, когда Кузьма Мефодьевич закончил перекур и снова отправился, видать, на склад. «Ничего себе «курочка»!» – удивился парнишка.

Дома, не раздеваясь, упал на кровать лицом к стенке – так делал всегда, когда было тяжело и одиноко. Ему мнится черное, без единой звездочки небо, и он сам в этом мраке – черный, бес-телесный. Только слышит: где-то злорадствует Сапрыкин: «Я тебя вижу, а ты меня – нет! А потому, что тебе только кажется, что ты черный! Ты же светишь, как луна! Здесь мы дух за тысячу километров чуем. Ну-ка, где он, твой Бог?! По-

кажи мне!» Как только он произнес это, кругом просияло, и Петька оказался в диковинном саду. Добродушные шмели разносили пыльцу по цветам. Сверкая под солнцем, бежала речка, и в ней, словно она была небом, плыло белое облако. В теплом воздухе разливался чудный аромат, и один цветок особенно понравился Петьке. Голубенький, его нежные лепестки раскрылись навстречу доверчиво и с надеждой, как когда-то глаза-бусинки котенка во мраке снежного дождя. Только протянул руку взять цветок, как вдруг над облаком, которое было в речке, над ее серебристой водой увидел Богоматерь с сияющим Ли-ком. Она была в длинных одеждах, высокая, стройная, строгие и плавные линии были несравненно прекраснее, чем все, что ему доводилось видеть. Она была как бы невесомой, с кротким, внимательным взором, но такой реальной, что у Петьки не возникло и тени сомнения в Ее существовании: Она есть и смотрит на него. «Не бери цветок, Петя! Он должен цвести! – сказала она. – А молись за бабушку! За себя молись, что-бы укрепил Господь душу твою!».

Петька потянулся к Богоматери, побежал изо всех сил, цветы слились в сплошную радугу, а Она все там же и там же. И от этого ему жутко, мучительно больно и стыдно – такой медленный! «Как же так?! – удивляется он во сне. – Так-то я рядышком с Ней, каждая черточка видна, а приблизиться не могу! И бегу вроде». Воздух прозрачный, теплый, нежный, радостный – ласкает щеки, и Петька преисполнен счастья, которое исходит от Этой Девы. Он тянет к Ней руки, моля об одном: побыть рядом, страстно желает сказать, что любит Ее и обязательно будет молиться, но не может проронить и слова и только слышит: «Молись за бабушку, Петя! Укрепи Господь душу твою!» И голос Ее соединил Петьку со светом наступающего дня.

IV

Он открыл глаза от громкого стука в окно.

– А кто воду будет закачивать?! – крикнула Мария Степановна.

– Я щас, щас я! – он спрыгнул с кровати и мигом оказался у насоса.

На Петькином душевном небосклоне от вчерашних событий лишь серое облачко. Мария Степановна не стала даже обсуждать. Только

сказала, что Кузьма такой и есть — бука нелюдимая, что он и сам дотащил цемент, — дорожку бетонировать, а насчет брюк, развела руками, мол, пока сама ничего не знает — подневольная.

Он закачивал воду, когда вспомнил, что за был с утра помолиться, попросить за бабушку у Богоматери.

— Господи! Прости раба твоего Петьку! Дай Бог здоровья и сил бабушке, — сказал он, бросая насос и крестясь.

Вода уже плеснула через край, а он сегодня не обрадовался ни окончанию трудной работы, ни сытной еде, ждущей его на веранде, ни общению с Марией Степановной.

— Что-то не в настроении, Петя? — спросила она.

— Да так, — отмахнулся он.

Вечером он сказал Богоматери все хорошие слова, которые знал. Потом долго молился за бабушку, — совсем слегла, ничего не просила, только пила воду. Со вчерашнего дня она так и не проронила ни слова, лишь крестилась тонкой, как веточка, рукой, и ее синеватые губы шевелились. Петька понял: скоро помрет. Он в одиночестве повзрослел, стал неулыбчивым, замкнутым и задумчивым. Каждый день молился за нее, чтобы не дал Господь согнуть во мраке, дал ей жить на небе.

Остальное все бы ничего, да были выходные — был дома и Кузьма Мефодьевич.

— Ты, Петя, тут без году неделю, а я всю жизнь маюсь, — говорила Мария Степановна. — И уйти некуда, и силушек нет! Пугало и пугало огородное...

Они с мужем ходили мимо друг друга с каменными лицами, демонстративно отворачивались, и Петька догадался: поругались. А потом и Мария Степановна обронила, мол, Кузьме надо, чтобы она работника в узде держала.

— А что держать-то, когда добросовестный...

По воскресеньям Петька считал часы до дома и дни до школы, замечал, хозяину такая жизнь тоже не нравилась. Он все чаще суетился во дворе, искал, что бы такое сделать, хотел обратить на себя внимание. Петька чуял: что-то случится, так долго продолжаться не может. Но произошло неожиданное. Он качал воду, сдувая с носа капельки пота, чмокали клапаны, повизгивала Барыня, потягивался и брэнчал цепью Тарзан, белокрылая бабочка порхала перед

глазами. То садилась на насос, складывая и раскладывая крылья, то снова мельтешила в воздухе. Вдруг желторотый воробей подхватил ее и уселся на заборе. Бабочка трепыхалась в клюве, и птичка вся извертелась, пытаясь справиться с ней. Со стороны крыльца Петькиной хибары, цепляясь когтями, на забор заскочил Рыжий. Воробей едва выскочил из-под усатой морды. Кот недовольно заорал, Тарзан злобно зарычал и разразился оглушительным лаем, из дома выскочил Кузьма Мефодьевич.

— Что такое?! Чего опять тут?

— Кот, — сообщил Петька.

Рыжий шел по забору злой, пользуясь положением хозяина, взирал сверху и шипел на пса. Тот взбесился, из пасти летела слюна, хрипел, захлебываясь лаем.

— Подь ты к черту весь! — глядя на Рыжего, закричал Сапрыкин. Схватил на галечной дорожке увесистый голыш и запустил им коту точно в голову. — Ни днем, ни ночью покоя нет! — с обидой сказал он и скрылся.

Рыжий упал обратно в свой двор, а Петька только и успел рот раскрыть. Постоял в растерянности и рванул домой. Кот лежал у забора с выбитым глазом, на кончике уха божьей коровкой застыла кровь, лапки и хвост подергивались в предсмертной судороге. На этот раз Рыжий не притворялся. Петька закопал его здесь же, во дворе, и в нем что-то оборвалось и исчезло навсегда.

Мария Степановна, узнав, что бабушка при смерти, приготовила похоронные принадлежности. Смотрела на Петьку добрее, жалела. Один раз даже погладила по голове и сказала, чтобы не забыл постричься к школе. До первого сентября оставалось всего-то две недели. Петька встретил Таню, когда шел в магазин за хлебом. За лето подтянулась, повзрослела, стала красивее. На ней новенькое синее платьице, через которое уже проступали груди, на стройных ногах туфли. Шла с авоськой и чему-то улыбалась.

— Здравствуй, Таня, — смело сказал Петька.

— Здравствуй, — и прошла, едва скользнув взглядом.

Но ее серые глаза обожгли, заставили биться сердце, в мгновение оживили мечты о взрослой жизни. Оглянулся. Ах, как красиво шла! Помахивая сеткой, плыла в прохладном августовском воздухе, словно в своем синем платье сошла с

неба, а не приехала из какого-то там лагеря. Девчонка что надо! Не то что эти вечно надутые отличницы, у которых даже походка и лица похожи на учительские. Слова у них правильные, а противные, вроде дистиллированной воды, которую Петя пил на уроке химии. Скоро чаще будет видеть Таню, и она все равно поймет, какой он хороший.

Осень повсюду настойчиво заявляла о себе. Трава пожухла и пожелтела, лишь вдоль заборов еще выбивалась зелень. На тополях – седые пряди, листья ведут речь не так нежно и таинственно, сухим бумажным шорохом отвечают на вздохи ветра. Не посидишь допоздна на крылечке, не помечтаешь: холодно, да и заботы подступили вплотную, как соседский забор. На тетради, учебники и уголь деньги, слава Богу, есть, а скоро и картошку копать. Вчера бабушка впервые после общения с Сапрыкиным сказала: «Прости, внучек!», немного поела и снова затихла – то ли во сне, то ли в полудреме. Вспыхнула надежда: еще поднимется, поживет.

Сегодня Кузьма Мефодьевич, неприкаянно потыкавшись по двору, сообщил: будет колоть Барыню. Ему что-то шибко тоскливо стало. Они втроем были в ограде, Мария Степановна вдруг осмелела и напустилась на мужа.

– Добрые люди морозов ждут! Если худо, выть на улице надо, а не свиней колоть. Кота убил, а сам!..

– А что сам-то, что? Белены объелась?

– А то – блажишь по ночам, я аж подскакиваю. Хуже кот! – повернулась к Петке: – Толкну, соскочит, глаза выпучит и мычит. Бешеный... Меня аж на колоти берет! Не сплю, хожу, как ватная. Собирался же дорожку цементировать! Занимайся!

– «Бешеный», «бешеный»! – передразнил жену. – А песок где? А спросят, откуда цемент, если песок без него выпишу? Ты хоть знаешь, сколько надо песку? Нашли жеребца. Скоро уж запрягать начнете! На меня, про между прочим, и так народ косится.

– Ты сам не косись, и на тебя не будут, – гнула свое Мария Степановна.

– В общем, на то лето работа. А мясо на продажу.

– А орешь чего? Шилом в зад тыкают?

– Снится! – Кузьма Мефодьевич обреченно махнул рукой и вздохнул.

– Поди-ка, коммунизм?! Говорят, одеялы бо-о-ольшие общие будут! – подначила она, но Сапрыкин отмахнулся.

– Хуже, Марья, хуже! – Он подозрительно глянул на жену, потом посмотрел на антенну. – Не, а ты откуда про одеялы знаешь?

– Откуда надо, оттуда и знаю!

– Ну, в общем, будто бы я голый попал куда-то на завод. Кругом ржавые шестерни с дом – крутятся, скрипят! Всякие рычаги ходят, все в чаду, в копоты, шум, свист. Баки, а в них что-то гудит и шлепает. Куда ни глянешь – цеха, цеха... Интересно: хожу безо всего – производство! Одни бабы в спецовках, старательные, смиренные... На меня ноль внимания, будто и не мужик. Видать, думаю, зарплата хорошая, раз оторваться от дела не хотят. Захотел убираться с предприятия, спохватился, а дороги не знаю. Страшнее, чем на фронте. А кругом только бабы задницы у механизмов, будто картошку перебирают. А я уж чумазый весь. Подошел к одной, спрашиваю: как с вашего завода выйти? Она лицо показала, хорошее с виду, правдивое, как у тебя, Марья, и так вежливо мне: мол, вон дырка в стене, только через нее выйти можно. Я, дурак, в дырку-то шмыг, а за мной ее сразу железом закрыли. Впереди узкий проход метра три длиной, сзади меня поршень толкает, а в конце механизм, как терка, – вверх-вниз. Вот-вот меня перетрет. Я в крик! Кричу что есть мочи. Все, конец мне! И вдруг сызнова в том же цехе, опять те же бабы. Одна и говорит: надо главного вызвать, что-то терка не берет его, попросил кто-то за него, что ли? Обсуждают при мне, будто я скотина. Мол, такого варить нельзя, весь вкус испортит. Вот, думаю, где дуры-то меня за свинью приняли! Сейчас главный придет, разберется. А главный по телефону им: мол, нам без разницы, попросили, не попросили, мы всех варим, кто к нам попадает. Производство не должно простаивать! Трите его, пока не перетрется! Надеюсь, бабенки не совсем же дуры, сообразят, поди, кого на переработку пускают. А они, как назло, старательные, обсуждают: мол, давайте так поджарим его. Я им: вы что, совсем сдурели?! А они мне: мол, мы в свое время погуляли хорошо, а тут срок отработываем, и сами рады выбраться, да не дано нам. И палками меня, как свинью, прямо на сковороду в масло загнали. Я опять в крик! Так и маюсь по ночам.

— Ну это, Кузьма, скорее всего к болезни, — стихнув, сказала Мария Степановна. — А вообще, бесполезный ты... Вот тебя бабы и пустили в переработку!

— Ну, понятно, спасибо и на этом... Барыню колоть — к этому сон!

Мария Степановна изменилась в лице и молча принялась растапливать печь. Хозяин поставил разогреть паяльную лампу, сел на крыльцо точить длинный нож. Тарзан чуял кровь, нетерпеливо слглатывал слюну, дрожал и лез к Сапрыкину. Тот мягко покрикивал на пса, а Мария Степановна, поставив кипятить воду, бестолково суежилась, будто потерялась в этом доме. Взглядывала на Петьку мокрыми глазами, прося помощи и поддержки, но Петька и сам пребывал в растерянности, понуро стоял у крыльца в ожидании указаний. Сапрыкин размеренно водил наждаком по лезвию, которое вспыхивало на солнце, и на кончике загоралась точка.

— А если Барыня догадается, что в нее ножом тыкать будете? — высказался Петька.

— Я колоть умею! — Сапрыкин попробовал острие пальцем и добавил: — Так что, молодец, твоя работа заканчивается!

«И правда!», — сообразил работник.

— Свежатины откушаем и-и-и... Без штанов будешь. Я хотел как лучше, да у кого губа толстая, у того кишка тонкая! Вообще я лично зла не держу. Смирись! — Хозяин многообещающе взглянул на Петьку, но тот хорошего не ждал.

— А как понять, «смирись»? — спросил он.

— Завтра скажу... Помочь тебе, конечно, надо. Нож готов, и Кузьма Мефодьевич позвал Марию Степановну. Вышла заплаканная, в фартуке, которым то и дело промокала лицо.

— Чего тебе?

— Будто не знает! — пожаловался Сапрыкин. — Двадцать первую Барыню колем, а она все душой прикидывается! За свиней слезы льет, а чтобы мужа пожалеть — ее нету. Неси! — закричал он, и Мария Степановна, надув губы, развернулась и ушла, вскоре вышла с эмалированным тазом.

— Смотреть, хоть убей, не буду! — подавая таз, сказала она.

Сапрыкин стал отдавать команды.

— Бери! — указал он Петьке ножом на таз.

— А для чего? — поинтересовался тот.

— Меня слушай и будешь молодец!

Таким деловитым хозяин был впервые. Стоял, сверкая ножом, давал последние наставления.

— Ты, Петька, поддержишь за ногу, за которую скажу, а потом подставишь таз.

— А мыть что ли сегодня не будем? — робко спросил он.

— Еще один нашелся тут! — совсем разозлился Сапрыкин. — Сказал же, слушай меня!

Они, согнувшись, зашли к Барыне. Та, выставив рыло, добродушно хрюкая, обнюхивала их, явно принимая на постой, а Сапрыкин чесал ей за ухом. Когда плюхнулась на бок, коленом прижал ей ногу к полу, а другую, приготовив за спиной нож, велел Петьке приподнять и крепко держать.

— Подождите, я тазом ей закрою глаза! — предложил Петька.

На этот раз Кузьму Мефодьевича передернуло и, сверкнув ножом, зло закричал:

— Держи!

На помощь ворвался Тарзан. Барыня со страху вывернулась из-под хозяина и вскочила. Пес метался и рычал, а глазки у свиньи наливались кровью, изо рта закапала пена, она стояла между Петькой и Сапрыкиным, решая: кого первого расплющить о стену. Страшно, а что делать — неизвестно. Кузьма Мефодьевич, совсем согнувшись, было дернулся к дверце, но свинья опередила, спиной проехавшись по его лицу, с визгом выскочила и ринулась к воротам. Тарзан, гремя цепью, — следом, Петька — за ними. Пес вцепился Барыне в хвостик — оторвал, остервенело хватал за зад и ноги, но та разогналась, и ничто уже не могло остановить ее. У ворот развернулась и сама схватила собаку за морду так, что захрустели кости. На столбе спохватилась ворона. «Кар-ра-ул, кар-ра-ул», — завопила она.

— Кышь ты... Орешь! Без тебя вижу — убивают! — не зная, что предпринять, закричал на птицу Петька.

А Барыня мотала пса по гальке, пока не затих. Наконец бросила лежать на животе. Он жалобно повизгивал, пытаясь лапами убрать с морды окровавленные клочки. Сапрыкин матерился у клетки, размахивая ножом, а Мария Степановна (ни жива ни мертва) стояла на крыльце. Барыня ринулась обратно, торпедой проскочила мимо хозяина, пробила не очень

прочный забор в узком проходе между баней и сараем, застряла в нем. Сапрыкин воткнул в рот папиросу и, не прикурив, потрусил в огород. Пес скулил, из свернутого набок носа кровь растекалась по земле. Петька погладил Тарзана, тот встал и, качаясь, поплелся в конуру. А хозяин уже истошно кричал.

— Петька! Та-а-аз! Т-а-аз!

Рванул в огород. Барыня с окровавленным рылом и ободренным туловищем торчала в заборе и жалобно хрюкала. Ее за ноги развернули на бок, и хозяин всадил нож в сердце, повернул несколько раз, вытащил и подставил под рану таз. Кровь порциями, как вода из насоса, била из нее, стекая на дно черной густой жидкостью. Петьку затошнило, а Барыня визжала непрерывно и бесконечно долго, но звук становился тоньше и тише и наконец растаял в воздухе. Сапрыкин приказал отнести кровь Тарзану и бегом обратно — тащить тушу в ограду. Петька сообщил, что Тарзан теперь — без носа.

— Делай, что говорю! — заорал тот. — Сдурели! Одна, видите ли, жалеет, ничего делать не хочет, у другого не все дома, третий без носа! Делов мне тут понаделали...

Он топором расширил дыру в заборе и они, пыхтя, кое-как заволокли тушу в ограду. Паяльная лампа добела разогрела лопату, и от ручки шел дым. Кузьма Мефодьевич снова выругался, убрал лопату и велел сходить в дом за керосином. Мария Степановна сидела на кухне, лицо уже было сухим, но строгим и бледным.

— Как там, Петя? — спросила она.

— О-о-о, злой, хуже собаки...

— Всегда такой, когда колет... Загодя злиться начинает... А нынче совсем... Свирепый! — она нашла керосин и, подавая, спросила: — Бабушка-то как?

— Получше... Бог даст — поправится.

Сапрыкин заправил паяльную лампу и принялся палить тушу. Поплыл противный запах горелой щетины. И Петька полюбопытствовал: мол, не такой ли чад снился ему?

— А ведь и правда, такой! — ответил он.

Когда туша почернела, Петька поливал ее кипятком, Сапрыкин тем же ножом скоблил до белызни, а пес все не подавал признаков жизни.

— Не сдохнет! — сказал хозяин. — А вообще... Мне такие не нужны! Это ж надо, свинья загрызла! А если б на меня набросилась?!

Когда мясо опустили в погреб со льдом, а сало засолили, Сапрыкин неожиданно предложил Петьке сесть с ним за стол. Петька отказался. Есть не хотелось.

— Не заболел ли? — удивился Сапрыкин.

— Нет.

— Тогда до завтра.

Петька плелся домой опустошенный — не стало Рыжего, Барыни, Тарзана, считай, тоже. Оборвались невидимые кровеносные сосудики, и оказалось, теперь уже вчерашние заботы были нужными и приятными. «Сапрыкину что-то от меня надо! Теперь ему тоже совсем скучно. Ни за ухом почесать, ни меня подкусить», — подумал Петька.

Дома лег, закинул руки за голову и стал думать: почему кругом все не по-божески?! Надо врать, притворяться... Мария Степановна терпит, ждет, когда все кончится, и не знает, что надо жить с Богом. Плачет... А Сапрыкину доброго слова жалко, хоть и жена. Сам не любит, а хочет, чтоб она его любила. И я — уважал, а как, если он злой безбожник?! Тут Петькушибанула мысль: Сапрыкин и есть один из бесов во плоти, про которых много рассказывала бабушка. Бесы любят, когда отказываются от Бога и отдают им душу! Он, глядя в темное без единой звездочки окошко со светлым крестом рамы, подумал о бабушкиной душе, которая болит за него. Болит, а лечить-то не надо. «И у меня болит за нее. Разве плохо?! Вот у Марии Степановны болит по-другому. Плохо болит! У Кузьмы Мефодьевича, видеть, вообще ничего не болит. Бес! Болеть нечему. Без души-то нельзя, только узнать, есть она или нет, — трудно. И какая она? Тоже ведь не потрогаешь!» Петька решил, что душа — что-то маленькое, как звездочка на небе, которая хоть и светит, но никто ее вблизи не видел. Он прикрыл веки и услышал свою душу. Она говорила без слов, все и сразу, одним красивым звучанием. И он, засыпая, подумал, что бабушка правильно учит, душу шибко надо беречь.

Осень гасила буйство летних красок, дни, казалось, не успев наступить, заканчивались, и жизнь кругом пряталась и затихала до утра. Солнце только рассыпало окрест свое золото, заявляя: свет в этом мире будет всегда, надо помнить об этом и ждать тепла. Заморозки кое-где побили траву до черноты, и лишь забор соседей все так же зеленел краской. У Таниного

дома ранетки и черемуха в зайчиках желтых листьев, играя, соревновались с голубыми осколками неба, веселили Петькин глаз. Он вдыхал прохладный воздух и смотрел на ее дом, такой близкий и такой недоступный. Чего ждать, на что надеяться, когда все идет так, что не догадаешься?

У Сапрыкиных кладбищенская тишина. Делать сегодня совсем нечего. За лето Петька окреп, подрос, привыкшие к работе мышцы просили дела: «Хоть бы воды накачать, что ли!». На улицу вышла Таня, сегодня на ней было новенькое осеннее пальто, опять пошла в магазин, счастливая. И Петька в который уже раз вздохнул: мол, где нам до таких девчонок! Он направился к Сапрыкиным. Мария Степановна в фуфайке сидела на скамейке, обрадовалась, увидев соседа, мол: Тарзан сдох, надо закопать. Петька взял лопату-штыковку с обгоревшим вчера черенком, выкопал в палисаднике яму, выволок собаку из будки и зарыл. Вытер пот со лба: эх, жизнь, жизнь!

Мария Степановна пригласила в дом – обедать.

– А Кузьма Мефодьевич увидит? Попадет!

– Да ну его! Он человек, а мы – не люди? – отмахнулась она.

От запаха свежего борща Петьку подташнивало, сегодня уже от голода, со вчерашнего дня во рту – ни росинки. Он ел, а она ласково смотрела и приговаривала: «Кушай, Петя, кушай. Еще налью». И Петька ел бы и ел, да живот надулся, хоть дробь отбивай. Печка дышала жаром – тепло, уютно. «Сейчас бы еще телевизор посмотреть», – подумал он, а Мария Степановна предложила.

– Телевизор-то включим?

– Ага.

В телевизоре опять рассказывали о трудовых победах, звучала бравурная музыка, и примерно через час слушать надоело – говорят про разное, но одними и теми же словами. А смотреть – интересно. Что в своем рабочем поселке видел? – ни заводов, ни высотных домов, ни дворцов культуры, ни спортзалов. Зато в телевизоре было все. Там работали, пели, плясали на сцене, а когда показывали Москву, Петька увидел храм. Бабушка однажды возила его в церковь, в город, километрах в тридцати от поселка. И хотя она была маленькая, деревянная,

бедная, он, не замечая времени, слушал пение и любовался образами. Что-то могучее и прекрасное обитало в ее стенах. А у них церковь, хоть и каменная, стоит с пустыми глазницами, купол – без креста, разруха и грязь. Но она все равно была точно живая. Воображение само дорисовывало золотой купол под крестом, белое здание под ним, и много людей с ясными, добрыми лицами. Побывать в церкви было для Петьки сокровенной мечтой, о которой не знала даже бабушка. Зачем? – если и без тревожащих ее напоминаний не может забыть нехристей, разрушивших храм в их поселке.

На экране шла сдача в эксплуатацию жилого дома, когда пришел Кузьма Мефодьевич.

– Сиди! – сказала Мария Степановна.

– Вы думаете, я не знаю, что тут хозяйничаете без меня, – неожиданно миролюбиво проворчал он. – Вам бы только лампы жечь...

Мария Степановна кормила мужа, а Петька смотрел программу и ждал разговора. Сапрыкин вошел в комнату, выключил «Рекорд» и, усаживаясь за стол напротив гостя, спросил:

– Ну, и чего высмотрели там? Все ведь враньё... для дураков! Ну да, так-то интересно. Бегают людишки взад-вперед... Так ведь я говорю – коммунизму не будет!

– Почему это? Когда все хотят, чтобы был, – робко возразил Петька.

– Мы же беседовали с тобой... Потому что каждый под себя гребёт. А показывают, чтобы поменьше гребли. Понял?

– А в Москве церковь есть! Показывали...

Мария Степановна в полутьме тихо стояла в углу, скрестив на груди руки, слушала. Петька все ждал, что же придумал Сапрыкин такого, отчего ему, Петьке, будет хуже вчерашнего: и так отказался купить брюки.

– Так и что, церковь? Вот Бога бы твоего показали, тогда да. Вот ты – верующий, а нищий, я не верю, а все имею! Как так? – Сапрыкин замолчал, довольный своим вопросом и, видя, что загнал Петьку в тупик, продолжал: – Вот вы с Мареей во что попало и кому попало верите, а тот, кто вас содержит, тому все поперёк... Ась?! – он повернулся к жене. – А я разве плохой мужик?

Разговор намечался по душам, Сапрыкин вроде хотел наладить жизнь, и она тоже желала этого, ждала, когда же наконец заговорит о том, что ее мучило и волновало.

— Знаешь, Кузьма, ты не Господь, чтобы на тебя молиться. И не коммунист, чтобы заставлять в себя верить. Жить надо человеком, а я кроме «дуры» ничего от тебя не слышала. А мы — чужие! — она заплакала и ушла в другую комнату, высказала самое главное, наболевшее, и добавить нечего.

— Ну вот, а ещё за умную себя держит, — обиделся Сапрыкин. — Я про Фому, она про Ерёму! — он повысил голос, поднял руку и сказал: — Ни Бога, ни коммунизма нет! Никогда не было и не будет! Ну нет их и все тут. Эвон, на фронте сколько верующих полегло... И партийные с иконками были... Все на тот свет ушли. А я, безбожник, сам по себе — живой! Ну почему так, скажи-ка, Петя?

Петька молчал.

— Я лично тебя жалею, хочу к школе снарядить. Хоть завтра в магазин. Ты, поди, уж на девок смотришь, а задница голая. Заработал ты, считаю, сверх договора... Всё, Петя, тебе прощаю, только одно надо. Чтоб и меня за человека посчитали. Скажи: верю Вам, Кузьма Мефодьевич, а Бога, скажи, — нет! Пусть Марья поймёт наконец-то!

«Вот он настоящий бес!» — вспоминая бабушку, подумал Петька, а Сапрыкин сидел с заискивающими глазами, и работнику вдруг захотелось погладить его, как Тарзана: «Интересно, что было бы? Кузьма, Кузьма... Хороший, хороший... Умный...»

Петькино упорство только раздражало и раздражало хозяина, как это так: он, мужик, не может заставить сказать каких-то два коротеньких слова. Сидит, упёрся, не свернёшь, хуже валуна в огороде — не должно, не может такого быть!

— Тяжело тебе в жизни придётся, Петя, с таким характером. Ох как тяжело. По жизни смиренным надо быть, а не поперечным.

— А что я? Я ничо... Где что не сделал? — примирительно произнес Петька.

— Ххэ, вот и соглашайся. Снаряжу, как на праздник в школу пойдёшь, и девки все твои будут. Ну, ладно, коли так, ты просто губами шевельни, шепни на ухо: «Бога — нет!»

Петька молчал.

— Ну, будь умнее! Верь, если шибко надо, только скажи, что прошу — и всё! Ну хотя бы просто согласись. Давай, Петя!

— Да крещёный я! Лучше вы скажите, что Бог есть. Или кивните: да, Он есть.

— Увё-о-ортливый! — похвалил Сапрыкин. — Мне-то что? Скажу хоть что. И про Бога и про черта. Язык без костей. Да ты на принцип пошел, будто бы штаны не тебе надо.

Петька представил себя одетым с иголки: шагает в школе по коридору, все девчонки, и даже отличницы, провожают его взглядами, а он идёт к Тане — пригласить в кино. «У Сапрыкина за эти два слова сейчас даже телевизор можно выпросить! — назойливой мухой завертелось в голове, но он тут же отогнал эту мысль. — Господи! Прости и помилуй!»

— Ну, что желаешь, Петя? — давил хозяин.

Стало темно, лицо Сапрыкина смотрелось серым пятном, а голос казался Петьке из тьмы, которая недавно привиделась. Он потянулся, зевнул, давая понять: этот разговор окончен и спросил:

— Вы хоть знаете, что я Тарзана закопал? Кота нет, собаки нет, Барыни нет, теперь тихо будет у вас, как в гробу!

— У нас вся жизнь в гробу! Только с виду — живые! — показавшись в дверном проеме и всхлипывая, сказала Мария Степановна и снова исчезла.

Серое пятно перед Петькой поплавало туда-сюда, качнулось вверх-вниз и спросило сквозь зубы:

— Значит, по-вашему, Бог есть?!

— Есть, — ответил Петька.

Сапрыкин засопел.

— А что злиться-то, Кузьма Мефодьевич? Живите себе безбожником, если хотите, только меня не трогайте! — и хотя Петька не испытывал чувств к Сапрыкину, решил добавить слышанное от бабушки: — Мне вас, например, очень даже жалко, — встал и пошёл домой, ухватив краем уха, как хозяин растянул: «А-а-э-э», а Мария Степановна прервала и начала ругать его. Мол, дожились, что люди жалеют — как им в глаза смотреть...

В первый раз за лето Петька возвращался с такой лёгкой душой. Вспомнил о планах, завтра надо сбежать заказать уголь, потом как можно больше успеть убраться в огороде и, конечно, не забыть о тетрадях и учебниках. Самое сложное — привести в порядок брюки: постирать, погладить,

заштопать. Шагая к своей калитке, оглянулся — у соседей так и не зажгли свет. А окна Таниного дома осенью светились ярче, казались ближе, приветливее. Ах, если бы хоть чуть-чуть обратила на него внимание. Представил, как Таня встречается у порога, усаживает за стол, пьют чай, шутят, глядя друг на друга. «Может, когда-нибудь и пригласит, — подумал Петька. — Только вот когда?»

Дома — тишина. Прислушался. Дыхание бабушки едва улавливалось. Петьке казалось, что слышит её в воображении, наподобие того, когда глаза видят вдали близкого человека, а голос — рядом. Наутро, когда носил с огорода лук и плел из него косу, чтобы потом подвесить к потолку, — почувствовал: бабушки нет. Она лежала, мирно сложив на груди руки с медной иконкой в пальцах, прибранная, в новом сарафане, — как смогла переодеться? — рядом на табуретке деньги на похороны и книга — Библия. Присел рядом и долго плакал, вспоминая её последние слова: «Прости меня, внучек!» Помолился за упокой её души и пошел заказывать гроб. Привезли часа через три. Здоровый мужик в одной руке держал гроб, в другой — крышку, поставил его на крыльцо и спросил:

— Ребенка что ли хороните?

— Бабушку.

Мария Степановна принесла всё нужное для похорон, и к дому потянулись старушки, такие же древние, как бабушка. Они положили покойницу в гроб, зажгли свечку и долго молились, молился с ними и Петька. Днём раздавал ребятишкам конфеты и пряники, чтобы помянули и не забывали бабушку, а по ночам по очереди приходили старушки, ставили свечку и тихо пели псалмы. Петька сидел у гроба и чувствовал себя наедине с бабушкой. Шёл последний разговор, непередаваемый словами, но нужный его сердцу. На третий день пришла машина, и Петька отвёз покойницу на кладбище.

Вернувшись, окончательно понял — остался один, и никого, кроме Бога, у него нет на всём белом свете. Долго сидел, глядя то на её кровать, то на икону, то в оконце на улицу, и в Петьке что-то жило и соединялось, заполняя светом памяти образ бабушки.

Пересчитал деньги, приплюсовал причитающуюся за двадцать восемь дней пенсию, вышло: два месяца можно протянуть. Послезавтра

в школу, а Петькины планы текли уже по другому руслу: придётся идти в школу рабочей молодежи и куда-то устраиваться работать. Говорят, с разрешения райисполкома можно на неполный рабочий день, как малолетке. «Ну и ладно, — сказал он себе. — Раз так, значит, так».

В окно постучали — Мария Степановна. Вошла, поздоровалась, подала два свертка, присела и сказала:

— Тут брюки, а это сало... С картошкой кушать. А вообще приходи, Петя, обедать, когда он на работе... Я шибко рада буду! Ты, Петя, бери... От души это, не думай. Шью сажу, а самой так хорошо. Никогда так не было, как своего в школу собираю! Бери, бери!.. Вырастешь — отдашь, если неловко...

— Спасибо, Мария Степановна, за подарок. А вот есть приходиться не буду. Я работать пойду!

— А ты приходи все-таки, Петя, — она попрощалась и ушла.

Он развернул брюки, а там была и белая рубашка. Брюки новенькие, темно-синие, как раз на него. Надел и почувствовал себя парнем. Для солидности выпятил грудь, потренировался говорить басом, а когда начал отрабатывать походку и сунул руку в карман, обнаружил целое состояние — сто рублей. Подарок! Можно начинать самостоятельную жизнь. «Как бы сейчас бабушка обрадовалась, — подумал он. — Оденусь в новое, схожу на могилку, посоветуюсь, как жить».

Выдался тихий августовский день. Вот и могила с белым деревянным крестом. Бабушка! Все усыпано золотистыми листьями, солнце хоть не греет, но светит нежно, мягко, тоже прощается в преддверии зимы. Петька положил у креста букетик, перекрестился и сказал: «Вот на работу пойду, в вечернюю школу запишусь, а потом видно будет». Она явилась из-за креста: «Господь тебе судья, внучек! Я все про тебя знаю. Живи, молись, радуйся свету белому! А самое главное — не забывай Бога! Ни в радости, ни в горе». «Ладно, — сказал Петька. — Схожу вот в школу, попрощаюсь со всеми... и буду дальше жить». «С Богом, внучек!»

В этом году он пришел в школу с букетом, а девчонки и правда смотрели на него, мол, как это раньше не замечали, что Петька такой красивый. И Галина Ивановна отдельно поздоровалась с ним, поинтересовалась, как да что. Когда

узнала, что бабушка померла и он собирается работать, помрачнела и ушла. А Таня, как обычно, равнодушно прошла мимо.

Через неделю Петьку отправили в город, в детский дом, навсегда.

V

Тёмно-фиолетовый джип, вспыхивая бликами, мчался по автострате, нырял в овраги, легко брал подъёмы и снова исчезал в низинах. Водитель, шустрый паренек, уверенно держал руль, иногда постреливая взглядом на сидевшего рядом элегантного мужчину. Тот, седой как лунь, в светло-голубом костюме, белой рубашке, о чём-то задумался, серые с прожилками, как у крыжовника, глаза под чёрными бровями рассеянно скользили по набегающему асфальту. Низкое солнце малиновым шаром катилось следом, насквозь просвечивая кабину, отчего казалось — машина скользит по лучу. На лице мужчины, с уже заметной вилкой морщин у рта и по-женски нежными губами, созрело решение, и он, взметнув бровь, сказал водителю:

— Тут, Витя, километра через три будет свёрток направо. Заскочим в одно место.

Водитель скосил удивлённый взгляд, и мужчина добавил:

— Надо!

— Как скажете, Петр Иванович!

Сафрончук был в соседнем городе на обследовании. Подтвердилось худшее. Красивая женщина-врач в белоснежном халате, покачала головой: жить недолго. «Надо сворачивать дела! Кому сдавать?.. — мелькнула мысль, но тут же его бросило в озноб. — Господи, какие дела?!» Новость проседала в сознание, охватывая все закоулки, и в машине неудержимо потянуло в дом, в котором когда-то жил с бабушкой, в поселок, где была первая любовь.

В лобовое стекло перед Петром Ивановичем врезался жук, расплылся зеленовато-жёлтой кляксой. Он инстинктивно откинул голову, водитель включил дворники, ударили струйки, пошелестела щётка — и впереди снова бесконечная гладь асфальта. Она так надоела Петру Ивановичу за годы разъездов, что серое полотно бежало перед глазами и в кабинете, и дома, по нему въезжал в свои беспокойные сны. «И я — как жук.

Разбился, а обо что, и не заметил. Добра всякого нажил, а жизнь где? Радости-то не было! Дом — хоромы, Сапрыкину и не снился такой, но у него хоть какая-то, да семья, у меня — командировки да совещания... Деньги, деньги...»

Оживало детство, ярко, будто было вчера. Бабушка поправляет неумелую руку, учит креститься, гладит по голове, мокрый котёнок, которого, не задумываясь, сунул за пазуху, гордая Таня, учительница Галина Ивановна, Кузьма Мефодьевич в паре с Марией Степановной, Барыня и Тарзан. «Вещь» Сапрыкина с воробьями на заборе — и те, оказывается, в памяти. Она вспыхнула, разом захватила и перенесла Петра Ивановича в их хибару, в дом за забором. «Ёлки зелёные, да что это я?! Сколько лет прошло, а ворошу... Зачем?! Сапрыкин, будь он неладен, прямо живой, улыбается. Не улыбался же! И чего дался-то мне, Господи?! Пустоцвет! А я — не пустоцвет?! Мне-то помогли когда-то... Даже на могилке у бабушки не соизволил побывать! Прости, родная!» — она явилась цветной тенью и сказала кротко: «Ты прости меня, внучек. Коротки крылышки были, не смогла обогреть!»

87

Пётр Иванович тяжело вздохнул, а на серой ленте всё бежали события далекого лета, когда совершил самое главное в жизни: не отказался от Того, в Кого свято верила бабушка. «А как звали женщин, которых любил до потери головы, не помню. Выходит, не любил! К Тане не прикоснулся, а ведь люблю до сих пор. Жил-то с Богом! А сейчас, как тот директор школы, помирать буду, о Нем вспомню?! Скоро уже!.. Но я же был счастливым. Господи! Прости раба твоего Петьку!»

Джип свернул на насыпную дорогу, занырял по колдобинам, а Сафрончук жадно впитывал знакомые пейзажи. Когда-то по этим местам уехал на стареньком газике в детдом с мечтами, ушедшими из-за смерти бабушки за горизонт. Пришли женщина и мужчина. В чём был, в том и увели, мол, будет санобработка — дадут новое, а икону забросили под кровать: не смей и думать о ней! Петькины мечты в детдоме уже не парили где-то в поднебесье. Соблюдал режим, читал учебники и узнал: настоящая история началась, оказывается, в 17-м году. А бабушки и Бога вроде и не должно было быть, но по ночам, уткнувшись в подушку, думал и о Боге, и о бабушке, вот только помолиться было негде...

Ах, как судьба благоволила – интересная работа, рестораны, женщины, известные люди... И вот, от цветущих лет – тлен. Что-то неясное мельтешит в памяти, будто Сафрончук годы беспробудно пьянствовал. «На какой развилке свернул не туда? Когда забыл о бабушке? Когда забыл вернуть долг Марии Степановне? Когда в детдомовской суете всё реже вспоминал о Боге? – спрашивал себя Сафрончук. – Даже улыбаться разучился! Бука, монумент ходячий, точно Сапрыкин! Господи! Прилип взглядом к деньге, а вокруг – мрак! Ни зимы, ни весны, ни лета... Мне – всегда температура комнатная, полное благополучие! Тут не до улыбок!» – Он поднял взгляд на зеркальце и попытался улыбнуться – не получилось.

Водитель опять стрельнул взглядом и спросил:

– Привиделось что, Пётр Иванович?

– Привиделось, Витя!

Вот и мост – с хвостиками дорог, омут, в котором ночью купалась девушка. Остановились, Сафрончук вышел из джипа и долго смотрел на речку, заросшие берега, блёстки на воде, и на лице обозначилась грустная улыбка. Тишина, какой давно не было для него, нарушалась лишь россыпью птичьих голосов. Вдруг взгляд остановился на искорке среди угнездившихся цыплятами в лукошке домов их посёлка. Над ней птицей перед полётом белел крестик. «Церковь!» И воспоминания о далёком, светлом снова захлестнули теплой волной.

Водитель включил скорость, а Пётр Иванович нащупал в кармане пачку купюр – это для Марии Степановны сюрприз. «Сто рублей – мой стартовый капитал!» – вспомнилось её доброе лицо, подарок – брюки и рубашка. Может, она еще помнит своего вечно голодного работника?

Замаячила железная крыша. Их халупы не видно, но она перед внутренним взором. Свернули на знакомую улицу, а вот и дом за забором. На месте их избы – развалины, печь с упавшей трубой, куча мусора, только штакетник ограды да калитка те же, едва держатся.

Пётр Иванович взялся за ручку открыть дверцу, но застыл, собираясь с мыслями. На доме бывших соседей краска давно облупилась и потускнела, крыша потемнела. «Собака» – теперь и не прочитаешь. Да и ворота как бы уменьши-

лись, стали не такими крепкими. Постарели и умерли многие тополя, но ему кажется: вот-вот загремит цепью Тарзан, из ворот высунется лопоухое рыло, и бабушка с Рыжим выйдут встречать. Но только всё та же ворона на покосившемся столбе постарела, пообтрепалась и смотрит теперь не во двор Сапрыкиных, а на джип: кто такой, чего надо?

Он собрался с духом и вошел. Всё там же зеленел оазис нетронутой травы, где любил лежать, раскинув крестом руки, мечтать и плыть в бесконечном пространстве. Пётр Иванович поднял глаза, – как давно не смотрел на небо, – там по-прежнему кружит коршун, и снова ощутил полёт на тверди странствующей в пространствах земли. Ах, как захотелось упасть в траву, раскинуть руки, чтобы все повторилось. «Совсем коротенькое слово «Бог!» – прошептал он. – А в нём – всё!» Подошел к воротам, постучал, ещё и ещё – тишина. Попробовал отворить дверь и тут заметил: прибита к створу гвоздями. Не живут! Вздохнул и пошёл к машине, оглянувшись ещё раз, долгим взглядом обвёл развалины своей хибары, забор, железную крышу и уже садился в машину, когда из Таниного дома вышла женщина.

– Здравствуйте, а их здесь давно нет.

Женщина в годах, но выглядела молодо, светлые волосы окаймляли её лицо, серые глаза влажно и напряжённо блестели, всматриваясь в приезжего.

– Давно нет! – эхом повторил Пётр Иванович.

– Целая история! Рядом мальчик жил. Лето работал у них, а потом что-то не ладило... А когда бабушка у него померла, в детдом отравили, вскорости их соседка Мария собрала вещи и ушла от Сапрыкина. Запил... Ни друзей, ни товарищей. Так и повесился по пьянке. А где она – и не знаю.

Она помолчала.

– А вы не тот ли Петя? Всё за мной хвостиком ходили!

– Тот самый. А вы Таня!

Всплеснула руками и вся засветилась в улыбке.

– В школу-то таким красавчиком пришёл. Как на картинке. Что же мы тут-то? Пойдёмте чай пить. И шофёра зовите...

– Я здесь посижу, – отказался водитель.

— А я с радостью, — Сафрончук взял припасы и вошел в дом детской мечты. — Мира и добра вашему дому, Таня! — увидев икону и крестясь, сказал он.

Татьяна тоже жила одна. С мужем давно расстались. Сын вырос, окончил институт и где-то в Москве. Регулярно шлёт переводы и открытки к праздникам, и всё.

Она накрывала на стол и говорила:

— Я часто вспоминаю те денёчки. Глупая, гордая была... Так хотела с тобой в кино сходить, а как увижу — нос кверху, — а улыбка всё не сходила с её губ. — Родители-то у меня давно померли, сама на станции всю жизнь. После техникума. Часто вас с бабушкой Нюрой вспоминаю. Ты-то не знаешь, бабушка до войны ведь мою маму нянчила! Можно сказать, вырастила, выкормила...

— И правда, не знаю! — воскликнул он.

— Тут, Петя, тоже история! Икона-то, видишь, ещё бабушка Нюра маме подарила. Берегу!

Он встал, подошёл к божнице — Богоматерь. Такая же была и у них с бабушкой, только чернее доска, но Лик из-за этого казался светлее и ласковее.

— А у меня от бабушки на память ничего не осталось, — снова садясь за стол, вздохнул он.

Она тоже вздохнула.

— Сам-то крещёный, видать.

— Крещёный... А что за история-то? Не припомню, чтоб твоя мама хоть раз заглянула к нам.

— Так вот... — развела руками Татьяна. — Мама-то партийной стала, а бабушка верующая... Ну мама и хотела, чтобы она отказалась от Бога. Вроде тогда будут родниться, помогать... А я что, нашла икону в кладовке — берегу! Меня-то ещё не было.

— Понятно, — не желая мутью безвременья портить их душевный разговор, остановил Сафрончук. — А нынче церковь возвели. Далеко сверкает!

— Наша радость! Миром восстановили.

Пили чай, и в окно светило большое вечернее солнце. Петра Ивановича не покидало ощущение, что Татьяна понимает его без слов, а она, пододвигая варенье, словно подтвердила это.

— Нет, Петя, иконку не отдам. Пей вот чай, кушай. За могилкой бабушки Нюры смотрю. Не переживай.

Он покраснел, и оттого, что хотел взять икону как память о бабушке, и оттого, что стыд и сожаление за беспамятство прошедших лет жгли и мучили.

— Выходит, одна память на двоих?!

— Выходит.

— У меня, Таня, долг многолетний... — он хотел сказать о бабушке, о том, что ни разу не был у неё, но постеснялся и, вспомнив о деньгах, продолжал: — Марии Степановне должен, а её нет. Деньги-то не мои, — достал из кармана пиджака тугую пачку и выложил на стол. — Возьми, пожалуйста! Не вернётся — твои.

Она спрятала деньги за икону.

— Понадобятся, сам возьмешь.

Час пролетел как минута. За окном нетерпеливо вертелся водитель, то и дело хлопал дверцами, открывал капот. Пора прощаться. Татьяна проводила до калитки.

— Очень вкусное варенье, — сказал он.

— Приезжайте, буду рада.

«Я к бабушке скоро навсегда перееду! — подумал Сафрончук. — Вот и будем рядышком».

Джип рванул из-под себя землю, а Пётр Иванович смотрел, как таяла вдали фигурка Тани. Она махала рукой, и он знал — улыбается.

«Поздно!» — и он заплакал без слез.

Пётр Иванович оторвал взгляд от трассы, глянул на повеселевшего водителя, на его коленях сквозь брюки, как через сито, светилась кожа.

— Директора возишь, а — махорник!

Водитель покраснел и, смущаясь, сказал:

— Так вот... Извините, Пётр Иванович!

— Лень в магазин сбегать? А, Виктор?

— Да не-е-т...

— А что тогда?

— Да мы второго родили. Мальчика. Ну и... вот.

— Так что делать-то теперь, скажи!

— Не знаю, куплю. Куда денусь?

— Из тебя, вижу, правду и клещами не вытянешь. Зарплату надо добавлять?

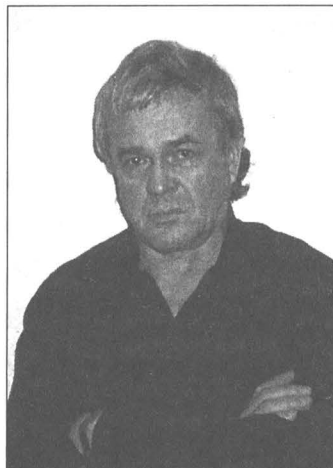
— Надо, Пётр Иванович!

— Вот. Раз «надо» — значит решено. Мы же не безбожники какие... Правда?

— Правда, Пётр Иванович!

**Николай
БАЦЕВИЧ**

ГДЕ ГРУДЬ ЗАБОЯ СКОРБНО МИРОТОЧИТ...



*Труд шахтёра – это ураган,
Труд шахтёра – это очень трудно...*

Н. Анциферов

I

Месяц спрятался за копёр,
Да показывает рога,
Вот выходит из шахты шахтёр,
Зубы – чистые жемчуга,
Из-под каски блестят глаза,
Лоб покрыли брильянты пота,
Ты согласишься тому, кто сказал,
Что трудна под землёй работа?!

II

По бремсбергу из глубины выходят люди,
Уставшие, вдыхают воздух полной грудью
Хозяева подземных кладовых.
О, как мне нравится тогда смотреть на них!
Какая сила тянет к ним меня,
Всё каждый раз по-новому маня?
Есть мужество особенного свойства
Не чувствовать особого героизма,
Где нету дня, где чёрен бархат ночи,
Где грудь забоя скорбно мироточит...

Не одну я рубаху выжал,
Что промокла на мне от пота,
Может быть, оттого и выжил,
Что с прохладцею не работал!

Уподобившийся агрессору,
Я с отбойным своим молотком,
Навалясь на него животом,
Зарубался, дрожа, в такт компрессору!

Ставил стойки в органный ряд,
Тьму раскраивал ярким светом,
Уставал, но всегда наряд
Успевал выполнять при этом.

И лучились карим огнём
На лице моём очи чалдоньи,
Полированные углём,
Отражали солнце ладони!

Смонтирована нами в шахте лава,
Есть для рекордов угольных замес.
Кому-то лава – и почет, и слава,
Ну а кому-то – на погосте крест.

Бацевич Николай Павлович родился в 1946 г. в городе Черемхово Иркутской области. Воспитывался в школе-интернате № 1. Участник литстудии «Притомье», публиковался в газетах и журнале «Огни Кузбасса». В 18 лет спустился в угольную шахту, подземный стаж 30 лет, из них 20 лет забойного. Сейчас работает в КОО «Ортон» в охране, помощником начальника караула. Живёт в городе Кемерово.

Где прошла моя юность? На Бутовке.
Ностальгия моя и беда,
Пролегли там бараки, как пуговки,
Ровной строчкою в два ряда.
Не снесите вы их, нет им равных,
Говорю вам не из эгоизма,
Пусть увидят мой внук и мой правнук
Этот памятник СОЦИАЛИЗМА.
Мы работали на государство,
Патриотом из нас был любой,
Я пошёл из барачного царства
Добровольцем на шахту, в забой.
...На копёр опускается вечер,
Я в ночную иду, как всегда,
Мне похвастаться в общем-то нечем,
Под землёй я работал тогда.
Дым из труб поднимается свечкой,
Значит, вдарит мороз – не беда,
Шахта, эта такое местечко,
Плюс по Цельсию в шахте всегда.

Мы угасаем, словно свечи.
Так краток нашей жизни миг,
Сияло солнце – смотришь, вечер.
И ты уже седой старик.

Не возвратит назад года,
Надрывно плачущая скрипка,
Одна ошибка – не беда,
Беда, когда вся жизнь – ошибка.

Не нравятся мне белы облака,
Они на землю смотрят свысока,
Как будто бы с трибуны на параде
Знакомые упитанные дяди.
Приемлю сердцем туч свинцовых семью,
Когда гроза расколлет небосвод,
Всю душу тучи выплеснут на землю,
И грудь моя по-новому вздохнёт!

Лунный свет совсем потух,
Стало жутко тихо,
Сиплым голосом петух,
Кукарекнул лихо,
Рябь по речке пронеслась,
Косяком, как веером,
Первый лист упал кружась –
Осенью повеяло.

И солнце всё то же,
И звёзды всё те же,
Журчит говорливо ручей под горою,
А встречи со счастьем становятся реже,
Всё чаще грустится вечерней порою.

А может, то старость, а может, усталость,
Да нет же – костёр мой ещё не затушен,
В нём жар так и пышет, хоть пламя
не дышит,
Теплом согревая мне сердце и душу!

85 Мне в юности давней вот так же грустилось,
Но грусть та была не сродни этой грусти,
Мне грезилось нечто, мне часто любилось,
Всё в розовом свете мечталось и снилось.

Вот и снова дома я,
Здравствуй, отчий дом!
Обмелела Томь моя,
Островки кругом,
Прямо у обочины,
На закате дня,
Встретил заколоченный
Отчий дом меня.
На ветру колышется,
Высохший ранет,
Что-то тяжко дышится
Под ранетом мне...
Память хлётко веткою
Обожгла лицо:
Я бегу с ранеткою
К маме на крыльцо.

**Михаил
КРИВОШЕИН
ИВАНОВ САД**

Рассказ



У Ивана был слабый характер. Так как отец погиб на фронте, мать воспитывала его одна. Сгребутся, бывало, ребятня во дворе что-нибудь делить – и до драки. А мать Ваньке:

– Отступись, отдай, не дерись.

Вот он и привык уступать, да так и вырос. Женился Иван на корявой Фене. Была она лицом корява, но душой чиста, и жили они в мире да согласии. Как-то так незаметно появились у них два парнишки, которые росли-тянулись к солнышку.

Работали Иван с женой на пекарне. Феня была знатная стряпуха, а Иван кочегарил. Так что хлебушек в их доме был всегда, не голодали. Зарплата, правда, низкая, и материальный прогресс отставал от соседских. По улице уже тут и там закачались, высясь, телевизионные антенны, затрещали «ижаки», а Иван кое-как велосипед себе справил. Люди начали приобретать стиральные машины, холодильники, а Феня всё вручную стирала. И, видимо, Бог их наконец-то заметил.

А началось это с того, что Иван по весне пошел на озеро порыбачить и натакался на выводок утят. Весна стояла холодная, и утка выщипала из себя все перья, утепляя гнездо. Иван изловчился и поймал её, потому как летать без перьев она уже не могла. А затем и утят всех переловил. Сложил утят в садок, который брал под рыбу, утку за пазуху, и – домой. Дома запу-

стил утку с утятами в сарай, отдельно от кур, и стал их терпеливо растить.

Сначала утка сильно дичилась – забьётся в угол и утят всех под крылья упрячет, но голод не тётка, своё возьмёт. Стала она выходить кормиться и выводить утят, когда на дворе никого не было, а потом пообвыклась. Иван, бывало, сыпанёт дроблёнки в корытце, в старую кастрюлю нальёт воды, к ней кирпичи ступеньками положит, выйдет из денника, усядется на чурку посреди ограды и поглядывает на уток.

Высунется утка раз, другой, потом заковыляется к кормушке, поклюёт-поклюёт сама да и даст сигнал своим утятам. Тогда уже и утята один за другим выбираться из укрытия начинают да поклевывают зёрнышки, что помельче. Затем по кирпичикам и – в кастрюлю, прыгают, как десантники. И шустрые, словно стригунки.

Иван сидит на чурке, не шелохнётся, наблюдает за утиной семьёй, и на душе у него восторг. С одной стороны вроде забава, а с другой – десяток кряковых зимой к столу – привар немалый.

Шло время, утята подрастали. Стали оперяться. Самочки в серенькое с блеском оделись, носики, будто пластмассовые, а селезни украсились цветным оперением – глаз не оторвать. И мама-утка тоже облагородилась новыми перьями, но оставалась всё такой же строгой и осторожной. По утрам, да и среди дня, они разминали свои

Кривошеин Михаил Александрович родился 12 ноября 1951 года в селе Кривошеино Томской области. Окончил Барнаульский индустриально-педагогический техникум. Отработал на стройках Кемеровской области 23 года.

Публиковался в журнале «Огни Кузбасса». Автор двух книг: «Стихи, рассказы», «Не топчите цветы ногами» (проза). Живёт в Мысках.

крылья. Утка крикнет, и давай все остальные, встав на лапках, крыльями махать, мышцы накачивать.

Наблюдал Иван за этими упражнениями и думал: «Надо бы сетку над денничком натянуть», а руки всё не доходили до этого. Однажды Иван ушёл на работу. Птицу выпускали ребяташки. Как всегда, утка-мама крикнула, чтобы молодняк приступил к зарядке, а сама принялась делать сильные взмахи. Затем крикнула дважды, и все утки поднялись в воздух, дали круг над домом, который приютил их, и улетели на озеро. Вернулся Иван с работы, а сыновья наперебой принялись рассказывать отцу, как утки совершили бегство. Иван молча уселся на чурку и долго-долго сидел, опустив плечи. И, наверное, в первый раз, как он принёс уток домой, посетило его чувство глубокого огорчения. Ему вспомнились слова матери: «Отступись, Ванька, махни на всё рукой».

Приблизилась зима. По селу разнёсся слух, что с фермы сбежало много свиней. Ну, сбежали — и сбежали, Ивану-то какое до них дело. Но вот как-то утром он вышел во двор, а у стенки сарая, удобно устроившись, лежит боров. Иван начал было его прогонять, но тот ловко прошмыгнул в сарай и там затих. Ивана аж пот прошиб. Он поозирался по сторонам: никого из соседей не заметил, закрыл сарай на засов и вошёл в избу — совет держать с женой. Думали-думали и порешили оставить его у себя: дескать, это им компенсация за улетевших уток вышла. Боров смирным оказался, и Иван перегнал его втихаря в тёплый хлев. Детям строго-настрого наказали: держать язык за зубами. А самих ещё несколько дней било, как в ознобе: в жизни ведь ничего чужого не брали, а тут чёрт, видать, попутал.

Колхозный бригадир Митяй-длинный ездил по улицам верхом на коне и всё выспрашивал:

— Можя к кому свинья забежала?

Но односельчане как в рот воды набрали. Не любили Митяя в колхозе, потому никто его и не пожалел. Недостача у него получилась более двадцати голов. Сняли его с бригадиров, перевели в скотники. Судить не стали, а за сбежавших свиней удерживали регулярно из зарплаты.

Так и дожил боров у Ивана в хлеву до морозов. А на ноябрьские праздники позвал Иван своего дружка Филиппа с мелкашкой, на том дело и было закончено. Зиму всю ели мясо свиное, хоть и с опаской, зато вволю. Иван к весне

раздался вширь — стал на мужика походить, а у Фени даже корявины на лице разгладились.

А Бог-то, если уж щедр, то на одном не останавливается.

Нежданно-негаданно из-за границы весть пришла: у Ивана Серых родственница за рубежом объявилась. И перед смертью своей оставила Ивану большое наследство.

Ванька от такой новости чумной ходил, будто ему притолока на башку упала. Люди у него что спросят, а он глазами вращает — ну никак ему вопрос в мозги не впитывается. Пошёл даже слушок, мол, Ванька-то — офонарел, вольтанул — от счастья.

А вскоре вызвали Ивана куда следует. Идёт он, трусится, что собачий хвост, боится: вдруг там вместо наследства у него про мясо съеденное выпытывать станут. Короче, идёт, не чуя под собою ног. Не знал он прежде, что у отца была какая-то тётка и что до революции ещё служила она домоуправительницей у купца Минусова в городе Томске. А когда Колчак отступал, тётка, прихватив драгоценности купца, сбежала с конюхом на паре породистых лошадей в Минусинск. А Минусинск-то и был будто бы назван в честь того купеческого рода. И стоял там приёмный пункт, где от старателей золото принимали. Тётушка ловкой и здесь оказалась: всех общёлкала. Поболее пуда золотишка в слитках да пуда четыре песком хапнула. Наняла проводников бывалых, и на конях да с ружьишками люди те их в Китай и переправили.

За годы скитаний подрастрясла она мощну, но не всю. Осела в Австрии, с немалым капиталом. Да с тем самым конюхом и прожила всю жизнь. Крепка тётка оказалась. Одно беда: детей своих у неё с тем конюхом не случилось. Стукнуло ей девяносто. Тут она и призадумалась: кому добро своё передать. И вспомнила, что ещё до революции приезжала к ней сноха в гости с племянником Павликом. Парнишка крепеньким рос. Полюбился ей племянник, своих-то детей Бог не дал. Когда гостей провожала, все глаза исплакала. После посылки слала, а вот встретиться так и не привелось. Отец Павлика рано умер, и мать в голодуху чахотку подхватила. Вместе с младшей дочерью Полинкой истаяли. Приютили Павлушку чужие люди. А когда парень возмужал — женился, и появился у него сынок — Ванька. Стало быть, наш герой Иван Павлович. Второй годок лишь пошел ему, когда Отечественная война началась. Пришел Павел

домой, показал жене повестку, поцеловал Ванятку в пупок, пощекотал жесткими усами и ушел с вещмешком на фронт. А к зиме уже и похоронку прислали.

Досталось матери Ивана в войну лиха. Работала она в ремесленном училище, там и угол с сыном снимала, там и столовались. Рос парнишка в этой вечной суете незаметным, тихим, слабохарактерным. После войны уже переселили их в барак. Как ни рос Иван, а вырос, сам женился да детей с Феней нарожали.

Сидит Иван в коридоре областного КГБ, трясётся, а сам думает: «Где же ему и какими деньгами наследство выдавать станут? А может, вынесут узел с бабкиными обносками – глядишь, что и жене подойдёт ещё». Пригласили в кабинет. За большим столом сидит человек в гражданском – виски седые, глаза умные. На столе перед ним какие-то бумаги, поверх них – очки. Сбоку, за приставным столом ещё один, помоложе, в форме майора, лицо злое, угрюмое. Разговор начал старший:

– Ну, что, Иван Павлович, вы уже знаете, что вам из-за границы наследство пришло?

Иван кивнул головой, кашлянул в кулак.

– И как вы относитесь к этому?

– Да, как? Оно, может, и ненужное чего. А ежели деньжонки – дак они завсегда нужные...

Старший насупился, а майор неодобрительно покачал головой:

– А вы знаете, какие это деньги? Это – деньги империалистов, наших врагов. Они на нашей крови и поте трудового народа заработаны. А вы – «завсегда нужные». Где она взяла эти деньги, ваша бабушка? Наверняка, из России ещё вывезла. Стало быть, деньги эти – народные. Мы предлагаем вам, как честному человеку, отказаться от них в пользу государства.

Ивана покинула дрожь. Лицо вытянулось, как у борзой перед охотой:

– А что, государство никакими деньгами не брезгует? И сколько же их там, если ими можно поднять государство? – спросил Иван и сменил выражение лица. Теперь это уже был прищур дуэлянта-победителя.

Начальники переглянулись. «А не так он прост, как с виду кажется, надо бы с ним пожестче», – подумал старший и произнёс вслух:

– Вам советская власть дала всё, а вы здесь Ваньку валять вздумали.

Ваньку понесло:

– И что же это она мне дала? Голодное детство? Да у меня отец в войну погиб. И что я ви-

дел? Только вечно больную и полуголодную мать? Я и есть тот Ванька, и это вы меня валяете. Если что положено – так отдайте мне, а писать я ничего не стану и отказываться тоже.

В глазах начальства заплясали злые огоньки. Разговор получался тяжелым, изнурительно длинным, не по их задумкам и сценарию.

Вышел Иван из кабинета, слегка покачиваясь и ещё не осознавая, с какой ломающей силой ему довелось только что столкнуться. Дома молчал. Феня сочувственно поглядывала на него, стараясь угодить во всё, и с лишними распросами не лезла. Не бредила душу Ивана.

На другой день поднялся Иван раным-рано, побродил по двору, чего-то постучал, вошел обратно в избу. Феня ещё спала. Открыв глаза, она увидела перед собой лицо мужа и не поняла: то ли он хотел её поцеловать, то ли что-то на ухо прошептать. У него светились глаза:

– А ведь хрен я им денежки отдам! Не на того напали. Вот им, – он отмерил левой рукой по локоть правой, – должны ведь и мы по-человечески пожить.

Через неделю Ивана снова вызвали в то же учреждение. И если в первый раз шёл он и не догадывался, как дело обернётся, то теперь знал, что ему следует ожидать и как себя нужно держать. Твёрдой походкой он вошел в кабинет. В кабинете сидели всё те же хмурые и сосредоточенные лица. Иван поздоровался и присел поодаль, приняв смиренный вид. Его пригласили за приставной стол. Он придурнулся и, махнув, мол, здесь – решил остаться на прежнем месте, выиграв, как ему показалось, первый ход.

– Ну, что, Иван Павлович, что вы надумали за это время? – начал старший.

– Да ничего нового, – ответил Иван и, смахнув фуражкой с лица простоту, поджал губы, приготовясь к следующей атаке. Часа три ломали его эти два профессионала, однако он закалялся прямо на глазах. Проснулся-таки в нём русский характер, веками питанный огнём и лихолетьями.

Гебисты нервничали, курили, а Иван всё нёс околесицу: то про барак с клопами, то как с молодой женой в деревню переезжал, то как мать хоронил. Одним словом, они ему про Фому, а он им про Ерёму. И ничего не поделаешь: семидесятые годы уже стояли, не сталинские времена. Отпустили его начальники, а промеж собой говорят, что придётся, видимо, из Австрийского посольства представителя вызывать да нотариуса

приглашать, чтобы оформить, как положено, наследство, а то уже все сроки поджимают. На том и порешили.

Через несколько дней к Ивановой избе подкатила обкомовская «Волга», из которой вышли мужчина и женщина. Нарядные такие, и духами дорогими пахнут. Спросили разрешения войти в дом. Вошли, осмотрелись. Иван дома один оказался: жена на работе, ребятня где-то заигралась.

Хозяин смахнул со стола полотенцем, усадил гостей, предложил на выбор — молоко или чай. Первой заговорила дама:

— Видите ли, Иван Павлович, вам досталось большое наследство. Как вы им распорядитесь?

Иван, помедлив, ответил:

— А вы видите, какая у меня хата? Дом себе просторный построю. Сыновья опять же подрастают, думаю дать им хорошее образование. Пусть в люди выйдут. На море с женой съездим, в санаторию. А люди сейчас и без наследств живут — будь здоров, особенно начальство! А мы в деревне в дерьме кувыркаемся...

Гости переглянулись, им явно не понравился ответ Ивана.

— А вы не выпиваете, Иван Павлович?

Иван стукнул себя по лбу:

— Э, да вы вон о чём печётесь, боитесь, что я наследство пропью. Ха-ха! Да я пить не люблю, у меня ж от этой отравы все кишки сводит. Я ить даже и не курю. Так что будьте спокойны, денежки не профукаем. А сколько их там есть-то? Вы бы хоть сказали. А то получается — много пены и мелких брызг!

— Капитал у вашей бабушки был немалый — девятьсот тысяч австрийских марок да особняк двухэтажный. А это ещё тысяч пятьсот-шестьсот! В целом, миллиона полтора получается. А в переводе на наши рубли — тысяч четыреста выходит.

У Ивана от названной суммы аж глаза округлились. Он присвистнул:

— Ничего себе! Да таких денег нам и всей деревней не пропить. А вы: «Пьёте, не пьёте»... Нет, столько денег нам не надо, на что они нам?

— Ну, это вы будете решать со своей женой. В понедельник приедете в областную нотариальную контору. Да оденьтесь поприличней — вас придётся иностранцам представлять.

Вихрь мыслей у Ивана заколобродил: никак не мог представить себе он такого свалившегося вдруг счастья. А может, и несчастья. Он стоял и

моргал, как фонарь на светофоре, переводя взгляд с одного гостя на другого. Гости, так и не испив чаю, упылили в город. А Иван всё ещё закидывал руку за голову и скрёб затылок. Когда пришла с работы Феня, он рассказал ей о необычном визите гостей, а когда она спросила: «Сколько же будет денег?», ответил: «Чёртова уйма!»

У иных людей при ощущении приближения денег начинают появляться порочные мысли. Никаких таких мыслей у Ивана не было. Кроме тревоги: не нарушит ли всё это их устоявшегося быта, того уклада жизни, который его вполне устраивал. Но больше всего он страшился зависти людской. А это — похуже болезни, она разъедает человека, отрицая все нормы морали. Завистливые люди способны на всё. Два опытных гебешника рвали его, как троекуровские псы, но делали они это по заданию. А в деревне наверняка могут найтись недоброжелатели, и они будут поопаснее тех, из казённого кабинета. Он потерял сон и желал одного: поскорее бы всё это закончилось.

Собираться в город начали за три дня до назначенного времени: купили Ивану новые туфли, а Фене — кофточку с брошью. В город поехали всей семьёй. Нашли нужное здание. Уже в вестибюле их встретили и проводили в кабинет, где собралось несколько человек. Тут же была установлена и видеокамера с местного телевидения. Потом женщина хлопнула ладонями и скомандовала:

— Можно начинать.

Заговорил рыжий высокий человек на непонятном языке. А другой, переводчик, спросил:

— Правда ли, что вы являетесь сыном Серых Павла Романовича, 1909 года рождения, который погиб на фронте?

Иван кивнул, достав паспорт и метрики. Маленький толстый человек начал объяснять наследнику: что и сколько ему причитается. Вышло так, что им оставалось после всех налогов и вычетов двести сорок тысяч нашими рублями. В придачу — особняк в Вене.

У Ивана вспотели ладони, и он залепетал:

— Какой особняк? Не нужен нам особняк, мы никуда из своей деревни не поедём. Нас гоняли как-то уже сдавать кровь из вены — приятного мало... Не, я уж лучше дома...

Все заулыбались, а рыжий, склоняясь к переводчику, слушал и даже хохотал. Маленький толстяк тут же зацепился за слова Ивана:

— Может, вы откажетесь от особняка в пользу государства? Нашему Министерству иностранных дел позарез нужны за границей здания — для посольских нужд.

Иван с радостью закивал головой. Переводчик перевёл рыжему, и тот одобительно похлопал наследника по плечу. Бумаги составляли долго и тщательно. Затем зачитали на двух языках и предложили Ивану несколько раз расписаться.

В итоге Ивану Павловичу Серых положили на книжку двадцать пять тысяч рублей, а остальные перевели на бессрочный депозит, снять с которого можно было только по особому распоряжению правления Сбербанка — на особые нужды.

Толком Иван так ничего и не понял, но то, что теперь у него на руках была сберкнижка и денег в ней — на пять новеньких «Жигулей», этот факт он уразумел. Он расхрабрился и даже для всей страны сказал в видеокамеру, чтобы граждане хранили деньги в сберкассе, поскольку это выгодно, удобно и надёжно!

Провожали их с поклонами и рукопожатиями, навеличивая счастливчиков Иваном Павловичем и Фёклой Петровной. Вышла семья Серых, как стайка тех утят, и не знали от волнения, куда им податься дальше.

— Давайте для начала найдём какую-нибудь столовку, есть ужасно хочется, — предложил Иван.

И уже сидя за столом, спланировали свои дальнейшие действия. Кружили по городу целый день. Сняли с книжки тысячу рублей. Купили телевизор и разного шмутья набрали в универмагах. В деревню вернулись к ночи. И закрутилась уже иная жизнь.

В колхозе организовали газовое хозяйство и предложили Ивану его возглавить. Направили в город на трёхмесячные курсы. А вскоре по деревенским хатам стали развозить и устанавливать газовые плиты. А Иван наш с папкою под мышкой только успевал регистрировать установку печей да инструктажи проводить по пользованию газом.

А личные дела вроде как шли параллельно. Какой-то мужик поставил на пустыре, над рекой, добротный сруб. Да на этом стройка его по каким-то причинам и заглохла. Стоял тот сруб одиноко уже который год, высохнув брёвнами аж до звона. Иван нашел хозяина, выкупил сруб и на-

нял бригаду — достраивать. И закипела работа. Дом получился на славу — светлый, просторный, с резными наличниками и под жестяной крышей. И уже через год семья справила в нём новоселье. Зажили в нём справно, в достатке.

В селе построили новый клуб, а сбоку и позади клуба оставалось много свободной земли. Стал Иван хаживать вокруг того клуба, что-то вымеряя шагами и даже вычисляя, шепча губами. Потом встретил колхозного прораба, завели с ним разговор, как бы на этом месте построить парк с танцплощадкой, качелями и хоккейной коробкой. Вдоль дорожек — лавочки и даже скульптуры. И всё это — под фонарями! Вопрос этот жарко обсуждался на сессии местного сельсовета. На строительство парка дали добро.

Иван Павлович написал заявление на имя правления Сбербанка, чтобы депозитные деньги его, все двести тысяч, перевели на сельский совет — на общественное дело — для строительства парка культуры и отдыха. И тут решился вопрос положительно. И уже за один год были выполнены все строительные работы. Открытие парка получилось шумным, опять приехало телевидение. Играл духовой оркестр.

Иван боялся повышенного внимания к своей персоне, а потому спрятался. Попросил жену переть его в доме на замок, а всем отвечать, что он куда-то уехал из села.

Отгремели фанфары открытия парка, и заработал он, как и положено. Днём ребятня качалась на качелях, вечерами на танцплощадке играла музыка, собирая всю сельскую молодёжь. Те, что постарше, на лавочках сидят, беседы промеж собой ведут.

Подойдёт Иван незаметно к парку, положит руки на изгородь и стоит, любуясь на всё это. Однажды шёл он по своей улице, а навстречу ему попала стайка ребятишек, энергичные такие, живые. Переговариваются между собой. Тут кто-то и предложил: «Идём в Иванов сад!»

Подумал Иван: «Это кто ж так придумал — его именем парк назвать? Вот ведь как получается: не хотел я, сам не навязывался. Люди догадались...»

Поднял Иван к небу глаза и увидел, как пролетала над ним стайка уток. «Может, это мои летят?! Да! Добро-то ведь добром же и обернулось. Красота...»

Екатерина
ФРАНК

В МОРЕ ПЛАЧЕТ
ДЕЛЬФИНЁНОК



В море плачет дельфинёнок.
Голос жалобно звучит,
Словно маленький ребенок,
Мамой брошенный, кричит.

Мама, мамочка – слово забытое
Я пытаюсь опять разучить.
Радость дома, за окнами скрытую,
Как подарок, назад получить.

Я жалею, что ты не со мною,
Снимок твой от друзей бережу.
Я хочу быть кому-то родною,
Только вряд ли поверить смогу.

Улыбаюсь подругам в ответ,
Только мысль не дает мне покоя –
Почему родилась на свет
Я с душой бесприютной такою?

Что такое детский дом?
Просто-напросто дурдом.
У кроватей в ровный ряд
Наши тумбочки стоят.

На шкафах – белье и книжки,
Рядом – плюшевые мишки.
...Красный обруч я кручу,
Что есть сил домой хочу.

Молодые пацаны, их последние улыбки,
Разбиваясь о стекло, с фотографий
смотрят зыбко.

На войне смешались судьбы,
души сложены в одну,
Они вместе проходили беспощадную войну.

Долгожданное письмо прочитали как спасенье,
В нем души далекой свет –

мамкино благословенье.
За последнюю чертой в грязной копоти и пыли,
Автомат к груди прижав, на мгновение
застыли.

До сих пор сквозь боль идут и друзей
теряют в битвах,
А над ними плачет дождь, омывая путь
молитвой.

Смешенье мыслей в голове и пустота,
Смешенье красок в небесах и глубина,
А мне дано под тяжестью креста
В страданиях жить, не понимая, в чем вина.

И невозможно на земле звездой быть,
И невозможно быть на небе человеком,
А мне хотелось с облаками плыть,
Земное счастье обретая при этом.

Я бегу от любви, но она впереди
Ждет меня, ставит ножку украдкой.
Я доверюсь тебе, ты сквозь толпы веда,
Оставаясь безмолвной загадкой.
И звонить — не звони, и кричать — не кричи,
Я тебя не услышу в дороге.
Полуночной кувшинкой укройся, молчи,
Будь ступенькой моей на пороге.
Я сама добежу, я узнаю тебя
Среди тысячи лиц и дыханий,
И не буду я доверяться любя,
Чтоб не путаться вновь в оправданиях.

По старым ступеням легко и привольно
К разрушенной кем-то бежать колокольне.
Ни света, ни звука, но сладостно манит
Забытая в кладке священная тайна.

В камине жарко трещат поленья.
И вечность — словно одно мгновенье.
Мечту бездумно сама разрушив,
Согреть пытаюсь от стужи душу.
Смотрю на небо в далеком свете
И долго-долго ищу ответа.
Вслед птичьей стае машу руками —
Смысл жизни скрыт за облаками.

У нас был сад. В нем яблони цвели.
И где-то там мое осталось детство.
Там яблони клонились до земли
Во двор к друзьям, живущим по соседству.

Над куполами синие кресты,
Сквозь них смотрю на небо голубое.
Наедине осталась я с судьбой,
Пытаясь строить в прошлое мосты.

Как хочется взлететь под облака
И мир увидеть новыми глазами.
Струится, не сливаясь со слезами,
Моей судьбы горячая река.

МАЛЬЧИКУ, ПОГИБШЕМУ В ЧЕЧНЕ

Я в крике птиц твой голос слышу,
И в плаче ветра — голос твой,
Как будто ты из дома вышел,
И сразу след порос травой.
Ищу тебя я в мире этом,
Но ты почти неуловим.
И память бликами из света
Тебя рисует мне живым.

Засмеюсь, и оборвется смех:
Я увижу нищего, бродягу,
Как он отличается от всех,
Словно заключенный из Сиблага.
Подойду, ни слова не сказав,
Он поймет — ведь мы родные души.
Вся судьба написана в глазах.
Я стою.
Молчу.
И слезы душат.

Там, вдали, у волшебного озера,
Где туманы лежат на горах,
Поднимается свет бледно-розовый —
Это Бог держит солнце в руках.
Дышит Он — шевелятся деревья,
Тянут кроны свои к небесам,
Птиц разносятся звонкие трели,
И на травах сияет роса.

Евгений
МЕЛЬНИКОВ

ТАК ГРУЗЯТ ДОСКУ

Рассказ



Серее Донбаю

Пакет больно долбанул в бок. Я качнулся, но Пашка ловко схватил меня за пояс и матерно заорал. В переводе это означало: куда, дескать, смотришь? Не хочешь ли на тот свет?

— И так у черта на куличках, до того света рукой подать, — остроумно возразил я Пашке.

Он с сомнением посмотрел на меня и еще говорил с минутой, но уже обращаясь не ко мне, а к Василию Михайловичу. Тот промолчал, но я понял, что он согласился с Пашкой, да и как бы он не согласился, если вместе с Пашкой ехали от Красноярска водой, на пароходе «А. Чехов», а до Красноярска суток четверо поездом, но это дело привычное.

Ехали по собственной воле, хотя вряд ли могли не поехать, как ездят уже пять лет Пашка с Василием Михайловичем, ездят на два месяца, грузить доску, говорят, лучшую в мире.

А коль приехал грузить, так грузи, и нечего глазеть по сторонам, сторожись пакета, ну а стукнет больно, кому охота бегать к почтаркам, слать родне печальные телеграммы.

Промолчал Василий Михайлович, подумал так: «Это верно, хотя и относились ко мне ласково, поучая».

Бригада наша грузит «финна», пароход компании «Orion Paulin», так написано на корме и

высоко на носу, с двух сторон. Грузим сухостой, грузим с барж, тесно прижатых по бокам к пароходу. Наша компания на барже стаскивает доски в пакеты — работа легкая, ума не надо, сторожись только, чтоб не сбило пакетом, или «стропа» по морде не съездила. Внушает мне все это Василий Михайлович, ловко и неторопливо складывая из досок маслянисто-желтые параллелограммы.

— Как в конструкторе детском, — говорю я, и Пашка опять подчеркивает мое невежество длинной интеллигентной фразой.

Пашка-стропальщик обвязывает пакет стропом — длинной веревкой, закрепленной на лебедке. Живет он в Рязани, в селе, и хотя работает девять месяцев в колхозе скотником, основной, настоящей своей работой считает вот эту — погрузку пароходов, и важно говорит о ней удивленным землякам, и томится, и рвется Пашкино сердце, и снятся по ночам желтые доски, скрип лебедок, звучные пароходные гудки. Пять навигаций работает Пашка в Игарке, и здороваются с Пашкой корешок — кочегар с панамской «Терезы» — Сашкой зовут. Сантандер по-ихнему. А уж про своих, из Игарки, и говорить нечего.

— И жил бы здесь, Пашка, — говорю я. — Чего мотаться взад-вперед?

На этот раз Пашка глядит на меня с сожалением. Вот, дескать, сельпо, тупак (не бревно, не

93

Мельников Евгений Иванович родился в Новосибирске. Окончил Новосибирский электротехнический институт связи.

Автор книг прозы: «Я знаю, ребята...», «Никто не любит крокодилов», «Прогулки по потолку», «Петухи знают, когда им кричать» и др. Живёт в Новосибирске.

шпала – Игарка – столица леса, и здесь знают его настоящую цену), не понять ему, что и в долгом, тягостном ожидании, там, на рязанщине, в хмельных разговорах по поездкам, встречах с приятелями в Красноярске, в знакомых поездках по Енисею – во всем этом и заключается его, Пашкина, жизнь. Во всем том, что предшествует радостному, пусть короткому по времени, но мажорному, мощному финалу.

О себе Пашка любит рассказывать громко и весело, с прибаутками, видно, он привык это делать и знает, где и как сказать, чем удивить слушателя.

Василий Михайлович тоже откуда-то из России, но молчалив, слова молвит аккуратно, поучая меня. Ездит сюда каждую навигацию, а дома у него жена, о сложных отношениях с которой я узнал опять же от Пашки: «Она еще хорошая жена, аборт сделала, а то пришлось бы алименты платить!»

Пашка цепляет пакет стропом и истощным голосом орет:

– Вирать!

Строп натягивается, и пакет медленно уплывает от нас вверх, мимо фальшборта и тихо покачивается над трюмом.

– Вирать, вичман! – орет Пашка.

Вичман – машинист лебедки Магницкий работает лихо, с шиком, презрительно поглядывая на Пашку. Появился Магницкий в бригаде недавно, привела его наша тальманша, или, как их еще зовут здесь, – рубщица Нина. Вот стоит она здесь, у борта, считает-учитывает, сколько мы погрузим. Дело это довольно сложное, ювелирное. Записать надо и сорт древесины, и длину, ширину, толщину досок, и ставить марку на каждой доске. А зевнешь, перепутаешь коносамент и мат на тебя от стивидора, а молчишь – значит, виноватая.

Местная она, эта рубщица Нина. Все здесь знают ее, знают ее страсть к семейному уюту. Есть у нее в Старой Игарке комнатка, да только не живет в ней Нина зимой: скучно одной и топить надо, а потому уходит в лесокомбинатское общежитие, где тепло и вообще веселее. Летом же общежитских Нина презирует, считая, что люди должны жить по-семейному, спокойно, иметь и угол свой, и все остальное. Моет перед каждой навигацией она полы и окна в своей

комнатке, белит стены. Потом тюль на окна, на стену – знаменитого киноартиста Сергея Гурзо, которого она предпочитает всем остальным, хотя и не видно его давно в фильмах. Потом Нина восстанавливает семью. А что грех таить, наши мужики любят погреться у доброго бабьего сердца. В эту навигацию главой этой небольшой семьи стал Магницкий. Магницкий – бич, алкаш, за что и списан на берег, на суда его теперь не берут, работает он на погрузке, работает, правда, ловко и уверенно, хотя и с ненужным шиком, да что уж тут поделаешь. Покорил он Нину шикарней своей бородой и тем, что, явившись посмотреть будущий семейный очаг, спросил, увидав кур: что это за чайки тут у вас? Куры, что ли, по-вашему?

В обед, когда мы несемся в портовую столовую, Нина вынимает какие-то узелки, судочки и устраивается на досках. Магницкий спускается с парохода на баржу, подходит и смотрит небрежно так: чем там кормить будешь? А она раскладывает перед ним снедь и зовет его – мой цыган. А когда начинает Магницкий есть, садится рядом и ласково глядит на него, упиваясь бабьим сезонным счастьем.

Трюм наш почти загружен. С баржи видно, как растаскивают и укладывают доску стивидоры. Дело это непростое и ответственное. Доску нужно уложить так, чтобы пароход, не дай бог, не перевернулся в воде. А потому новичка в трюм не пускают – сбивай пакеты на барже и весь тут сказ.

Ухман орет, торопит и нас, и стивидоров, суетится по палубе. Положено нам погрузить в смену 20–25 стандартов, четыре кубометра каждый.

– Если двадцать, – считает Пашка, – по семь на рыло.

– На диспатч сбробим, – говорит Василий Михайлович.

Диспатч – нечто вроде премии. Его платит фирма за каждую досрочную погрузку. Но до этого еще далеко: в четыре трюма нашего ненасытного «финна», нужно погрузить 1200 стандартов.

Последние минуты смены тянутся утомительно долго. Наконец Пашка орет:

– Конеч! – и смачно, до хруста потягивается. Мне тоже хочется покрепче упереться ногами в

непривычно неподвижную палубу и распрямиться. Распрямиться так, чтобы ткнуться макушкой в мягкое и прохладное игарское небо.

Приходит Магницкий. «Стреляет» у Пашки сигарету. Присаживается на кнехт. Закуривает. И вдруг начинает петь. Я стою рядом с Пашкой, вместе с ним прислушиваясь к песне, звучащей среди вехлинов волн, бьющихся о борт, и ржавого скрипа якорных цепей:

*— Говорила мне мама, не пей,
Непутевый ты мой, говорила,
Кабы все, как у добрых людей,
Не ворчала бы я, не корила...
Кабы все, как у добрых людей,
Только вот у тебя почему-то
Ни коротких, ни длинных рублей,
Ни уюта тебе, ни приюта...*

Внизу, у баржи, закашлял, задыхаясь, катерок, послышались приветливые возгласы, шутки, старые прибаутки, привычные, неизменные при встрече двух смен.

Наша бригада неторопливо расположилась на палубе, мотор заверещал, катерок рванулся вперед, рассекая масленичную от теплоты воду.

Он пошел вдоль протоки, а справа и слева, светясь огнями, стояли суда, похожие на большие дома, да и сама протока была улицей, магистралью, хорошо асфальтированной, с переулками и проходами.

Мы ехали по широкой нарядной улице молча, словно впервые разглядывая ее, и только голос Магницкого, неожиданно чистый и ласковый, тянул слова своей беспокойной песни:

*Вон худющий да желтый какой,
Под глазами так целые ямы.*

*Мне б, старухе, пора на покой,
Да какой тут покой с сыновьями.*

Я попытался разглядеть Магницкого, прищурился, потянулся вперед, но увидел только круглые черные спины и белый платочек Нины. Потом снова взглянул на суда, на огни, на темную воду, и от всего от этого, от песенных слов стало тревожно и грелось нехорошо, перегревалось сердце, жарко разливаясь по всей груди.

Катерок ткнулся носом в бревна. Мы выскочили на мокрые скользкие боны.

Нина с Магницким идут в интерклуб. Там Нина берет у знакомой официантки бутылку для мужа и отправляется с ним домой по чистой, как драеная палуба, мостовой. Нина держит Магницкого под руку, с умилением смотрит на сутулую, качающуюся его фигуру, и гордо и счастливо — на встречаемых знакомых.

Василий Михайлович заходит на биржу. Долго смотрит на показатели нашей бригады. Потом на цифры сменщиков. Молчит. И идет в столовую.

Пашка хватает меня за руку и тащит к клубу: — Десять рэ в карман положили!

Я оглядываюсь назад, на биржу, на штабеля леса, на протоку. Сверху отлично видны бесшумно, как жуки, снующие по крутым деревянным настилам лесовозы и все двенадцать судов, стоящих на погрузке. Двенадцать судов под разными флагами, с разными судьбами, пришедших за сибирской доской.

Скрипят цепи, визжат лебедки, глухо, как в колодце, бухают, ударяясь в трюме, пакеты.

Порт живет. Порт работает.

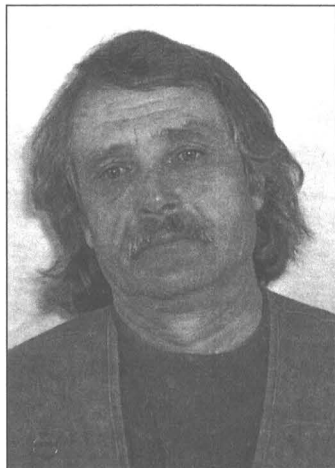
Так грузят доску.



Александр БРЮХОВЕЦКИЙ

КРЕПКОЕ КРЫЛО

Рассказ



Я летел в стае последним. Быть последним меня в общем-то не устраивало, но мои силы, да и мой ничтожный опыт в преодолении огромных пространств, не позволяли быть фаворитом. Я слаб здоровьем, и оно было у меня таковым от природы. Я, конечно же, смирился с мыслью о том, что кто-то должен быть слабым, но внутри меня постоянно что-то протестовало – почему же я? Почему не кто-то другой? И раз мне выпала такая судьба – быть слабее кого-то, то я постоянно упражнялся, уделяя тренировкам почти всё своё время, отрывая его даже от сна. Может быть, я и неправильно поступал, насилюя свой организм, в то время когда другие собратья предавались крепкому утреннему сну.

Я вставал на заре и на час пропадал в прохладном тумане, бегая на длинные дистанции и взбивая крыльями веера росы с прибрежных трав. Я не пытался подниматься вверх, поскольку считал, что одновременная работа ног и крыльев дает мне лучшие результаты для укрепления здоровья. Я убегал далеко от места ночлега моей семьи, чтобы не мешать им видеть сладкие сны, ведь хлопанье моих крыльев слышно было далеко окрест, а когда я переходил к тренировкам на водной поверхности, то к обычному свистящему звуку крыльев добавлялось ещё звонкое, как пощёчина, шлёпанье лап.

Мне нравилась эта водная процедура. Я обычно откладывал её на десерт, потому что эти звуки ощущались мной аккордом, кульминацией моих утренних тренировок. Потом я встречал зарю, которая лениво окрашивала розовостью всё, что было мило моей душе и глазу. Природа трепетно радовалась встрече с солнцем и раскрывала бездонную синь неба, в которое уже давно занывали всевозможные мелкие птички, купаясь беспечно в этой лазури, и громко провозглашали начало дня. Выше всех забирался жаворонок и, зависая неподвижно, своею песнью проникал в душу всего живущего в этом утреннем мире.

Конечной процедурой моего утреннего моциона была чистка своего обмундирования, ведь не разложи по порядку каждое перо, даже самое маленькое, невозможно и надеяться на грациозность полёта перед той, которую я в нашей стае выделял особо. Но о ней чуть позже, хотя, забегая немного наперёд, скажу, что кто его знает, вёл бы я это повествование, не будь в моей жизни этого нежного, великолепного по своей красоте создания.

И вот я спешу к своим собратьям, чтобы предстать перед их взором готовым к любой работе, связанной пусть пока и с небольшими перелётами. Спешу обратить ваше внимание на

Брюховецкий Александр Николаевич родился 19 ноября 1954 года в селе Ново-Андреевка Семипалатинской области. Окончил Алма-Атинское художественное училище. Работал художником-оформителем, преподавателем школ искусств.

Публиковался в альманахах «Огни Кузбасса» и «Литературный Кузбасс». Автор двух книг прозы: «Летающий мужик» и «Камень». Член союза писателей России. Живёт в селе Колмогорово Яшкинского района.

то, что наша жизнь ежедневно полнится яркими впечатлениями от казалось бы привычного ландшафта. Я ещё молод, но мой взгляд отмечает множество изменений в растительном мире — это отмирание старого и появление нового, чему я постоянно удивляюсь. Очевидно, это же происходит и с нами, не зря наш вожак говорит, что он стар, что он обязательно передаст свою должность кому-нибудь из нас, кто помоложе и крепче.

На роль вожака я, конечно, не гожусь по известней причине, хотя мой глаз довольно зоркий, и я легко распознаю местность, виденную мной ранее, как говорится, с птичьего полёта. Но что меня особенно отличает от остальных сородичей, это моя способность чувствовать направление даже тогда, когда земля под нами вся устлана облаками. И это моё чутьё не раз отмечалось вожаком, но тем не менее я обречён быть всегда последним, замыкающим. Моя неспособность держаться в воздухе так долго, насколько необходимо быть всей стае во время длительного перелёта, основательно подорвала доверие ко мне как к кому-то путному.

Но меня никто и никогда не оставлял одиноким. Меня всё равно ощущали боковым зрением, а то и обычным поворотом гибкой шеи, узревая мою состоятельность двигаться, либо дать незапланированную передышку всей стае ради одного меня. Такое случалось... и тогда вся стая, видя, что я основательно выдохся, решала планировать вниз, теряя драгоценную высоту, чтобы, отдохнув таким способом, вновь двигаться дальше. Когда приходилось садиться, хотя это, может быть, и нужно было для действительного отдыха или подкрепления пищей, то я всё равно нервничал и воспринимал побрякушку для себя. Не сказать, что меня окружали лишь косые взгляды сородичей — все довольно нежно относились друг к другу, понимая всю нелёгкость ночевой жизни, но тем не менее я уязвлял сам себя, чувствуя только свою невыносимость. И вот однажды я решил изменить себя ежедневными, порой изматывающими тренировками, о чём я уже достаточно достоверно рассказал. Очевидно, это дало определённый результат, поскольку в этом перелёте я чувствовал себя белее уверенно, хотя, как всегда, летел последним.

Мы поднялись на заре и начали оглашать всё окрест своими громкими возгласами и хлопанием крыльев. Мы были страшно возбуждены от предстоящего длительного перелёта, и наша громкая песнь была гимном, призывом, переключкой: «Всё ли в порядке? Все ли здесь? Вперёд, друзья, вперёд!» Вожак оглядел нас строгим взглядом и, широко расправив крылья, оббежал нас, как бы удостоверившись в готовности всех к полёту, и, на секунду замерев, сделался гордым. Глаза его возбуждённо блестели, в них отражалась непоколебимая твёрдость принятого решения. Мы тоже замерли в тревожном ожидании, но через мгновение раздался его торжествующий клич, и он, разбежавшись по мелкой прибрежной гальке, легко оторвался от земли. Мы с криком последовали его примеру и, едва поднявшись над речным туманом, начали выстраиваться клином.

Я не спешил занимать место, в любом случае оно оставалось за мной, главное, чтобы в начале не отстать, выдерживая дистанцию. Здесь я хочу сделать некоторое уточнение: с правой стороны клина выстраивалась наша слабая и прекрасная половина, те, которым мы и посвящаем свои песни и благодаря которым ещё существует наше крылатое сословие. Так было заведено, чтобы мы, летящие в левой части, постоянно держали их в поле зрения, чтобы в случае какой-либо неприятности быстро отреагировать на это. На левой стороне нас было шестеро, включая и вожака, а справа — пятеро. Поэтому наш клин выглядел несколько скособоченным. И не представлялось бы это так странно, если бы в конце не было меня. Я был как ненужный довесок к строгой симметрии, а порой и балласт, когда ради меня делали вынужденную посадку.

Я, рассекая грудью утренний туман, вынырнул наконец-то на божий свет и обнаружил, что немного задержался со взлётом, потому что до моего места в строю было взмахов пятнадцать, которые я не без труда навестал. В этом случае на меня сильного внимания не обращали — все тоже были безгрешными — двое, следовавшие за вожаком, даже несколько раз задевая друг друга крылом, с трудом определились в строю, да и то потому, что первый ведомый больно уцепился за второго, чтобы тот знал своё место.

Небо было удивительно чистым, оно тут же напоило наши глаза бездонной голубизной, и мы, вдыхая полную грудь, радостно устремились за вожак.

Я видел её. Она, вытянув шею и торопливо махая изящными крыльями, тоже заняла своё место в строю. Она летела последней в цепочке, и догляд за ней по приказу вожака осуществлял летящий передо мной широкозадый лимпопо. Конечно, его вовсе не так кличут — это я окрестил так, что первое взбрело в голову из ревности к моей очаровашке. И я, пожалуй, чаще, чем он, держал её в поле зрения и даже невольно нарушал общий рисунок строя, всё больше прижимаясь к другой стороне, а когда меня основательно заносило к ней, то я слышал громкое шипение широкозادого и тут же возвращался на место.

Мне всё нравилось в ней, включая даже небольшое, как родинка, пятнышко на её длинной и гибкой шее. Мне хотелось позвать её с собой, улететь совершенно в другом направлении, а куда, я не имел никакого понятия на данный момент. Но она не баловала меня своим вниманием, всё дольше посматривая на своего опекуна. Лишь один раз, когда я чуть не задел её своим крылом, она удивлённо обернулась, взглянув на меня, как на полоумного, слегка сбиваясь с ритма. На этот раз меня грозно окликнул вожак, и вся стая неодобрительно покосилась в мою сторону. Вожак ещё несколько раз оборачивался и, гневно сверля взглядом, упрекал: «Не вольничай, береги силы, которых у тебя...» И я, пристыженный, следовал молча за хвостом лимпопо, изучая основательно его зад. А ведь, действительно, он тяжеловат на эту часть — вон она как занывает вниз, придавая всему телу продольную качку, словно он качается на волнах. Конечно же, он не самый сильный из моих собратьев, поскольку тоже тащится почти последним. Я мысленно представил широкозادого вожак и, как все остальные, замедляя при этом ход, наталкивался на него, и что вместо десятидневного перелёта мы летим целый месяц, потому что лимпопо не задает нужного темпа в движении, и что все дела нашего семейства будут выглядеть весьма плачевно. Ведь на новом месте нам необходимо в срок вырастить детей, чтобы вскоре отправиться опять к тому месту, откуда мы взяли старт.

При мысли о потомстве я печально посмотрел на свою избранницу, которая, вовсе не замечая меня, летела, о чём-то изредка перекликаясь с подругой. К сожалению, до этого я тоже не мог наладить с ней контакта, потому что постоянно был занят тренировками, да и своё внимание она, видать, предпочитала отдавать лимпопо, а может, мне так казалось, но, во всяком случае, я не сомневался, что мой соперник дышит к ней неровно.

Я вспоминаю, как после вечерней кормёжки отдыхал, покачиваясь на лёгкой речной волне, внезапно услышал лёгкий свист крыльев, и как кто-то мягко опустился впереди меня. Это была она. Я хотел к ней приблизиться, чтобы поболтать о погоде, но через мгновение к ней буквально свалился широкозадый, выписывая вокруг неё круги, напевая что-то сердечное. И хотя они не видели меня в вечерней мгле, но я всё равно поспешил удалиться, чтобы не быть свидетелем чужих воздыханий. Мне было противно видеть широкозادого лимпопо, будто только я имел исключительное право на её любовь. Но отдавала ли она ему своё предпочтение — неизвестно. Может, она ко всем равнодушна, включая и меня? И почему, собственно, она вошла в мою душу? Своими печальными глазами? А может, они и вовсе у неё не печальные — мне так кажется? Зачем ей печалиться в молодые годы, когда кругом столько неизведанных земных красот, да и лаской старших она не обделена. Эти и другие мысли занимали меня во время полёта.

Часов через шесть лёта вожак всё чаще оборачивался, оглядывая нас, как бы спрашивая: «Как вы себя чувствуете? Не пора ли отдохнуть?» Я же волновался, как дурак, потому что не давал пока никакого повода на усталость, и по мне этого не скажешь, видать, давали знать мои постоянные физические упражнения. Вот лимпопо — другое дело, все видят, как он разорвал дистанцию от своего ведущего, а я же стараюсь ни на взмах не отставать, и то пространство впереди широкозادого по праву, я уверен, теперь принадлежит мне. И я не замедлил показать свои могучие способности, обгоняя лимпопо и показывая ему свой хвост. Он пыхтел, злился, но я, зная своё место, отступал назад. Я показал ему, кто я такой, на что я способен. И я не ошибся в своих прогнозах.

Когда наш отдых на сонном озере (мы так его называли за необычайную тишину) подходил к концу, вожак громко объявил о том, что теперь я, в силу своих ярких возможностей, становлюсь в строй предпоследним. Я ликова! Теперь последний – лимпопо! А это значит, что и догляд за моей зазновой полностью теперь лежит на мне, и вся её драгоценная жизнь принадлежит мне. За каждый вздох, за каждый взмах её крыла – я несу ответственность. Я сильный!.. Соперник мой повержен! Теперь он будет в качестве тормоза, балласта. Теперь на него с укоризной все будут глядеть.

Я торжествовал. Я летел и любовался своей избранницей, а она со скрытой благодарностью, уже не печально (так мне казалось) посматривала на меня. А лимпопо пыхтел где-то сзади. Я даже несколько раз повилал ему хвостом, дразня его, на что тот реагировал шипением. А ему больше ничего не оставалось, как шипеть и болтаться поплавок в небесах. Впрочем, я его теперь и буду звать – поплавок.

Но потихоньку у меня к нему начала проходить злость. Я знал, каково быть последним – я эту шкуру не раз надевал во время полёта. Я полагаю, что и у других отношение к нему тоже не злобное, хотя и жалость тоже не лучшее из чувств.

Мы летели к намеченной цели уже четвёртые сутки, как вдруг с нами произошла беда. Неожиданно со стороны зарослей какого-то болота раздалась гулкие хлопки, и взвились струйки дыма. Мы ещё не успели набрать должную высоту, и потому наше нахождение в столь малом расстоянии от земли было чревато для нашего здоровья, а то и всей жизни. Вожак что-то прокричал нам, но за бесперебойными и беспорядочными хлопками мы не поняли, что нам нужно предпринять. Я видел, как летящий впереди меня товарищ вздрогнул от сильного удара снизу, потом его перевернуло, и он, окрасившись красным, стал стремительно падать вниз. В стае был переполох: наша слабая половина заметалась из стороны в сторону, невзирая на вожака, да и левая сторона не знала, что делать, но ещё как-то поддерживала общий строй, вожак, видать, тоже был в смятении – он круто забирая вверх, насколько ему позволяли силы, и тут же пикировал, уходя в сторону. Мы тоже пытались

проделывать его зигзаги, чтобы то убийственное, идущее снизу, не могло нас порешить в одночасье. Я краем глаза видел, как моя возлюбленная рванулась книзу, вроде там её ожидало спасение.

Я бросился ей наперерез, чтобы резко подлететь снизу и остановить её безумное падение. У меня это получилось. Мы вновь, напрягая силы, набрали высоту, и у меня мелькнула дерзкая мысль – забраться в небольшое кучерявое облако. Хлопки всё так же настойчиво продолжались, и я увидел, как ещё двое, поникнув головами и разбрасывая далеко в стороны пух, упали в болото.

Мы летали с ней, кружа в небольшом молочном пространстве облака, скрываясь от глаз наших убийц. Наверное, во всё облако было стрелять глупо, потому-то мы и были в относительной безопасности. Мы слышали между выстрелами голоса наших собратьев, и я, стараясь им помочь, вылетал из облака, зазывая их к себе, правда, за это мне пришлось лишиться части оперения моего хвоста. Вскоре всё стихло, и мы, вынырнув из облака, устремились ввысь, созывая всех. Нас осталось немного – добрая половина погибла. Вожак высоко оценил мою смекаливость и храбрость. Он дал мне понять, что меня ожидает хорошее будущее, что он готов буквально сейчас передать мне бразды правления, если бы не мой пока ещё слабый опыт в навигации. Меня распирало от гордости, от похвалы, но я не подавал вида, и как можно было говорить о каком-то успехе, если пятеро из нас ушли в царство небытия.

Мы ночевали на высоком утёсе, грустя об ушедших. Море величаво вздымало свои волны, а потом безжалостно разбивало их о скалы. Я находился рядом со своей желанной и, легко касаясь её крылом, рассказывал ей о том, как я год назад, будучи на этой же скале, поранил грудь, упав со скользкого камня. К нам подошёл поплавок (он остался в живых) и, с грустью выслушав мою смешную историю, сказал, что у него плохое предчувствие в связи с этим перелётом. Мы, как могли, успокаивали его, говоря, что самое страшное уже позади.

Но мы ошибались.

Вечером, на исходе восьмых суток перелёта, мы, изрядно подустав, решили спланировать до

небольшой высоты над океаном, чтобы, таким образом отдохнув немного, вновь набрать высоту. Садиться на волны было бессмысленно — они яростно шумели от надвигающегося шторма и захлёстывали со злостью друг дружку. Они были свирепы, как стая голодных псов, и проглотили бы любого из нас, вздумай он только опуститься на кипящую гневом волну. Это мы обнаружили, низко опустившись к бушующему океану. Наверху нам было относительно спокойнее, но здесь...

Здесь нас не ждали. Стихия разыгралась в своём безумстве, да так, что мы поздно осознали всю опасность своего поступка. Слишком поздно вожак заметил ревущую и бегущую на нас, словно сама смерть, огромную грозовую тучу. Внезапно всё померкло перед глазами, и хлесткий ливень с порывами урагана и раскатами грома обрушился на нас. Я видел, как впереди летящие птицы внезапно из бичующего ливня попали под выстрелы крупных градин. Они были настолько крупны, что, попадая в голову, на смерть убивали любого. Это было ужасное зрелище. Вожак что-то прокричал в яростных раскатах грома и ослепительных вспышках молний и тут же исчез из моего поля зрения. Я знал, что это был его конец. Ещё некоторые из нас были поражены градом и, окровавленные, сброшены

в океан. А он был рядом. Он рычал раненым зверем и требовал жертв.

Я успел сориентироваться, подталкивая грудью свою ненаглядную, которая натерпелась такого ужаса, что его быхватило, даже с излишком, на всех птиц, живущих на земле и в небе. Я никогда не забуду её глаза в этот страшный предсмертный миг, которого, к счастью, не произошло, благодаря нашей счастливой судьбе. Мы выходили из этого ада огромным усилием воли. Я оглянулся на какой-то момент и обрадовался, что мы не одни — за нами следовал поплавок. Его также терзала своим алчным желудком чёрно-сизая туча, но он, вытворяя всевозможные сальто, казалось, благополучно выходил из неё. Но это только казалось... В момент, когда ему остались какие-то метры до спасения, блеснула молния, и бедолага на моих глазах превратился в пылающий факел, который тут же залил ливень, и обугленное чёрное тело камнем упало вниз.

Я был теперь вожаком. Я был теперь первым и последним. Она летела рядом. Я не имел права ставить её за мной. Мы летели крыло в крыло туда, где нас ожидала новая и счастливая

100 жизнь.

Апрель 2004 г.



**Александр
ЯРОЩУК**

ПСИХИ

Пьеса-памфлет



*...Нам вождя не доставало –
Настоящих буйных мало –
Вот и нету вожakov...*

В. Высоцкий

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Главный врач психиатрической больницы, не выговаривает букву «р».

Вилент, шеф-повар, зять главного врача.

Жорик, санитар, бывший пациент психбольницы, племянник главного врача.

Серафима Львовна, психиатр, дальняя родственница главного врача, говорит с неизвестным миру акцентом, вместо «все» – произносит «усе».

Директор стадиона, друг главного врача.

ПРОЛОГ

В социалистические годы все друг с другом соревновались: города с городами, институты с институтами, предприятия с предприятиями, бани, родильные дома и даже морги. Все брали на себя повышенные обязательства, которые зачастую не выполнялись, но главное в этом процессе – громче всех кукарекнуть, а там рассвет вставай не вставай.

Чем только не привлекали морги в свои «гостеприимные» стены – встречали хлебом и со-

лю, букетами гвоздик с чётным числом – всё напрасно. Не мрут люди, и всё тут. Кто курить бросил, кто пить, а кто и спортом занялся.

В городских роддомах паника – ну не тем занята молодёжь! То ли освещённость на улицах мешает, и нет тёмных углов, то ли работы всем хватает. А в деревнях нет света, нет работы и всё по-другому – всё нормально. Все заняты именно этим делом, потому что другого занятия просто нет. Оттого-то и колотят они городских – потому что их больше...

Короче, волна соревнований, как половодье, захлестнула страну полностью и без остатка. И нет островка, где можно было бы укрыться.

Итак:

Сцена 1

Психиатрическая больница. Кабинет главного врача.
Утро. Советание.

Главный врач. Как-то скучно мы яботаем, товаищи. Больные болтаются по тейитоии без дела, гьюсные, зевают, некоторые неделями спят. Хоёшо хоть вчяя Годзилла с цепи сойвался, так немного повеселились.

В и л е н т. Это который себе пальцы от голода откусил и всегда кричит, что он Пётр Великий?

101

Ярошук Александр Михайлович родился в 1943 году в селе Шишино Топкинского района. Окончил высшее учебное заведение. Химик по образованию. Долгое время работал на «Азоте» начальником цеха, впоследствии был избран председателем обкома профсоюзов химиков.

Публиковался в журнале «Огни Кузбасса». Автор трёх книг прозы. В настоящее время на пенсии. Живёт в Кемерове.

Главный врач. Да, да, доёгой, он самый. Вот я и хочу услышать от вас, что делать дальше, потому что денег нет, все пьядукты сожъяли, лекайства кончились. Нам же надо их чем-то занять. Или они скоё озвееют, как Годзилла, и сожъяют нас!

Жорик. Не надо воровать!

Вилент. А кто из нас не крал? Не таскал?

Главный врач. Пьекъятите пьепияться – у всех йило в пушку!

Жорик. Я предлагаю всех усыпить.

Главный врач. Как всех?

Жорик. Всех!

Главный врач. Жоя, вы с ума сошли, всех нельзя – кого мы будем лечить? Жоя, вы не долечились, пьимите таблетки.

Вилент *(Встаёт.)*. Э... Э... Я хочу сказать...

Главный врач. Вилент, сядьте. Что вы хотите нам пьедложить, я знаю – всех отъявить завтъяком. У нас уже тьетьи сутки нет ни 102
обеда, ни ужина. И потом – вы их тьявите столько лет – и ничего. На вашу пищу у них выяботался стойкий иммунитет.

(После короткой паузы.)

Сеяфима Львовна, пьедложите что-нибудь.

Серафима Львовна. Я предлагаю вызвать на спортивное состязание наркологическую больницу нашего района. Уверена, наши психи не хуже ихних алкашей.

Главный врач. Ну-ка, ну-ка, пьядолжайте!

Серафима Львовна. У нас и у них примерно одинаковое количество пациентов. К тому же у нас есть Годзилла. Тот один может за усах выступить. Соревнование проведём на стадионе – реклама, афиши, телевидение, болельщики, спонсоры! Усе деньги пойдут нам! Усё будет наше!

Главный врач. А почему всё нам?

Серафима Львовна. А потому... За психами – будущее. Где вы видели министров, депутатов-алкашей? Они почти усе психи! Они усе наши клиенты.

Жорик. А почему ставка только на Годзиллу? У нас есть и украинский Гетман из оранжевой палаты, Дуче из тринадцатой. Вот тот – истинный депутат! Как надвинет на зенки кожаный картуз, как завопит: «Всех арестую! Всех на Север! В Красном море сапоги мыть буду!» – так и хочется за него проголосовать двумя руками.

(И он поднимает руки.)

Главный врач. Так не голосуют, Жоик, – так в плен сдаются. Жоик, вы точно больной. Сеяфима Львовна, найдите какой-нибудь пьепайят, сделайте ему наконец укол!

Серафима Львовна. *(Не обращая внимания на монолог санитары и реплику гл. врача, продолжает.)* И последнее – у нас их половина лежит. Вот вам и связи, спонсоры, меценаты, инвесторы и лоббисты.

Главный врач. Пьинимается! За еботу, товаищи, за еботу!

Сцена 2

Стадион. Обнесён колючей проволокой, затянут металлической сеткой. Местами под напряжением. Но где? Не знает никто – даже директор. Обслуживающий персонал: могучие, крепкие мужики, похожие на горилл. Слегка поддавшие. Участники соревнования: буйные в оранжевых смиренных рубашках, рядом – тихие алкаши в полосатых чёрно-белых халатах.

Санитары с буйных снимают рубашки, алкаши разоблачаются сами. Всех выталкивают на беговую дорожку.

Директор стадиона. *(Включает рубильник. Кое-где заискрилось, а в некоторых местах посыпались снопы искр. Обращается к участникам через мегафон.)* Господа участники! Поздравляю вас с праздником живота! Кто придёт к финишу первым, будет накормлен от пуза, а лидерам-алкашам по рюмке самогона.

Господа зрители и организаторы, прошу подняться повыше. Трибуны не огорожены, и мы не гарантируем вам безопасность! Первый вид состязаний – бег с препятствиями на три тыщи метров!

(И во всю глотку.)

Выпускай!!!

Как и ожидалось, бег возглавил беспальный Годзилла, а за ним следом Гетман с депутатом Дуче. Достигнув виража, Годзилла перемахнул напрямую ограждение стадиона, а за ним в открытое поле устремились и остальные психи, озаряемые сполохами электрических разрядов.

Валька-стакан (*главный алкаш*). Бежать, так бежать – не хер торопиться, – объявил.

Он и его товарищи смиренно легли на беговую дорожку. Все зрители встают и кричат. Слышны отдельные выкрики организаторов.

Жорик. Держите!

Главный врач. Сеяфима Львовна! Что это такое? Нас всех язгонят!

Серафима Львовна. Усех не разгонят! Жрать захотят – вернутся! Через неделю, но усех вернутся!

Вилент (*негромко в сторону*). Может, перейдут на подножный корм, и все продукты будут наши.

Главный врач. Типун вам всем на язык!

Сцена 3

Прошло время. Пустой кабинет главного врача.

Входит хозяин и садится у телевизора. Грустный оттого, что одинокий. Психи не вернулись ни через неделю, ни через год. Разбежались по всей стране. Всех уволили – остался только главврач в ранге сторожа в опустевшей клинике. Вот

на экране возникает знакомая площадь с шумной толпой. В центре возвышается на танке группа людей.

Главный врач-сторож (*вслух*). Никак Годзилла на нём? Нет, кажется, обознался.

(*Снова всматривается в экран.*)

Ой, не наш ли это Гетман съеди оянжевых? Фу ты, опять, кажется, ошибся.

Комментирует происходящее уже на другой площади, но глаз от телевизора не отводит.

Видит заседание. В президиуме торжественно восседают важные лица.

Выступающий (*с трибуны орёт в зал*). Что? Птичий грипп? Всех птиц перестрелять! Однозначно! Мобилизовать всех охотников в армию! Где министр обороны? Почему его здесь нет?!

Вопрос из зала. Всех пернатых?! Голубей тоже?

Выступающий (*с трибуны*). И голубей, и вас, коммунистов, тоже! Однозначно!

103

И тут же применяет испытанный в дискуссиях приём – запускает стакан с водой в оппонента, выскакивает из-за трибуны и набрасывается на того с кулаками.

Тот вопит. Наших бьют!

В зале массовая потасовка.

Главный врач. Во! Так это же наш депутат Дуче!

Снова наблюдает за происходящим действием. На сей раз его взору предстаёт огромный зал дворца, полный достойных и уважаемых зрителей. На сцене президент вручает орден депутату. Все в недоумении, но аплодируют дружно.

Главный врач-сторож (*встаёт и громко хлопает в ладоши*). Точно он! Вейно говоила Сеяфима Львовна – за психами будущее!!!

Вот и наступил их звёздный час! Только фамилию его вспомнить не могу, с этими пациентами пояботаешь, свою забудешь...

Занавес

**Владимир
ПЕРЕВОДЧИКОВ**

ПОТЁМКИ ДУШИ

(Из книги)

Говорят, чужая душа потемки. Стало быть, своя душа – свет. Но кто может решиться утверждать, что он знает себя, знает свою душу, свой характер до конца, на что способен в экстремальных условиях?

Может быть, старик Сократ зря сказал: «Познай себя»?

Про войну надо писать не о тех, кто громче всех кричал «Ура!», а про тех, кто молча выполнял своё солдатское дело. Казаться и быть – не одно и то же. Мы приходим в тупик, погружаемся в шок, когда уверены в одном, а встречаем совсем другое. В этом повествовании автор намерен говорить о неожиданном, парадоксальном, таинственном. Не только о том, в чем он уверен, но и о том, в чем сомневается.

Наверняка, в чем-то ошибаюсь, потому что честно признаюсь: я пристрастен.

АУРА АБСОЛЮТА

Любое литературное произведение можно начать со слов: «В Библии сказано». Все, о чем пойдет речь, давно сказано в Библии. Легенда о Древе Познания мною до сих пор не осмыслена, как следует быть. Но я чувствую: стою у двери, за которой империя познания. А за ней много неожиданностей. Много дорог и троп, ведущих к дуплам загадок. И уже в преддверии с ужасом начинаю понимать, что литература – вуз преступлений. По книгам можно научиться всему – и хорошему, и плохому. Если идти от обратного, то позитивное всегда может указать путь к негативному. Хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто посмеет утверждать: «Моя душа светла и чиста. Себя я не боюсь, знаю, как поведу в экстремальных условиях». Понятно, такие люди найдутся, только они заставят сразу усомниться в их искренности и честности. Мне довелось встречать людей, которые утверждали, что для них не существует никакой таинственности. Законы мироздания для них полностью понятны и элементарны.

Много лет я ищу истину Магического искусства.

Истина почти как Абсолют, как Мировая Идея – проста. Но до простоты в искусстве всегда приходят через усложнения. Потому что она всегда под носом, и ее, как очки, не заметно. Причем те, кто ее знает, о ней молчат. Молчат именно потому, что занимаются Магией. Ведь притягательность Магии – секрет, который содержит тайну. А те, кто думает, что знает Магическую Истину, запутывают следы, ходят вокруг да около, мудрствуют лукаво; искусство превращают в наукообразность. В науке же, как правило, от простого явления – к сложному, в искусстве – наоборот. Магию я чистосердечно причисляю к искусству, а не к науке.

Ныне, когда широко распространилось разочарование в общественных ценностях, когда дозволено всё (снят запрет с кошунства!), появилось множество разных школ, сект, течений, направлений. Ранее эзотерические (тайные) общества, такие как «Масонская Ложа», становятся экзотерическими (доступными всякому). Люди кинулись изучать чуждаемые религии, не познав своей. Начали искать и делать себе кумиров, пророков, преклоняясь перед идеологией сумасшедшего Ницше, создавать сверхчеловеков. Радужно расцвело идолопоклонство. Стало модным кликушество. Шарлатаны фокусные трюки наловчились выдавать за проявление гениальности. Появился сонм экстрасенсов (мнимых).

Ожил Сатанизм. Многие жадно бросились изучать оккультные науки. ОККУЛЬТИЗМ взамен прочих предлагает себя в роли кумира. Увы, как это ни парадоксально. Многих обитателей Земного шара его концепция греет. Это достижение «высшей ступени» сознания и нового видения мира. Оккультизм ближе всего к гиллозизму (всеобщая одушевленность материи) и пантеизму, а стало быть, к спинозизму. Все это достойно сомнения и многое элементарно объяснено.

Любое течение – культовое, идеологическое, социальное, политическое – всякая тропа по узкому коридору приводит в никуда. Свет в конце туннеля, оказывается, не факел, а Фата-Моргана – мираж. И человек всегда становится зависимым. Ища свободу, он попадает в неволю: его, как стены, как пол, как потолок, окружает страх. Привыкший подчиняться правилам, законам, повелителям, но не прозревший, он оказывается в панцире своего обожаемого эго. Ведь фактически перед ним открывается не дверь к его цели, а бесконечность, повергающая в шок, в панику. Этот страх отчуждает его от воли. Наступает паралич, акнезия – невозможность произвольных движений, стремление к цели – это действие, при достижении цели кончается и действие, нет столпа (перста, указывающего цель), нет подталкивателя, нет руководите-

ля, нет стимула. Остается одно – небытие. Естественное влечение человека – к воле, но зачастую волю люди путают с биологическим анархизмом. Они ментально не могут провести аналогию: человек волен сунуть руку в огонь и держать, сколько заблагорассудится, прыгнуть с высокой скалы на торчащие острые камни. Это тоже акт его воли.

Красивая и благородная цель магических объединений – учить человека внутренней свободе. Учить раскрепощению, любви к правде, любви к ближнему и дальнему, любви к жизни, всем ее формам, уважению к политеистам, вежливо не отвергающим ни одну религию, ни одну теорию. И самое важное – умение владеть собой. Их толерантность – суть уважение и свобода. Некогда это все относили к натурфилософии или к натуральной магии. Если принять во внимание, что когда-то математику относили к магии, а иероглифы и по сию пору кое-где относят к магическим знакам, то с магии надо содрать ветхий плащ непостижимости.

Магам непристойно бояться диалога с космополитами. Понимать людей любого вероисповедания, всякого мировоззрения. Обмениваться знаками.

Так или иначе, все эти, фигурально выражаясь, диаспоры основаны на вере. На вере держится и духовность человека. Во что он поверит – за тем и пойдет, будет отстаивать и защищать.

Во все времена существовали и будут существовать чудеса. Но существовать они будут до тех пор, пока человек в них верит. Пока человек во что-то верит, он будет активным.

Активные люди в большинстве своем любознательны.

Духовность человека нуждается в вере (во что хотите). Изначала духовности в удивлении. Известное Аристотелевское: «Философия начинается с удивления» подхвачено и разъяснено М. Монтенем: «В начале всякой философии лежит удивление, ее развитием является исследование, ее концом – незнание». Писатель Вардван Варжапетян изрекает: «Без удивления нет познания. А без познания не было бы ничего – ни круга, ни плуга, ни письменности, ни дома, ни корабля». Расул Гамзатов вслед за своим учителем поэтом Владимиром Котовым восклицает: «Не разучиться удивляться!». Скульптор Вера Мухина, автор скульптуры «Рабочий и колхозница», в преклонном возрасте утверждала: «Я остаюсь художником потому, что умею удивляться, как ребенок».

Ритуальное действо, не привлекающее внимания, не вызывающее удивления, мистического поклонения или страха, – это что угодно, но только не Магия.

Ограниченный, злой, жестокий человек зачастую страдает, не осознавая, – оттого, что у него утрачено

чувство удивления. А если он патологически жесток – он никогда не найдет в себе силы изменить себя в лучшую сторону. Он обречен. И Магии для него не существует – ни ритуальной, ни прикладной, ни бытовой. Магия – это то, что воздействует не на разум, но на чувство. Композитор Тихон Хренников сказал: «Музыка – это Великое Магическое искусство». И это выражение отнюдь не фигуральное.

В конце семидесятых годов на станции Решоты Красноярского края администратор филармонии Вячеслав Коледа с юморной «подначкой» пригласил меня в парикмахерскую, находящуюся при входе в гостиницу: «Вот дядя Ваня говорит, что его ничем удивить нельзя». Этот «дядя» отсидел в лагерях 29 лет. Душотница, все ходят в маечках, а дядя Ваня в черном костюме при галстук, чисто выбрит, волосы набриолилены. В его салоне ни одного посетителя. Когда у меня в руках появились, потом исчезли монета, расческа и платок, дядя Ваня скривил рот: «А-а! Из рукава...». Засучив рукава, я повторил трюки. «Ничего интересного – гипноз»...

Подобную реакцию на фокусы впервые я встретил в Читинской психбольнице, выступая перед врачами.

Люди сначала обращаются к искусству, затем идут в храм божества; в предпоследнюю очередь к психотерапевту, экстрасенсу, целителю. И уж в самую последнюю очередь – к Учителю. Есть понятие – главный учитель (по-индийски гуру): он у человека один. И есть учителя – их много. Учителем может оказаться и малограмотный сосед, давший вам дельный и полезный совет, и если вы ему поверите, вы воспользуетесь этим советом; не поверите – нет. Засомневайтесь – решитесь на эксперимент. То есть станете активным. На сомнении держится и искусство магии, и легче внедряется психологическая установка.

Человеку всегда хочется снять с себя тяжелый груз отрицательных эмоций, избавиться от навязчивых идей, страшных снов, болезни неведения. Тогда учителю предстоит открыть ему не столько глаза, сколько внутренний взор на истинную сущность его противоречий, дискомфорта, разбалансированности в его существовании. Ученик не обязан считать учителя кумиром, ибо сотворивший кумира – слепнет. Учитель – это попутчик и лоцман в океане жизненных ситуаций и коллизий.

Но суть в том, что это «открытие» никто, кроме самого человека, сделать не сможет. Его следует научить, как совершить это открытие самому в... себе.

«Кто царствует внутри самого себя и управляет своими страстями, желаниями и опасениями, тот более чем царь», – так решил английский поэт и политический деятель Джон Милтон.

Можно учить годами, и Озарения не произойдет... Ведь знания можно как бы накачать насильно (с болью, через лень, кнутом) в мозг, в сознание человека, а можно эти же знания с удовольствием через любознательность сладко всосать в себя, как говорят, с молоком матери, что и становится истинным умением. В умелом человеке еще древние подразумевали умного человека. Но невозможно его путать с человеком ловким: «Ловкость» – от умения ловить. Ловить момент – корыстно воспользоваться им. Не зря ловкачей, хитрецов, наглецов в глубинках называли умными людьми, людьми, умеющими жить.

Любое учение может внедриться в слушателя, если он поверит в доктрину учителя, настроится на его волну, включится в его резонанс. И поймет. Не словесно, а образно. Но поймет он – поверив. И только поверив. Поверив далее в такие, с нашей точки зрения, чудовищно-бесчеловечные сентенции, как «Аум Сенрике» (Возвышенная истина), как «Белое Братство», миссия Гробового и прочие.

Поверить легче – удивившись.

Смех исцеляет. Мало кто теперь с этим не согласится. Удивление тоже исцеляет, но... в сотни раз эффективнее. Чувство удивления доступно многим, но дар организовывать магию чудес дан избранным. Постигающий азы магии новичок начинает обретать себя – спящего в себе. Начинает раскрывать резервные силы свои, становится творцом. В первую очередь творцом самого себя. Но, занимаясь таким ликбезом самостоятельно, он рискует попасть в это неприличное место – впросак. Магия – с виду безобидное дело, на самом деле рискованное занятие. Отец Александр Мень, беседуя с экстрасенсами и целителями, предупреждал, что Бог не случайно скрыл от человека некой завесой мир тонких материй. Работа с тонкими энергиями требует большой осторожности и может принести вред и несчастье не только пациенту, самому целителю, но и его близким.

Поэтому, уважаемый читатель, я напросился к вам в попутчики на время чтения сего опуса и вместе с вами отправляюсь в дальние и ближние зарубежья нашего понятия «попутные размышления о невероятном, но очевидном». Мы стоим у стены, за которой потемки – потемки души.

Давайте не будем называть наше, как еще недавно выражались, «мероприятие» семинаром, сеансом, брифингом и прочими модными словами. Пусть это будут **ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ** в пути, не похожие одна на другую, но попутно связанные одной нитью. У вас есть великолепная возможность спорить со мной, возражать, доказывать, высмеивать.

Я же буду лишен права на возражение и отповедь. Ведь вы умнее меня – по-своему. Вы знаете то, в чем я еще неуч. Но, рассуждая, мы будем с вами учиться. Учиться чему-то, чего мы еще не знаем. Вот вы же еще не знаете, что я дальше скажу, а я не знаю, как отреагируете вы.

Но я уже предопределяю ваш вопрос: а сам-то ты ков? Ответу: сам я не таков, каким можете стать вы, поняв мои догадки и предостережения, мои осознанные ошибки, острую нужду в покаянии. Не таков, ибо, как выражаются на Востоке, во мне живет несколько душ. Поясняю: фокусник, вентролог, менталист, гипнотизер, сочинитель, подельщик, композитор чудес, то есть придумщик фокусов. К тому же отец и муж. Я познал суть пьянства, падал в грязь, терпел неудачи, бывал погорельцем, не единожды смотрел в глаза смерти. Был довольно дурным руководителем-крикуном, добпорядочным служакой, недалеким человеком. Мой опыт стал грузом и багажом.

Когда-то был клоуном и куплетистом. Создавал на сцене образ Ленина (я его любил, любил и Сталина). Не брезговал эротикой и порнографией. Познавал женщин и ошибочно думал, что познал их. Неосознанно обижал детей и стариков. Подавал и не подавал нищим. Жалел и не жалел униженных. Испытал и провал на сцене, испытал и триумф побед, и обожание зрителей. Взлеты и падения, радость и разочарования – все это помогло мне подойти ближе к Магической Истине.

У меня есть много секретов, обладаю несколькими тайнами, посвящен в таинства.

У всех чудодеев во все времена были реквизиты – вещи, которые приковывали внимание зрителей, пациентов и служили им подспорьем. Служили «вспомогательными» средствами. Шпаги, кинжалы, ножи, шило. А также уголь, огонь, сучок, вода, монета, сахар, соль. И самый таинственный реквизит – карты.

О месте появления игральных карт суждения самые противоречивые. Одни утверждают, что карты появились в Древнем Китае. Средневековые мистики, проникая в магические тайны, пришли к выводу, что карты создал древнеегипетский бог Тот. Он же изобрел календарь, что и совместил с картами. Четыре масти – это четыре времени года. Пики – весна, бубны – лето, трефы – осень и черви – зима. А вот 54 карты в колоде – 54 недели в году; 364 очка в колоде – 365 дней в году. Разница небольшая.

В храмах Древнего Египта в течение нескольких тысячелетий велись записи событий в так называемых «анналах Тота». Позднее при осмыслении этих записей сложилась система предсказаний по четырём стихиям – первоэлементам мироздания (огню, воде,

воздуху и земле). Они нашли отображение в четырех карточных мастях. Что очень важно в магических гаданиях, в предсказаниях, предопределениях.

В начале же инструментом ворожбы были четыре фишки – зеленая, желтая, голубая и красная.

Французская королева Мария Медичи изобрела рубашку для карт, отчего они стали еще таинственней. Игральные карты обладают таинственной аурой.

Какое понятие мы придаем ауре?

Состояние, предшествующее мигрени, истерии, эпилепсии. А также чувство онемения, обдувания ветерка, звон в ушах – все это АУРА. Каждый предмет имеет аuru. По-гречески аура – это дуновение ветерка. Все может иметь влияние на все. Элементарный пример. Поставьте рядом два стакана, один с холодной водой, другой – с горячей. Они немедленно начнут обмениваться температурой. От холодного пойдут холодные волны, от горячего – наоборот. Запахи, температура, свет и цвет, невидимые излучения, звуки, не воспринимаемые человеческим ухом, действуют на нас независимо от того, ощущаем мы их или не ощущаем. Коли есть магнитное поле, стало быть, есть и поле запахов, поле цвета и света. Отсюда – не может не быть биологического поля. Того пространства, на которое воздействует биологический объект или субъект, и действителен он по мере досягаемости: звуковых, световых, запаховых волн. А также волн, о которых не прекращаются споры, – излучаемых живым организмом. Термин «биополе» был введен лишь в прошлом веке ученым, фамилия которого в моей памяти не сохранилась.

Стало быть, все на свете для нас что-то значит. Каждый предмет – знак. Нам остается читать эти знаки и ориентироваться в мире. Китайский философ Конфуций (правитель Китая Кун-Цзы) выразился: «Знаки управляют миром». Знаки несут либо успокоение, выздоровление, удовольствие, либо болезнь, неприятность, дискомфорт, страшное предзнаменование. Но побуждают к действию: вызывают желания, страсти. Страсти бывают здоровые и нездоровые. Даже такой безобидный вид проявлений, как коллекционирование... Это не работа, скорее игра. Заядлые коллекционеры зачастую страдают kleptomанией (воровство). Знают, что безнравственно и все-таки совершают эти неблагоприятные поступки – скрытно присваивают чужое. Это трудноизлечимая болезнь. Любители музыки отличаются от меломанов тем, что могут на какое-то время прерывать с музыкой связь. Kleptomания, меломания, пиромания (страсть к поджиганию), наркомания, эротомания, балетомания, графомания. Все «мании» – за пределами психической нормы. Хотя не все

можно отнести к болезням. Скажем, у тех же меломанов страсть доходит до оргиастических истступлений. Выйдя из состояния транса, человек ведет нормальный образ жизни, он трудоспособен. Но у некоторых это болезненное пристрастие, развившееся на психопатической почве, вплоть до помешательства – это уже болезнь, потеря трудоспособности. Патологические лентяи – это люди больные. В природе человека заложена потребность в игре и труде. Одни не могут существовать без игры, другие – без работы. Работоман не живет нормальной жизнью. Он «трудяга». И все, что упускает в жизни: создание семьи, воспитание потомства, он сваливает на то, что его обязанность – добывание хлеба насущного. Это коллекционер Похвальных Грамот. Патологическая скромность – не менее опасная болезнь, чем все остальные. Заядлые азартники и безрассудные работоманы, или еще их называют «трудоголики», надо признать, не совсем здоровые люди.

Человеку полезно время от времени менять род своих занятий. И отдыхать. Если человек хочет прожить интересную жизнь, он должен иметь представление о многом, но хорошо уметь делать что-то одно и об этом «одном» знать все. Аура абсолюта – это аура его интересов. Широта и глубина познания мироздания – удел философов. И каждый в своем деле тоже должен быть философом (любомудром). Когда кончаются интересы – исчезает цель жизни, ставится под сомнение и существование. Мне бы хотелось, чтобы слову «магия» мистического значения не придавали, подразумевали бы «могу», «могущество». Самое благородное могущество – это величие мысли. В свое время, как уже здесь упоминалось, математику относили к магии.

Мания величия и паранойя, если этими недугами страдает глава государства, приносит боль и страдания целой державе. Боль – это резкое чувство опасности для здоровья и жизни.

Буддизм утверждает, что наивысшего знания можно достичь с помощью медитации, можно научиться понимать и читать чужие мысли, понимать все языки, знать свои и чужие прошлые жизни. Возможно научиться освобождаться от всех желаний. На санскрите это называется АБХИДЖНЯ.

Должен не согласиться: читать чужие мысли – все одно, что ладонью зачерпнуть целую речку. Угадать желание можно, можно узнать, о чем человек думает. Предсказать его поступок.

Всякий может вспомнить. Вот к вам пришел человек, и вы уже чувствуете, скажет ли вам радость или дурную весть принес. Многие интуитивно чувствуют, добрый перед ним человек или злой, злой или недале-

кий. Многие обладают предчувствием хороших и плохих событий.

Знать все невозможно, да и ни к чему. Много знающие эрудиты зачастую – мало умеющие. Вундеркинизм, на мой взгляд, – это плохое явление. Быстрое приближение к старости и смерти. Тем более, насильственный вундеркинизм, искусственно «выстроенный» тиранией тщеславных родителей с помощью розог. Ребенку опасно пропускать период детских игр. Это естественная пора не только человека, но и всех млекопитающих. Игра. Игры могут быть и любимыми, и азартными. Игра для нормального человека полезна. Один умный человек советовал: «Страшись не физической старости, а духовной». Марк Твен уточнял: работа – это то, что человек обязан делать, а игра – то, что он делать не обязан». Русская пословица: «Делу – время, потехе – час» глубоко верна. Бездельнику, занимающемуся только потехой, жизнь становится неинтересной: ведь все в конце концов надоедает. У одаренных людей широк круг интересов, они любознательны, деятельны. Смело идут на риск, делают много ошибок. И учатся на своих ошибках. Испытав огорчения, они верят в успех.

Из всего сказанного, думаю, придет понимание, что на человека действует абсолютно все. И ему, сообразуясь со своей совестью, следует разумно пользоваться силами природы. У человека широкий выбор, ему стоит лишь понять, чего хочется и что для него важно.

Любой предмет, живой или не живой, имеет свою рефлексию, которую можно воспринимать как визуальную, так и умозрительно.

Каждый человек имеет возможность прожить интересную жизнь. Каждый – потенциальный маг в реалистическом понимании этого слова. Человек способен вызвать покраснение или бледность другого человека. Стало быть, он влияет не физически, а чисто духовно. Любой учитель – это маг. Так что выискивание сучков и задиринок в этом деле бесперспективно.

Подводя итог сказанному, должен заключить: все влияет на все, но только степень влияния решительно разная. Все, что создано природой и человеком, требует пристального внимания.

Абсолют – нечто эфемерное, бестелесное. Это знак, который следовало бы нарушить, но который нарушить невозможно.

Ко всем явлениям жизни и природы следует относиться с почтением и решения принимать, взвешивая все «за» и «против». Осторожно относиться к тем людям, которые доказывают свою правоту с пеной у рта. Так поступают только очень ограниченные, недалекие люди. Они кричат, якобы спасая вас. Это не всегда так. «Поросятину любит хозяин, потому поросенку и честь». Если его это не тычет иголками под мягкое место, так зачем он «орет»? Кричат потому, что спокойно не могут доказать. В это время у крикунов чешутся кулаки. И когда большее число крикунов поймет это, жить будет спокойнее, веселее. Молодому человеку надо поучиться влиять, т. е. проводить свои идеи в быт спокойно. Злые маги – это неумные чародеи. Добрый – он внимательный, и всегда начинает отмечать и описывать реалии. Слушающий его – соглашаться. И тогда маг незаметно подсовывает частичку своей идеи. Она принимается очень просто, пригревается и становится уже идеей того, кто слушает. Это суггестия.

108 Язык – это способ обмена знаками. Уверен, любой человек, начинающий медитировать, т. е. размышлять, углубляться в свое существо, может научиться понимать все языки. Языки природы живой и неживой. Языки животных, рыб и птиц. Только человеку надо сразу усвоить, что иной язык отличается от языка человека. Человек может понять язык животных в том пределе, который требуется. Разве хозяин не понимает собаку, когда она хочет есть, пить, гулять? Но понимает ли лесовод, что нужно данному ареалу?

Вывод: в ауру надо поверить и научиться читать ее. И тогда человек поймет, что окружать себя людьми интересными намного выгодней, чем полезными.

г. Кемерово



**Татьяна
ЭМИХ**

КАПЛЯ ЧЕРНИЛ

(художественно-публицистические
миниатюры)

ХАЛЯВА, СЭР!

Во Дворце спорта Кузнецких металлургов проходит очередная Кузбасская ярмарка по теме «Продовольственный маркетинг. Торговля и сервисное обслуживание». Народ бежит от стенда к стенду, таращась на чудо-торты, веерную нарезку колбасы и потрясающие своими размерами булочки. Впереди меня шагает молодой высокий парень в приличном костюме и со стильной стрижкой. Слева прилавок с колбасами не ближнего производства. Молодой человек подходит к нему.

— Добрый день, я представитель развивающейся автотранспортной компании. Разрешите полюбопытствовать, вы к нам на чём свою продукцию поставляете?

Слово за слово. Парня нагружают визитками, рекламными буклетами, календариками, фирменными ручками и, конечно же, угощают колбаской. Улыбаясь и благодаря, он переходит на правую сторону, где расположились продавцы всевозможных сортов пива.

— Здравствуйте. Я из Прокопьевска, вот намерен открыть пивной бар. Скажите, а вы как с иногородними клиентами работаете?

Затеваются разговор, в процессе которого парень пробует все выставленные сорта пива, получает в подарок («компаньонам на пробу») пару бутылочек и уходит.

Следуя за молодым человеком чуть поодаль, я наблюдала, как он по очереди превращался в торговца мукой, в менеджера готовящегося к открытию магазина, в сотрудника хладокомбината. Видимо, для того чтобы не почували обман, всегда доверительно сообщал, что «пока дилетант, вы уж извините» и «нуждаюсь в профессиональном совете». Очаровательная мальчишеская улыбка не сходила с его лица. Парня всюду встречали с распростертыми объятиями, угощали продукцией, дарили ручки, фирменные пакеты, футболки, блокноты и прочее, прочее.

Из Дворца спорта мы вышли одновременно. Руки обогатистого парнишки оттягивали два больших пакета. Завернув за угол, он остановился и некоторое время рассматривал то, чем его одарили на ярмарке. Потом выбросил рекламные проспекты в ближайшую урну и пошел на остановку. Довольный-ый!

В составе длинной очереди подхожу к кассе «Универсала». Стоящий передо мной мужчина протягивает кассирше пятисотку. У той нет сдачи, она все отдала предыдущему покупателю, здоровому парню лет двадцати пяти. Мужчина смотрит на меня вопросительно, я пожимаю плечами. Тогда он обращается к парню, сосредоточенно складывающему покупки в пакет.

— Сударь, вы не разменяете?

Дернувшись как от удара, тот поднимает голову. Глаза внимательные и настороженные. Прищурившись, он переводит взгляд с мужчины на купюру и обратно, стойка почти как перед ударом в челюсть. Соображает. Потом в его глазах что-то мелькает, тело расслабляется, видно, вспомнился какой-то непропущенный урок литературы в младших классах. Отрицательно качает головой и, схватив пакет, рвется к выходу.

— Испугали вы его, — говорю я мужчине. — Он и слов-то таких не знает.

— Ну, а как же теперь обращаться к людям? — с пафосом говорит мой собеседник. — Слов много, но лексические оттенки у всех разные! Вы же понимаете?

Очередь, ошеломленная «оттенками», замирает.

— Товарищ теперь не соответствует нынешнему государственному устройству. У «дамы и господа» такой оттенок, что мое комсомольское прошлое начинает протестовать. А вот «сударь» мне нравится, — и обращаясь к кассирше: — А вам, сударыня?

Кассирша, которая в это время пыталась наскрести сдачу, от неожиданности роняет деньги. Впрочем, улыбка на ее лице свидетельствует, что такие «лексические оттенки» ей нравятся.

И в самом деле, чем плохо?

АННА КАРЕНИНА

Наш трамвай неспешно ехал по окраине города. Вдруг вагон затормозил, и из динамиков раздался голос водителя, обращавшегося к кондуктору:

— Надя, слушай, выйди, сгони эту придурочную бабу. Гадина, второй раз за неделю мне попадается.

Средняя дверь открылась, кондуктор тяжело спустилась по ступенькам и пошла вперед трамвая. Пассажиры, сгрудившись у открытой двери, выглянули в проем. Там, где-то метров за десять от вагона, поперек рельсов лежала женщина. Пегие, когда-то обесцвеченные волосы стянуты резинкой. На желтом лице следы побоев. На ней было изгаданное грязью и известкой темное трикотинное платье, которое лет двадцать назад считалось модным. На ногах резиновые сапоги. Бог знает, какого она была возраста.

Кондуктор, пожилая и грузная женщина, матерясь, стала за плечи стаскивать бабенку с путей. Та, ухватившись руками за рельсы и что-то бессвязно выкрикивая, сопротивлялась. Наконец «посторонний предмет» удалось спих-

нуть в канаву. Погрозив вслед кулаком, кондукторша вернулась в вагон.

– Вот дрянь! Пьяная в дугу, а тоже, Анна Каренина выискалась. «Жить не хочу!» И тут же денег просит, а кому-то потом из-за такой в тюрьму идти.

Трамвай тронулся и поехал мимо канавы. Женщина, услышав шум, приподнялась. Лицо бессмысленное, глаза невидящие...

– Она же через три дома от нас живет у старика-инвалида, то ли родственница, то ли приживалка, – зашептались две немолодые женщины. – И ведь её действительно Анькой зовут. Ну, не смешно?

Да уж куда смешнее.

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ

На крыльце большой новой школы столпотворение. Только что закончилась первая смена, и с высоких ступенек горохом сыпятся ребятишки, нагруженные рюкзаками. Из дверей быстрым шагом выходит нарядная, но явно рассерженная женщина. Она тащит за руку парнишку лет десяти.

– Это что такое, а? Я вчера столько времени убила на твои правила. Ты же все выучил! Ну, чем проверяют безударные гласные?

– Ударением, – уныло произносит мальчик.

– Тогда почему у тебя слово «ворует» написано через «а»?! Это же надо, «сорока часто «варует» блестящие вещи»!

Мальчик молчит.

– Какое проверочное слово?

В ответ опять молчание. Они подходят к машине. Маша заталкивает сына на заднее сидение автомобиля и громким, четким голосом говорит:

– Вор! Запомни. Вор – это тот, кто ворует. Пишется через «о».

Они уезжают, а я думаю, что, может быть, это не так уж и плохо, что ребенок пока не знает, как пишется «ворует»?

ДРОГНУЛ

В администрации города под руководством одного из заместителей главы проходит скучнейшее совещание. В поисках мало-мальски заметных событий в зале присутствуют корреспонденты нескольких газет из всех трех телекомпаний Новокузнецка. Журналисты подавляют зевки, операторы в надежде запечатлеть движение на сонных лицах время от времени снимают сидящих в зале. На телевизионном языке – «набивают картинку».

Вдруг заместитель, до сих пор спокойно выслушивавший подчиненных, начинает раздражаться. Последний ответчик путается «в показаниях» и мямлит. Зам повышает голос. Операторы двух телекомпаний моментально разворачивают камеры. Ну, хоть что-то живое! Третий не реагирует и продолжает «набивать картинку».

Чиновник сердится все больше. Он, потрясая записями, говорит о дармоедах, которые ни за что получают зарплату. Третий оператор по-прежнему снимает слушателей. Его журналист, сидящий в последнем ряду, начинает показывать руками, что надо повернуть камеру. Жестикуляцию не замечают. Тогда по залу проносится сдавленный шепот: «Повернись!» Реакции нет. Шепот становится громче. Оборачиваются слушатели, а оператор непонимающе всматривается в журналиста. В дело включаются сидящие в последних рядах, они машут руками и не в такт скандируют: «По-вер-нись! По-вер-нись!»

Зам прерывает разнос и заинтересованно наблюдает происходящее в зале. И тут до оператора наконец «доходит». Он направляет видеокамеру на чиновника... а тот молчит! Незадачливый оператор в отчаянье: «Упустил момент! Раззява!» И тут чиновник, всегда отличавшийся стабильно негативным отношением к прессе, дрогнул. Он снова взял записи, потряс ими в воздухе и произнес несколько прочувствованных фраз о разгильдяях.

Вечером все телекомпании города показали сюжет о строгом заместителе главы города, устроившем разнос своим подчиненным. Но только в одном из выпусков новостей было видно, что при этом глаза чиновника смеялись.

ЭКОНОМИЯ

Длиннющий кабинет в центральной городской стоматологии. Несколько нервничающих пациентов, в том числе и я, замерли в креслах. Рядом охает бабулька, у которой уже нет сил терпеть боль. Но на новокаин у неё аллергия, а от другого обезболивающего укола она отказывается.

– Бабушка, – говорит молоденькая врачиха, – нам зуб лечить надо?

– Надо, – невнятно бормочет старушка.

– Ну, а как же его лечить, если вы кричите и рот все время закрываете? Давайте укольчик сделаем, на который аллергии нет.

Старушка отрицательно мотает головой. Врач вздыхает и берется за инструменты. Через полминуты снова слышу рядом душераздирающие стоны, удрученные возгласы стоматолога и уговоры сделать обезболивающий укол. Ответ опять отрицательный, но с пояснением: «Денег нет!» Когда у сидящих в кабинете созрела мысль, а не сброситься ли на укол для бабульки, экзекуция наконец-то прекращается. Бледная старушка еле ползет к выходу, не менее бледная стоматолог тоже уходит из кабинета. «Валерианку пошла пить», – общее мнение свидетелей лечения.

Через полчаса я увидела эту же бабушку в соседнем магазине. Она выбирала конфеты: «К внукам пойду, а они любят, чтобы шоколаду было побольше, и с вафельками. Вот этих тоже двести грамм положите!»

Как дорого, однако, обходятся конфеты для внуков...

г. Новокузнецк

Из материалов газеты «Комсомолец Кузбасса»
от 15 июня 1962 года

Г. МОЛОСТНОВ, писатель КУЗБАСС ЗОВЕТ!

Секретариат Союза писателей РСФСР принял решение создать в Кемеровской области отделение Союза писателей. Это, бесспорно, большое событие в культурной жизни Кузбасса.

Хочется в связи с этим подумать о том, чем жили и чем будут жить наши писательские силы. В самом деле, были литературные группы, объединения и вдруг – отделение! Тут и признание, тут и обязанности, тут и задачи, заботы. Их надо оправдывать и оправдать.

У всего есть начало, есть оно и у нашей писательской организации. Я, например, помню его с послевоенных лет – с сорок седьмого года, а по рассказам – несколько раньше.

...В осинниковскую городскую газету пришел молодой, крепкий парень, полный неумных сил жизни. Спорщик и бунтарь. Он написал несколько очерков и зарисовок, и его «заметили» – получается у парня! Речь идет об Александре Волошине, очерк которого об истории и жизни Осинниковского рудника постепенно «распух» до романа «Земля Кузнецкая», удостоенного Государственной премии.

«Земля Кузнецкая» – это то основание, на которое потом ложились «кирпичи» и «кирпичики» – произведения других авторов.

Писательский труд всегда сложен и труден. Говорят: дорогу осилит идущий. Но только «идти в литературу» недостаточно. Кроме дарования, необходимо предельное напряжение сил, постоянные поиски, постоянное горение, муки. Поэтому многие не выдерживают, уходят. И все-таки с нами рука об руку сейчас идет большая группа молодых литераторов, работа с которыми ляжет в основу деятельности отделения Союза.

У нас в области уже насчитывается до двух десятков авторов, издавших по одной, по две и более книг. Среди них Виталий Рехлов, Александр Пинаев, Софрон Тотыш, Федор Чиспияков, Гарий Немченко, Геннадий Емельянов, Анатолий Соболев, Иван Лушкин, Василий Афанасьев, Зинаида Чигарева. Кроме этого, многие начинающие авторы готовят к изданию свои первые произведения.

Хочется особо отметить юношески чистые повести Виталия Рехлова «Михаил Волков» и «Горные рекруты». Нельзя не оценить трудную работу Ивана Лушкина над романом, принятым сейчас московским издательством «Советская Россия». Первое произведение Анатолия Соболева «Чайки над морем» дает право сказать, что перед нами способный автор. Его повесть включена в план Кемеровского издательства на 1963 год. Геннадий Емельянов и Гарий Немченко издали книгу очерков и рассказов о жизни, труде и победах молодых строителей Запсиба. Удача окрылила их. Сегодня они «разошлись», и каждый отдельно работает над новым произведением. Займет свое место среди книг о Кузбассе роман бывшего военного летчика Владимира Ворошилова «Солнце светит снова».

Для того чтобы испытать творческие силы, высоко порадоваться, поболеть, помучиться, каждому автору не нужны никакие творческие командировки за пределы области. Кузбасс сам по себе неисчерпаем. Жизнь трудовая, ее конфликты, борьба – все это рядом, вокруг нас. Стоит только, как говорится, протянуть руку – и почувствуешь другую – теплую мозолистую руку – и перед тобой раскроются тысячи жарких душ!

Строилась железная дорога Новокузнецк – Абакан. Мы читали информационные заметки, редко – очерки. Читали, как в лютые морозы не отступали строители, читали о красотах и суровости тайги, о том, как прорезались скалистые горы. Читали... но больше о нормах и процентах, о километраже и человеко-часах. Потом появились «Красная Горка» Евгения Буравлева и повесть Владимира Мазаева «Конец Лосиног Камня».

Теперь гремит ударная комсомольская стройка Западно-Сибирского, достраиваются Томь-Усинская ГРЭС, шахты и Томь-Усинские разрезы. Кто же из литераторов взялся или собирается взяться за то, чтобы показать героев и героиню нашихстроек?

А кадровый горняк, человек, больше чем полжизни проведенный под землей, для того чтобы советским людям тепло и светло жилось на земле, где он? Сегодняшняя жизнь его не исчерпывается «Землей Кузнецкой» А. Волошина и «Голубыми огнями» Г. Молостного. Нужны десятки книг, напряженный труд всех литературных сил области!

Нужно пробовать перо на трудном, нужно искать и искать образ нашего шахтера. А шахтерская семья, в которой все – горняки: и дед, и отец, и сыновья, – разве это не тема? Романов и пове-

75 лет Союзу писателей Кузбасса

стей заслуживают такие бригады, как на «Чертинской-Южной» – Николая Малютина, которую поблагодарил недавно Никита Сергеевич.

Темы, конфликты, борьба и победы – то, чем полон Кузнецкий бассейн, – можно перечислять без конца. Они неисчерпаемы. Как сама жизнь. Речь идет о том, чтобы литераторы области не только приблизились, но взяли бы их в свои сердца, «заболели» ими.

Хочется верить – да и нельзя не верить, – что о Кузбассе будет написано много хороших книг. Во весь свой богатырский рост поднимется в них человек с мозолистыми руками, с лицом, черным от угольной пыли, и со светлым, горячим сердцем. В них будет любовь и разлука, участие к человеку и непримиримость к плохому. В них будет борьба за то высокое, человеческое, что вложили в свои прекрасные книги наши русские классики.

Александр ВОЛОШИН

Все, что пишу умением сердца, – о родной земле, о людях ее. Жизнь убеждает меня в одной радостной и горьковатой для личной судьбы истине: придет и на нашу землю парень с могучим голосом – на наши сто тысяч квадратных километров – лесов, непроложенных дорог и дорог асфальтовых, на все наше великолепие гор и лесов.

...Закончил трилогию из повестей о Кузнецкой земле. Завершается работа над третьим романом. Земля, ее люди вправе обижаться на своего авто-

ра: мало пишу. Ну что ж, я постараюсь оправдать ваше доверие, дорогие мои читатели.

А теперь хочется высказать свои пожелания. Очень хочется, чтобы в полный голос запели наши молодые поэты Виктор Баянов, Владимир Матвеев, Геннадий Юров и другие. Хочется, чтобы больше хороших книг написал Виталий Рехлов...

Думается, что на зажженный литературный огонек придут способные силы. Пора земле Кузнецкой запеть свои песни, она имеет на это право!

Евгений БУРАВЛЕВ

По-честному, – наконец-то, с созданием отделения писателей станет на ноги наша пишущая молодежь. Ведь нужна ей помощь, и какая помощь! А «корифеи» наши литературные – те, конечно, уже вышли на дорогу...

О молодых... Чертовски хочется, чтобы в ближайшее время появилось много книжек поэтов и прозаиков. Хочется думать, что во вновь созданном отделении будет меньше слов, а больше дела. А это мечта, поверьте, хорошая!

Об альманахе... Видели машину, которая идет ночью? Так вот, сзади у нее – маленькие сигнальные огоньки светят красно: осторожней на поворотах, а впереди – мощными прожекторами полыхают фары – далеко видно. Так вот, хочется, чтобы «Огни Кузбасса» не светили этими красными сигнальными огоньками, а полыхали вовсю! Светили, как те огни, что горят над Кузбассом по ночам.



Марина ЧЕРНОСКУТОВА

Пишет Вам Марина Чернукутова
(Картопольцева).

Так сложилась жизнь моя, что ушла в «подполье» на пять лет. Все это время писала стихи и прозу. Проза дается тяжело. Ничего пока выносить на суд не хочу. Есть черновики, но они мне самой не нравятся. Стихи, на мой взгляд, удачнее. Высылаю подборку. Если найдете её достойной публикации в «Огнях Кузбасса», буду признательна.

Работаю в Кузедеевском Доме детского творчества руководителем краеведческого клуба «Светозар». Никак не могу привыкнуть к Новокузнецку. Город моей юности — Кемерово. Там остались друзья, творческие интересы. Здесь до сих пор ни с кем не познакомилась. Тяжело вхожу в новый круг. Если честно, просто боюсь. Как примут? Что вообще можно сказать? Здравствуйте, я Марина Чернукутова? Смешно как-то. Я слишком неуклюжая среди незнакомых людей. Отношения на первых порах вообще никак не складываются. Именно этого первого времени и боюсь.

Сижу в Кузедееве, как в окопе. Читаю журналы областные и центральные, читаю книги, пишу, работаю и, наверное, потихоньку дичаю. Кстати, у «Огней Кузбасса» за последние два года, на мой взгляд, виден явный рост. В московских журналах «висяк» какой-то. То ли знакомых печатают, то ли писать нечего. Все грамотно, причесано, но скучно. Не цепляет. Говорю больше о поэзии, конечно.

У нас ребяташки искреннее пишут, с настроением, с нервом. Не все. Но часто удивляют. Лохмато часто. Порой неуклюже. Но, честное слово, прочесть, чего новенького написали Оля Тугова, или Илья Дик, или Саша Шихер, хочется. Сколько ни трачу денег на «Наш современник» и «Новый мир», увы, даже фамилии ни одной не остается. Очень понравились стихи Натальи Мурзиной. Мелодичные, красивые, оптимистичные. В общем, спасибо вам, старой гвардии, что сохраняете нашу литературу. Желаю творческих успехов.

С уважением, Марина Чернукутова.
25.11.05 г.

У КОСТРА

Настой росы и молока.
А над рекой туман молочный.
Кузнечик музыкой построчной
Пронзает звезды и века.
И все чуть-чуть, и все слегка.
И жест, и звук, и тон неточный.
И окунулся час полночный
В безумный танец мотылька.

ЭЛИКСИР

Кощей влюбился.
Но не в Василису.
И красть не стал возлюбленную. Даже
Не рвался к ней с цветами за кулисы.
Влюбился. Не до пакостей и блажи.

Кощей влюбился.
Чахнет не над златом.
Пробирки, колбы — к формуле
бессмертья.
Ругается в какой-то третий атом.
Ах, сколько страсти может быть
в скелете!

Часы на стену.
Экая удача —
Тик-так, тик-так, тик-так —
Презренно время меряет:
И ты, Кощей, считать секунды начал.
Они — не тьфу. Теперь почешешь череп.

Всесильный. Вечный.
Плачет. Дело худо.
Бессильна химия. А он твердит устало:
Отдам бессмертие. Как сделать
это чудо,
Чтобы Плисецкая бессмертно
танцевала?

* * *

Когда на надежду надежды нет,
И солнце валяется в грязной луже,

Июль февральским снегом простужен,
И ветер в стальную кольчугу одет,

Когда на надежду надежды нет,
Душа зашлась сумасшедшим смехом,
Тогда ни сума, ни тюрьма не помеха —
Здравствуй, моя свобода.

ЕСЛИ БЫ

Я работаю в школе учителем.
В деревенской школе — учителем.
Вчера мы ездили в город.
Смотрели в театре спектакль.
Потом по дороге к вокзалу
Спросила меня ученица,
Наивно и удивленно
Воскликнула семиклассница:
— Зачем у того автобуса
Какая-то штука на крыше?
А мимо звенел трамвайчик.
Обыкновенный трамвайчик
Весело перестукивал
По двадцать первому веку.
Знаю, конечно, что дома
Нет у девчонки дома.
Но чтоб до седьмого класса
Ни разу не видеть трамвая...
Всего в сорока километрах
Город от нашей деревни.
Как много в мире вопросов...
Я слышу, решает Гамлет:
Зачем у того автобуса
Какая-то штука на крыше?
На МКС проблемы —
Опять не идет стыковка:
Зачем у того автобуса
Какая-то штука на крыше?
Мне кажется, все сговорились
Меня довести до безумства.
Газеты, радио, теле
И Интернет лихорадит:
Зачем у того автобуса
Какая-то штука на крыше?

ГРАЖДАНИН ОГОРОДА

Душевный обморок на девять нищих лет.
И мразь: художник должен быть
голодным —
Крылатая, со взглядом подколотым,
Как нож в печенку...
Быть или не быть?

Я в эмиграции. В деревне. В огороде.
Ограды пограничные столбы.
Моя усадьба. Остальное — за граница.
Здесь Ватикан. Беда не достучится.
Я в танке, в гараже...
Или не быть?

Три сына-птенчика. Они не виноваты,
Что мать — поэт. И как ни тяжело,
Их нужно вырастить,
поставить на крыло...
И без вопросов.
Гамлет отдыхает.

И я живу. Учусь доить корову.
Кормилицу люблю и ненавижу.
Душа надорвалась — навывкат грыжа.
Корова это чувствует...
Вздыхает.

А Муза в коме. Выходить пытаюсь.
Глюкозы нет. Парное молоко.
Спокойно дышит. Ровно. Глубоко.
Все будет в норме —
Обещал Живаго.

А в телевизоре — Страна по трем
каналам.
Орет попсу под вой сирен и Думы.
Нефть делят новотолстосумы.
Я в эмиграции. Я в танке.
В гараже...

Но видит птенчиков моих
Страна-орлица.
Кровавые глаза военкомата.
Гражданский долг перед Страной,
ребята...
Откуда он у граждан
Огорода?

ПОДРУГЕ

*Я рисовала солнце,
А ты была отраженьем,
Лишь его отраженьем
На ледяной воде.*

*Я соловья рисовала,
А ты оказалась кукушкой,
Глухой, бездомной кукушкой,
Бескрылой для неба любви.*

*Я рисовала небо,
А ты рисовать боялась,
Ты даже взглянуть побоялась
Из тела в полет души.*

*Прости же за эти выси.
Крыльев у Бога не купишь,
Желанья лететь не купишь,
Когда не смеешь желать.*

*Прости за то, что ошиблась.
Ты в небо не собиралась,
Использовать собиралась,
Нужен был голубь-курьер.*

*А сердце ищет ласки
В туманной, сонной мгле.
Твой голос мне подсказка
В исканьях на земле.*

С РОЖДЕСТВОМ!

*С Рождеством, моя деревня!
Заметенные следы,
Трубный дым, уютный, древний
Да штакетные ряды.*

*Вижу, ты не суетлива,
Как и много лет назад.
Не меняется счастливо
Твой особенный уклад.*

*Дремлешь ты в сугробах спелых,
Нарумяненных зарёй,
Улыбаешься несмело
На поклон гостей скупой*

*И намёк на «край коровий».
Красота твоя проста.
В ней природное здоровье
И дыхание Христа.*

115

Юрий МИХАЙЛОВ

* * *

*От света — свет...
Работа неустанная
души бессонной
не напрасна, нет!
Звезда зажжётся,
новая, желанная.
От света — свет.*

* * *

*Мне нравится твой голос.
Ты трубку не клади.
Пускай в ней шепчет колос
И шелестят дожди,*

АПОКАЛИПСИС

*На склоне, где холодный камень
Подёрнут хилою травой,
В борьбе с ветрами и снегами
Кедр разветвился вековой.*

*Тугие корни, как питоны,
Трудятся в трещинах земных.
И слышатся глухие стоны
И шорохи сухие их.*

*Кедр устоял на тверди скальной,
Жизнь утвердив на долгий век.
Под ним дневал бунтарь опальный,
Молился божий человек.*

Но вот случайная ватага
Остановилась у корней.
Идёт по кругу хмелья фляга.
И все кричат: «Огня скорей!».

Шумит-гудит гульба слепая.
Задрался круто рыжий хвост.
Трещит хвоя, смола вскипает,
И пламя достаёт до звёзд.

г. Берёзовский

Эра паровозов миновала.
И уже, как видно, навсегда.
Я —

чтобы
душа
не
тосковала —
Разлюбил
ночные
поезда...

* * *

Игорь ИВАНЧЕНКО

ПАРОВОЗЫ

Пролетают сонные деревни.
Проплывают лунные поля.
Обжигая искрами деревья,
Мчится паровоз.
Гудит земля.

Перегоны от Тайги до Томска —
Паровозная ночная бль...
Лишь портфель да тощая котомка —
Весь багаж студента.
Гарь и пыль.

Становились черными ладони
И рубашки белой воротник.
Мчались растреноженные кони;
Паровоз — железный коренник.

...Ветер вслед за поездом с откосов
Гонит листья.
В скорбной тишине
Кладбище отживших паровозов
Проплывает медленно в окне.

Эх, стоп-кран решительно рвануть бы,
Постоять бы здесь хоть полчаса!..
Гордые измученные судьбы.
Отчужденья злая полоса.

Первый снег — экспромт зимы.
Наши детские фигурки.
Мы бечёвками «снегурки»
Привязали на пимы.

Яхта церкви на холме.
Бой за «крепость» со слезами.
Это детство в душу мне
Смотрит чистыми глазами.

Друга верного рука.
Клятва, данная навечно...
Жизнь, как спичка, коротка.
Только детство бесконечно.

Плот из брёвен и досок.
Рыба, что с крючка сорвалась...
Всё водой ушло в песок.
В памяти навек осталось.

Молодой пришкольный сад.
Мама, лучшая на свете...
А оглянешься назад —
Ничего.
Лишь звёзды светят...

ОСТРОВ

Густо пахнет хмель.
На востоке звёзды тают.
Лодку вытасю на мель,
Цепь на камень наматаю.

Сквозь кусты и тишину,
К запахам и звукам чуток,
Выйду к озеру;
Спугну
Стаю задремавших уток.

Всхлипнет сонная вода,
Птиц взметнув,
Да на мгновенье
Непогасшая звезда
Призатмится лёгкой тенью...

Да ещё вскипит вода,
Как от дробы или града,
В то мгновение, когда
Ляжет веером привада.

Летом ночи коротки —
Озера проявлен снимок...
Замирают поплавки
Между пятнами кувшинок.

ЛЕС

В осоке берега.
И вода в разводах тины.
Как же сердцу дорога
Эта русская картина!

...И — захватывает страсть!
Взглядом на лету измерен,
Слиток золота — карась
Грузно шлёпнется на берег...

Душу скоро отведу.
Вещи соберу и снасти.
К лодке на реке уйду.

Тихое, как утро, счастье —
Лес,
В осоке берега,
И вода в наплывах тины...
... До конца мне дорога
Эта русская картина.

г. Юрга

С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ

Это, пожалуй, наиболее точное название для небольшого цикла стихотворений азербайджанского поэта Князя Гочага, живущего в западносибирском городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ). Освоение нефтяных месторождений севера Тюмени сопровождалось воистину большим переселением народов. Азербайджанцы — специалисты нефтяного дела приехали в Сибирь одними из первых.

Князь — член Союза писателей Азербайджана, а теперь и России, недавно заслуженно получил звание почетного гражданина города. Для меня же он, прежде всего, поэт, которого с удовольствием перевожу на русский язык, — темпераментный кавказец, способный часами читать стихи моих и его любимых поэтов. И еще роднит нас то, что мы относимся к абсолютному большинству тех, кто голосовал в свое время за сохранение СССР. В Беловежской Пуще разрушено было братство народов, но никто и никогда не разрушит братства поэтов и, шире, — национальных культур.

Владимир ТОПОРОВ

117

Князь ГОЧАГ

НАУКА ДОБРОТЫ

Горная безмолвна панорама,
К ней бегут селения, сады.
Не забуду детство свое, мама,
И твою науку доброты.

Мне внушала: «Мир устроен сложно,
Горы в нем друг с другом говорят —
Камень бросишь здесь неосторожно,
Где-то отзовется камнепад.

Даже к скалам добрыми руками
Прикасайся, чтоб не оскорбить.
Если не бесчувственны и камни,
Что уж там о людях говорить?!

Отвечай за каждую минуту,
Потому что если второпях
Зло, сынок, ты сделаешь кому-то,
Отзовется боль в его друзьях.

В матери и в брате отзовется,
И на свете зло умножишь ты,
А оно — бедой к тебе вернется...
Полюби науку доброты!

Светлые поступки за собою
Оставляй на жизненной тропе,
Ведь добро, творимое тобою,
Эхом возвращается к тебе».

КЛЯТВА ХЛЕБОМ

Друзья, на одной мы живем земле,
Пусть дни наши долго длятся!
Нет клятвы священной в моем селе,
Чем хлеба куском поклясться.

Кто хлебом клянется, тому поверь
И с верой подумай снова:
Да может ли там пробудиться зверь,
Где связаны хлеб и слово?

Болотам назло, назло комарью
Под северным низким небом
Земле этой русской шепчу: «Люблю!» —
И в этом клянусь вам хлебом!

ХЛЕБ РОССИИ

Азербайджан — ты с детства
яркий свет!
Да норов у судьбы и голос — веский.
И не Бакинский университет,
А вышло так, закончил я — Тюменский,
Немало мне досталось на веку.
И добываю, беды переселя,
Насущный хлеб не в солнечном Баку —
Мне стала хлебным деревом Россия.
Ни от кого на Север не бежал,
Судьба к нему сама собой припала...

Не обижайся, мой Азербайджан,
Но Мать-Россия Родиной мне стала!
И мама седовласая моя
В родном селенье —
Что ничуть не странно! —
За хлеб да соль, вскормившие меня,
За мой удел
России благодарна.

Переводы Владимира ТОПОРОВА

Ангелика ВОЛЬФ

* * *

Не встряхнёт и не утешит
Ни событие, ни пустяк.
Ничего меня не тешит.
МНЕ НИКАК...

Ни надежда, ни мечтанье
Не манят и не зовут...
Бесполезное старанье:
Я — НЕ ТУТ...

Не пытайтесь разобраться,
Не гоните вы коня,
Я исчезла из пространства,
НЕТ МЕНЯ!

Лето 2001 г.

* * *

Я тобой болею, Вовка,
Очень я тебя люблю.
Ты — сосиска и морковь,
За оценки по рублю

Клянчишь у меня всечасно
И не ведаешь о том,
Что старание напрасно
У меня ж не банком,

*Ат. И я в ночи глубокой
Не печатаю рублей.
Пожалей меня, не трогай,
Кошелек наш пожалей!*

Зима 2002 г.

* * *

*Прикосновенье рук,
Как ветра дуновенье.
И окрыляет вдруг
Невысказанный слог.
О нежность, ты продлись
Ещё одно мгновенье,
Не умирай, звездой
Возникни между строк.*

* * *

*Глубина пустоты в сердце
Не сравнится ни с чем вовсе.
Я не знаю, куда деться...
Растворюсь в темноте ночи.*

*Черной птицей мелькну в небе,
Не вернусь никогда в счастье,
Не спрошу у него: «Где ты?»,
Не скажу ни за что: «Здравствуй».*

*Вот и кончилось все, больно,
И навстречу мне — бесконечность,
А на сердце мое солью
Сыплет вечность...*

Лето 2001 г.

* * *

*Колючее дыхание. ЗИМА
Остудит мир вокруг, скует мне душу,
Печать молчания наложит на уста,
Обет которого не смею я нарушить.*

*И потечет безвременья песок
В небытия бездонные глубины,
И ночью заколдованный восток
Не озарит души моей пустыню...*

Зима 2002 г.

СОН

*Хрупкий мальчик-звезда, попугай какаду
И слепой звездочет — мои детские Боги —
Мне навеки мою предсказали Судьбу
И сквозь тернии путь, по крестовой дороге.*

*Я из детства пришла в мир жестоких
сердец,
В мир, где праздник Добра не справляется
дважды...
Детских грез и мечтаний волшебный ларец
Всем казался смешным, как кораблик
бумажный.*

г. Кемерово

119

Николай БАБКИН

БЕЛЫЙ КОНЬ

*Пьет воду
Белый конь
на перекате,
По небосводу,
Высоко над ним —
Сиятельное солнце
Ладно катится
И бытию поет
Свой летний гимн.*

*Из ободов колес
Слепящей колесницы
Златые спицы сыплются,
потом —
Они становятся
Как бы жар-птицами
И на воду
сажаются за мостом.*

Бесшумно плещутся
На мелководье брода,
Где белый конь
Неторопливо пьет
Согретую огнем небесным воду,
И тишина в черемуках поет.

СУМЕРКИ

После заката солнца
Веки смыкает день,
Дремлет чутко осока,
С тенью танцует тень.

Призрачно все, все зыбко.
На грани яви и сна —
На волнах, как в детской зыбке,
Покачивается луна.

И приглушенным голосом
Что-то бормочет река...
Сумерки девичьим волосом
Сыплются по щекам.

Все аморфно и лепетно,
И комары звенят
Симфонию трепетную
В честь уходящего дня.

ОСЕННЕЕ

В осень позднюю
Я прихожу сюда:
Облетевший тополь у пруда,
Шелестит озябшая вода —
Кое-где по берегам
Пластинки льда
Ломкие, как хрупкая слюда...
Да еще ворона,
Шепотком на тополе,
Тщательно к зиме
Чулочки свои штопает...

г. Полысаево

Юлия КАДЕНКО

* * *

Нам давно не хватает тепла,
Облетает осеннее злато.
Я, наверное, поздно пришла,
Оттого и гляжу виновато.

Может, стоит побег совершить
Вслед за птицами в теплые страны?
Выйдем листья в саду ворошить,
Спрячем зябкие руки в карманы.

Друг от друга печаль затаим,
Осознав нереальность побега,
И, обнявшись, чуть-чуть постоим
На краю неизбежного снега.

* * *

Господи, Пресветлый Боже мой!
Как благодарить тебя, не знаю:
В городе, напуганном зимой,
Как жасмин июльский, зацветаю.

Господи, возьми мой белый цвет
И прости вину мою за это,
Не гаси моей надежды свет,
Обогрей нас, Господи, до лета.

Господи, Ты сам и свет, и тень,
Грозный лев, и кроткая лилея.
Господи, даруй мне ясный день,
Чтоб гулять с любимым по аллее.

* * *

И плакать нельзя, и не плакать нельзя!
Ни голос услышать, ни встретиться
взглядом,
И день подступает под окна, грозя
Туманом, дождем и сплошным снегопадом.

Кто мне напорожил, кто наворожил
Тебя, моя нежность, тебя, моя радость?
Кто имя твое в мои губы вложил —
В нем горечь мирская и райская сладость.

О как за тебя я боюсь и молюсь!
Наш город огромный мне тесен, как клетка,
Когда я к тебе сквозь решетки тянусь,
Как тянется к солнцу древесная ветка.

Уткнуться в плечо бы, зажмурить глаза,
Ветвями сплестись, и спастись,
и остаться...

И плакать нельзя, и не плакать нельзя,
И не наглядеться, и не надышаться.

* * *

Птички мои права —
Сесть к тебе на плечо
И щебетать слова...
Что мне нужно еще?

Можно крошку схватить
Нежности на лету,
Воздух мартовский пить,
Но глотать пустоту.

Где-то рядом кружусь,
Я синица, взгляни!
Я тебе пригожусь,
Ты меня не гони.

* * *

Все, что дано, я отдам без остатка:
Голос мой тих и талант невелик —
Этого мало — слова и тетрадка,
Песня, и шепот, и радостный вскрик,

Осени, весны, и зимы, и лета,
Жизни биенье в горячей крови —
Вот моя дань, моя жалкая лепта,
Малая плата за чудо любви.

Вятка, Киев

Юрий АКИМОВ

ЗИМОРОДОК

Луга. Поемные луга
В кустах шиповника, боярки,
И солнце в небе светит ярко
Сквозь кучевые облака.
Головки клевера видны,
Тысячелистника соцветья,
Репей хватает за штаны,
Кусты стегают, будто плетью.
Вот присмотрел я озерко.
Оно покрыто стрелолистом
И ряской — и весьма мелко.
Над ним снуют стрекозы низко.
Рыбешка плещется, мошку,
Что на поверхности, хватая.
Промчалась диких уток стая
По направлению к стожску.
Склонились ивы над водой,
О чем-то шепчутся при ветре.
Камыш, зеленый и густой,
Как другу, машет мне приветно.
Покой царил над озерком.
Уж собирался я поплавать,
Уж шел по кочкам босиком...
Вдруг волны возмутили заводь.
Гляжу, дыханье затаив.
Победный крик, шлепок об воду...
С лазурной спинкой — как красив! —
Взмыл вверх с добычей зимородок,
Уселся на ивовый куст,
В мгновение ока съел свой завтрак.
И мне на ум пришло внезапно:
Природа выше всех искусств.

121

КОНЕЦ ИЮНЯ

Сижусь на сваленной сосне.
Вокруг меня подростки ивы
И топольки. А в стороне
Реки виднеются извивы.

Слышны оттуда голоса
 Да шум моторок непрерывный.
 Вот-вот покинет небеса
 Трудяга-солнце. Вечер дивный.
 Ни облачка, ни ветерка.
 Едва колеблются листочки.
 Но дышит свежестью река —
 Здравья, бодрости источник.
 Я реже стал сюда ходить:
 Заботы обуяли крепко.
 Вот куличок вопит: пи-ить!
 Пей, сколько хочешь, нет запрета.
 Скрипуча иволгина песнь,
 Совсем не та, что пелась в мае.
 Как хорошо сидеть мне здесь,
 Вечерним шорохам внимая...
 Неметь от чувства полноты,
 Вдыхая запах травостоя,
 Лелея новые мечты,
 Не находя в душе покоя.
 Июнь мой солнечный, прощай!
 Луга, пестрящие цветами...
 Пусть повторится этот рай —
 Он так же будет встречен нами.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Солнышко пронизывает кроны.
 Только-только дождик прошумел.
 Сушат спины галки да вороны,
 Крылышки свои расправил шмель.

На кустах еще блестят дождевики,
 Отражая радугу лучей.
 Воздух свеж. В нем ни одной пылинки.
 Скатный жемчуг сыплется с ветвей.

Я стою в густой траве по плечи
 И гляжу на речку и на лес.
 Дотлевает тихо летний вечер
 И звенит цикадами окрест.

По реке, заросшей сплошь травой,
 Рыболов ведет свою ладью.
 Дышит лес загадкой вековой
 И меня не ждет для интервью.

В отдаленье слышится мычанье,
 Пахнет отсыревшей травой.
 Все располагает здесь к мечтанью,
 К размышленью, к радости земной.



Юрий
ТОТЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ ОТСВЕТ ДУШИ

Повесть* о художнике В. Сотникове

1

Самодетельный ансамбль заводского Дворца культуры готовился к гастролям по селам района. За день до поездки репетиция затянулась дотемна. Когда наконец руководитель ансамбля дал отмашку, артисты, дружно топая, полетели в гримерную переодеваться. Танцор Володя Сотников задержался.

— Степан Егорович, я не смогу поехать с концертами.

— Что случилось?

— На заводе аврал.

— Я поговорю с начальником цеха. Он мужик понимающий. Отпустит.

— Тогда я с радостью.

Володя повернулся, чтобы тоже умчаться в гримерную, там снять вышитую рубашку, мягкие кожаные сапоги, в которых танцевал украинский народный танец, и наткнулся на Сашу Золотареву, солистку ансамбля, тоненькую, сероглазую, красивую девятнадцатилетнюю девушку с двумя короткими толстыми косичками, перевязанными голубыми ленточками. Она перебросила сплетенные волосы на спину и кокетливо спросила:

— Проводишь?

Саша Золотарева жила на окраине города. Место там было глухое, опасное. В узких, тесных переулочках скользили черными акулами хулиганы и воры. Слабую, беззащитную девчонку каждый из них мог безнаказанно обидеть. Она реально нуждалась в мужской защите. Володя уже провожал солистку в опасный район. Естественно, он не мог отказать ей и в этот раз. Поэтому ласково улыбнулся, широко развел руками, как это он делал, глубоко приседая в танце на сцене.

— Я с тобой хоть на край света.

Была весна. Ночь стояла такая красивая, что хотелось остаться в ней до утра. Парочка побрела в сторон-

ке от домов по берегу озера. От полноты чувств Володя замер, вытянул руку к лунной дорожке на воде и заговорил стихами:

*Тиха украинская ночь.
Прекрасно небо. Звезды блещут,
Свою дремоту превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Серебристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет.
И тихо, тихо все кругом...*

Когда Володя выговорился, Саша положила ему на грудь теплые узкие ладони и, проникновенно заглядывая в глаза, воскликнула:

— Сотников, да ты художник!

— Я только пересказывал Александра Сергеевича, — смутился он.

— Но чувства твои!

Проводив девушку до калитки, Володя пошел обратно. Все так же блистали звезды, все так же очаровательно сияла луна, выстилала голубовато-серебристую дорогу по воде, но прежнего возвышенного чувства уже не было. Володя понял: оно может явиться, когда рядом женщина, только через магический кристалл любви. Через много лет он уже зрелым художником расширит свое понимание любви до природы, космоса, жизни...

123

В общежитие Володя приблел за полночь усталым. Тихо разделся в комнате и бесшумно, чтобы не разбудить ребят, юркнул под одеяло. Но заснуть сразу так и не смог. Слова Саши запали глубоко в душу и все там вновь разбегались: Володя с детства мечтал стать художником.

Это было странно, так же как видеть жизнь растения на абсолютном камне скалы, где не за что корням зацепиться. Сотников родился в среде вояк, хлеборобов, даже в мыслях далеких от искусства. Его прадед по отцовской линии, казак, с Петром I ходил под Азов. От его военной должности пошла и фамилия семьи, которая с далеких времен служила Царю и Отечеству, за верность и мужество получала награды, льготы, поэтому в деревне Садовая под Курском была зажиточной.

Но мироедами Сотниковы не считались. Они не держали батраков. С большим хозяйством управлялись сами. Дед Трофим, высокий, кряжистый, с гордостью поднимал одиннадцать детей — восемь парней и трех девочек. Володя помнил: когда он шел со своими ребятами по деревне, такими же высокими, сухощавыми, сильными, встречные первыми здоровались с ними. Многие уважительно приподнимали картуз.

При всей «производственной» зажиточности, быт семьи отличался великой скудностью. Мать Володи

* Повесть печатается в сокращении.

рассказывала: когда она вышла замуж и пришла в дом свекра, многочисленные домочадцы вечером постелили солому на пол и улеглись спать. Сама она выросла в небогатой семье, однако уютно ночевала в своей узкой деревянной кровати. Такой привилегией у Сотниковых пользовались только родители.

Ефим Трофимович, отец Володи, был особенным человеком, добрым, бескорыстным, другим готов последнюю рубашку отдать. В пользу братьев он отказался от своего надела и пошел в солдаты. Во время революции встал на сторону красных, отличился во время взятия Кремля.

С фронтов гражданской войны Ефим Трофимович вернулся коммунистом. В тридцатых годах он стал одним из первых в деревне активным сторонником коллективизации и уговорил братьев записаться в колхоз. Его после бурных разгоряченных разговоров все-таки послушали. Когда наступило время раскулачивания, никто из семьи не пострадал. Самого Ефима Трофимовича избрали бригадиром, а затем заместителем председателя колхоза. В тридцатых годах вся страна ринулась к образованию. Этот порыв подхватил и Володиногo отца. Он учился где только мог, но больше самостоятельно, выписывая научные журналы по сельскому хозяйству, газеты. Особенно любил и уважал «Известия». Потом вдруг сам стал писать печатными буквами короткие, на четверть тетрадной странички, заметки в Курскую областную газету.

Для старшего сына отец выписывал «Пионерскую правду», «Технику – молодежи». Почту приносили в правление колхоза, где у него был кабинет, но там он не читал, только просматривал заголовки газет. За изучение статей брался дома, садился в большой комнате возле стола. Когда становилось темно, зажигал керосинку и впитывал глазами в себя каждую строчку. Он прочитывал газеты полностью. В это время жена и дети ходили на цыпочках, чтобы не мешать умственной работе отца. Потом он откладывал газету и рассказывал, что там написано, всей семье, которая рассаживалась вокруг него. После своей политинформации смотрел требовательно на сына:

– Теперь, Володька, ты скажи, что делает пионерия страны.

В доме стали обильно появляться не только газеты, журналы, но и книги. Володя так приохотился к ним, что даже под рубашкой носил «Капитанскую дочку». Когда началась война, немцы в соседнем селе разбомбили пришкольную библиотеку. Люди бросились жадно подбирать разбросанную по земле мебель, шторы. Володя взялся за книги и перенес к себе около сотни томов. Так у него дома оказалось настоящее богатство – Пуш-

кин, Лермонтов, Достоевский, Гоголь, Толстой, Чехов. Во время оккупации, когда закрылась деревенская школа и никаких газет, журналов не стало, а свободно-го времени у пацанов, особенно зимой, хоть отбавляй, он утолял жажду знаний классикой. Довоенная привычка делиться с другими знаниями побуждала его собирать слушателей и пересказывать прочитанное. Особенно он любил пересказывать своим младшим «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя.

В подземном бомбоубежище зажигалась керосиновая лампа. Неровный красный свет вздрагивал на серьезных ребячьих лицах. Володя, как маленький колдун, в ситцевой латаной-перелатаной косоворотке стоял перед ребятами и страшно серьезным захватывающим голосом говорил, размахивая руками:

– И пошел Хома Брут третий раз в церковь.

Далее следовала трагическая встреча семинариста Брута с Вием. У слушателей ледяным холодом заливало сердце. Слабонервные вскрикивали и выбегали из подземелья. Остальные дослушивали до конца и тоже вспоминали рассказы взрослых о деревенских колдунах и ведьмах...

Володя любил свои вечера. Они помогали ему пережить войну.

Но вернемся к высоконравственной личности Ефима Трофимовича. Он не верил в Бога, тогда это было модным, но жил по заповеди Иисуса Христа: «Возлюби ближнего...» Ближними для него были люди колхоза, общественная собственность. Как-то осенью деревенские пацаны баловались на поле. Кто-то из ухарей разжег костер. Огонь по стерне перекинулся на копну сена, которая жарко запылала огромной свечой. Отец первым из взрослых прибежал на пожар, быстро разобравшись, кто виноват, сломал ветку ольхи и пребольно отходил сына, врезав прутom раза два по заднице. Виновников не тронул, но они запомнили урок: больше никто в полях не баловался с огнем. С взрослыми лоботрясами Ефим Трофимович поступал жестко: снимал трудовни, пропесочивал на собраниях и в газете. Его боялись, но уважали за справедливость.

Последний раз Володя увидел отца летом 41 года возле военкомата в Курске. Был жаркий июльский день. На газоне пошевеливалась кучка мужчин. Одни ходили неприкаянно и взволнованно, другие кружком сидели, сцепив руками колени, что-то ожесточенно обсуждали. Чуть в сторонке на траве растянулся худющий мужчина в клетчатой рубашке и в белых парусиновых туфлях. Сквозь одежду явственно проглядывались кости. Суший скелет, на которого страшно было смотреть. Казалось, если он встанет, то обязательно рассыплется. «Как он будет воевать, ведь он больной», – подумал Володя.

В отличие от «скелета» отец выглядел даже очень жизнеспособным. Серо-стальная косоворотка плотно обтягивала его выпуклую мускулистую грудь. Похудевшее лицо с бугристым волевым подбородком было сухощавым, в трещинках мелких морщинок, но не изможденным. Он стоял перед сидевшими и что-то доказывал, приподнимая осторожными пальцами черный чубчик над плоским широким лбом. Увидев жену и сына, ласково заулыбался, круглые темные глаза заискрились любовью и добротой. Он подошел к ним и обоих сразу крепко прижал к себе. Таким жизнерадостным, сильным Володя запомнил отца. Потом его облик он многократно воспроизводил в своих картинах.

Много лет спустя после войны Владимир был в своей родной деревеньке, встречался с родственниками по отцовской линии. Разговаривал с дядей, Павлом Трофимовичем, которому уже было девяносто лет. В своей жизни он многое видел, много пережил, стал мудрецом. Он говорил о брате:

– В сорок первом у Ефима не было никакой возможности выжить. Как коммунист он должен в атаку, под пули, идти первым, отступать последним. Иное поведение осуждалось своими. Немцы тоже безжалостно расправлялись с коммунистами. Жалко только, что мы не знаем, где он погиб, где его могила, куда прийти поклониться.

Отец ушел на фронт и как в воду канул. Ни одной весточки от него. От отца Володя получил в наследство сильный самостоятельный характер, любовь к людям и оптимизм, а вот талант художника все-таки от матери.

Ефросинья Филипповна пошла за Ефима Трофимовича Сотникова без раздумий, без колебаний, как решительные прыгают с обрыва в холодную глубокую воду. Однажды в весенний солнечный день она бойко торговала яблоками на базаре в Курске. Среди других покупателей сразу выделила высокого статного парня в солдатской обмундировке. Тот долго не отходил от нее, улыбался и все пробовал наливные красные яблочки, а потом взял и купил всю корзину, оставив приятное впечатление у пухленькой, с озорными глазами юной продавщицы.

Каково же было изумление девушки, когда оптовый покупатель со сватами через два дня заявился к ней. Самое удивительное, он даже не знал имени девушки, на которой собрался жениться, не знал дом, в котором она живет. И все-таки каким-то чудом нашел. Видно, сердце привело. Когда гости вошли, она с сестрой находилась в другой комнате. Услышав незнакомые мужские голоса, выглянула. Он сразу увидел ее, поднялся с табурета и спросил бесцеремонно:

– Девушка, как зовут тебя?

– Фрося.

– Пойдешь за меня замуж?

– Пойду!

И, смущенно запывав в щеках, исчезла в своей комнате. После этого в переговорный процесс активно включились сваты. Ефим Трофимович в это время оглядывал обстановку в большой комнате. Посреди стоял ткацкий станок, на стенах висели картины и цветистые ковры. После убогой обстановки своего дома убранство жилища невесты показалось ему необыкновенно богатым.

Потом он узнал, что семья Фроси состояла только из женщин. Глава нелепо погиб в реке, купая лошадей. Игривый жеребец, разбалававшись, хватил его копытом по виску. Смерть была мгновенной. Семья выживала за счет ковров, которые ткала и продавала на базаре.

У Фроси была младшая сестра Елена, хрупкая мечтательная девушка. Она создавала рисунки и расцветку для этих ковров. К сожалению, талантливая художница мало прожила на этом свете: в поле попала под ливень с градом, простыла и совсем молоденькой умерла перед самым рождением Владимира. Мать убежденно говорила при случае сыну:

– Елена с того света передала тебе свой дар.

Наверное, это так. Никто из потомков по отцовской и материнской линии не стал художником. Даже дети самого Владимира Ефимовича ушли в сторону, несмотря на явные отцовские задатки. Видимо, одних просто способностей мало. Нужно, чтобы дар стал судьбой человека.

2

Дар самого Владимира Ефимовича проявился уже с колыбели. Когда его отец женился, дед Трофим выделил ему мельницу, чтобы он перестроил ее в дом. От государства бывший участник гражданской войны получил значительный земельный надел, который наполовину превратил в замечательный сад, где росли яблоки, груши и даже сливы. Дом помогали ему строить братья. Целыми днями они, как дятлы, стучали топорами на участке. Годовалого Володю укладывали на траву в тридцати метрах от стройки. Он лежал на спине, сучил пухлыми ножками и созерцал облака, которые охапками лебяжьего пуха непрерывно двигались вверх по синему полю. Одно облако, похожее на мамино лицо, так заинтересовало Володю, что он перевернулся на живот и пополз за ним. Забрался в такую густую пахучую травяную чашу, где родители с трудом

нашли его вечером. К небу у Владимира Ефимовича навсегда осталось благоговейное чувство. Своим ученикам он советовал: «Найдите в небе отражение земли. Остальное будет само собой». Сам он всегда начинал свои картины с живописи неба...

Когда Володя подросток, свое внимание перенес на болото, которое простиралось в ста метрах от дома. Заполненное черной густой жижей, высокими кочками, полусгнившими деревьями, оно выглядело днем спокойно, безобидно. Но зато ночью превращалось в таинственное сказочное царство леших, кикимор, готовых затащить человека на гибельное дно. Да еще сын, не переставая, похоронно ухал рядом в гулкой тишине. Володю, как магнитом, тянуло к этому болоту. Как только на небе показывались звезды, он собирался, выскальзывал из дома, по тропинке спускался к болоту, иногда до утра разглядывал луну, ее серебристый отсвет на густой черной воде, вслушивался в чмокающие звуки от выбивающихся со дна родников и проникался таинственным миром, который переливался сказочными образами в возбужденном сознании подростка. В зрелом возрасте Владимир Ефимович напишет картину «Окраина села», в которую войдут его трепетные детские впечатления. В глубине – домик с темно-сиреновой крышей, бледно-желтой стеной, бархатистые кроны прибрежных деревьев и густая, сдобренная плотной зеленью темь болота с клочками пушистых березок и рваные серебристые пятна на голубоватых отблесках. Картина вызывает у зрителя щемящее чувство: в сознании вдруг начинают оживать видения своего детства.

Многочасовые созерцания природы развили у Владимира профессиональную наблюдательность. И все-таки как художник Сотников вырастал из конструктора. В крестьянском хозяйстве не только сеют, пахут и собирают урожай. Там много скорняцкой, плотничьей работы. Обычно шкафы, табуреты, скамейки, дома, сараи, стайки всегда были плодом семейного производства. Каждый крестьянин владел рубанком, топором, пилой, как своими пальцами. У Сотниковых в сарае ютилась мастерская с богатым набором инструментов, заботливо собранным отцом за много лет. Сперва Володя помогал ему выстрагивать табуреты, скамейки. Юношеские технические журналы вдохновляли его на более дерзкие желания. В то время все парни мечтали о воздухоплавании, готовили себя в пилоты. Володя тоже поддавался модному течению и у себя в мастерской открыл целое производство разных моделей самолетов. Некоторые у него летали. Он забирался на крышу дома, вставал возле печной трубы и, широко размахнувшись, запускал свою «уточку» над землей. Резиновый мотор раскручивал пропеллер, и самолетик кругами опускался за забором на улицу...

Потом Володе захотелось изготовить аэросани. Он выточил четыре бруса, к каждому прикрепил проволоку и получил полозья, на которые поставил широкую доску с отверстием посередине, куда приладил шест с парусом из старой отцовской рубахи. На окраине деревни просторно расстились заливные луга, которые обильно подпитывались родниками. Летом растения без остатка забирали воду, осенью она растекалась и с первыми морозами превращалась в чистый голубой лед. На идеально гладкую поверхность Володя поставил свои аэросани, лег на доску и, управляя парусом, покатил по замерзшим лугам. Для деревни это сооружение было чудом, которое местные пацаны пожирали глазами. Накатавшись, Володя уступил аэросани друзьям. Потом снова сам катался. Когда к вечеру лихо подрулил к берегу, то сразу же попал в руки матери. Она сорвала парус с шеста и отвалтузила старшенького:

– Почему без разрешения взял одежду отца?

Оказывается, у матери были свои виды на эту рубашку. Но в тот же день она все-таки смиростивилась и вернула сыну «парус».

Своим самым значительным конструкторским достижением в детстве Володя считает детекторный радиоприемник. Опять-таки в «Технике – молодежи» он вычитал, как его построить. Проволока у него была, наушники тоже. Оставалось только соорудить кристалл, который мог бы ловить радиоволны и создавать из них звук. Такой кристалл Володя решил, по рекомендации журнала, сотворить из свинца и серы. Последний материал был в избытке в деревне. Им окуривали чесоточных лошадей. Животное заводили в газовую камеру, морду просовывали в специальное отверстие, чтобы она могла дышать, а потом поджигали серу. Едкий дым уничтожал микробов чесотки. Животное неизменно страдало от этого процесса. Душераздирающий рев стоял на всю деревню, пока исцеленную бедолагу не выпускали из камеры. Лошадь выходила на слабых ногах, покачиваясь. Работники с двух сторон поддерживали ее, чтобы она не упала. Но животное после этой жестокой процедуры все-таки выздоравливало. Поэтому государство снабжало колхозы лекарством для лошадей с избытком.

Володя брал кусочек свинца, рядом укладывал серу, поджигал. Следовала ослепительная вспышка, которая соединяла два вещества и превращала их в кристалл, способный озвучивать радиоволны. Потом к Сотниковым ходила вся деревня слушать через наушники Москву. Уже став известным художником, Владимир Ефимович часто вспоминает, как строил перед войной первый свой детекторный приемник.

– Творчество – это тоже кристалл, который выплавляется из соединения знаний и мастерства. Я всю жизнь шел по этим двум направлениям, – говорит он.

Непрерывное конструирование заставляло Володю много рисовать. Сперва табуреты, скамейки, потом самолеты, потом лампы, которые он творил из гильз патронов, снарядов. Потом ему вдруг захотелось скопировать все страшные картинки из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», чтобы показать ребятам. Свои рисунки развешивал в семейном бомбоубежище.

Еще в начале войны красноармейцы на окраине деревни вырыли окопы и построили блиндажи. Но укрепления негодились. Войска отступали так быстро, что не успевали закрепляться на подготовленных рубежах. Володя со своими друзьями облазил пустые блиндажи. Ему пришла идея построить такой же у себя в саду. Вместе с братьями выкопал глубокий ров, натаскал туда бревен от блиндажей, соорудил подземелье в три наката, сверху засыпал землей и уложил дерн. Получился просторный погреб. Мать сперва с опаской смотрела на старания сыновей под предводительством старшего, потом убедилась, что в сооружении можно прятаться от бомб, и успокоилась. Володя же превратил бомбоубежище в художественную галерею, увешав стены своими рисунками. Пацаны со свечкой рассматривали их и восхищались: «Как здорово ты корову нарисовал! А Сталин совсем живой!» Подобные оценки льстили художнику, и он щедро раздавал рисунки. Ребятам, как и взрослым, надоела война. Они брали рисунки с цветами, деревьями, мирными домиками. Вскоре карандашные картинки Володи Сотникова красовались в каждой избе. Неожиданно для себя он в четырнадцать лет стал самым популярным художником в деревне.

Рисовать подогревало и первое чувство. К нему в убежище приходила Аня, голубоглазая, очень яркая девочка. За ней наперегонки носились все парни в деревне. Некоторые кулаками отпихивали от нее соперников. Она же никому не отдавала предпочтения. Больше любила общаться с Володей. Ретивые ухагеры косились, но никто не решался нападать на него. Знали, что от этого хрупкого, но жилистого паренька хорошо получат по зубам. Интерес же Ани к нему рос. Она, однажды посмотрев на его новый рисунок, вдруг потянулась к нему и робко поцеловала в щеку. Тогда он понял, что женщину завоевывают не кулаками.

К сожалению, для Володи его первая любовь обвалилась, как только Красная Армия освободила деревню от немцев. Родители Ани переехали в Саратов, и вместе с ними девочка ушла от Сотникова навсегда. Несколько раз он пробовал писать туда, но ответа не

получил. С тех пор протекло много событий, прошлое плотно закрылось впечатлениями десятков лет, но иногда, когда Владимир Ефимович пишет этюд или картину, из полотна глянут на него ни с того ни сего большие синие глаза, чувственные выпуклые губы, щеки с ямочкой, и на душе у него потеплеет. Ему становится грустно, он вспоминает поцелуй девочки в бомбоубежище. Когда вновь берется за работу, почему-то рисует или пишет березки, пушистые, изящные, легкие. Это дерево переходит у него из одной картины в другую, как первое чувство, пронизывающее жизнь художника и наполняющее его светом.

Рисунки стали кормить Сотникова. К нему обильно наведывались довольно странные заказчики – свободные ребята из подворотен. Они страстно хотели раскрасить рисунками свою кожу. Володя усердно выполнял подобные желания. На груди, на спине, на руках его клиентов появлялись замки, русалки, могильные кресты, надписи «Нет в мире счастья для меня», «Не забуду мать родную!». Последнее звучало как клятва. Можно сказать, что профессиональное творчество Сотникова началось с тату. В то время приходилось браться за все, чтобы выжить.

3

Володя проснулся, когда еще было темно в комнате. Зимой поздно наступает день, но внутренние часы говорили ему: «Уже утро. Пора вставать!» Но вставать страсть как не хотелось. В доме держалась беспощадная холодность, как на улице. Володя под теплым стеганым одеялом представлял, что творится на улице. Над пушистой белизной улиц деревни выжигает, сеет мука на гребешках сугробов, между которыми плывут большущие, до половины неба, фигуры в темных шинелях, в железных рогатых касках, похожих на перевернутое вверх дном ведро, и с короткими автоматами на животе. Это шествует смерть, облаченная в форму немецких солдат. Она пришла в октябре сорок первого года в курскую деревеньку, теперь открыто разгуливает и каждый день отбирает себе жертвы.

В сенцах послышался звонкий скрип шагов по сухим промерзшим доскам. Входная дверь со скрипом открылась, и с клубами серого пара вошла мать – высокая, худая. Голова у нее была закутана в толстую шерстяную шаль. Узкие плечи обтягивала старая фуфайка, застегнутая на две верхние пуговицы. Внизу полы широко расходились вокруг сильно вздувшегося живота. Мать была на сносях. Перед собой она тащила огромную охапку соломы, которую сбросила на пол, как только перешагнула порог и поспешно закрыла за собой дверь, чтобы окончательно не выстудить избу.

Потом она аккуратно прибрала солому и стала небольшими порциями заталкивать в печь. Плотно набив жерло, подожгла. Желтый огонь быстро занялся, загудел и стал нагревать комнату. Володя решительно выбрался из-под одеяла, сунул босые ноги в суконные штаны и натянул на себя рубашку. Пока мать возилась возле печи, теперь уже маленькими порциями подкладывая в нее солому, он оделся по-зимнему в бурки и стеганое пальтишко. С открытой головой выскочил на улицу.

Во дворе ветер осыпал его сухим снегом. И все-таки как хорошо дышится свежим холодным воздухом! Заглатываешь его глубже и глубже в себя, ощущаешь, каким легким, невесомым становится твоё тело. Но наслаждаться ранним утром некогда. С приходом немцев у него не пропадало ни на минуту ощущение голода. Он всегда, днем и ночью, хотел есть. Это желание невозможно было ничем приглушить. Чтобы справиться с ним, много пил. Все время переполненный мочевого пузыря заставлял его часто бегать в уборную, особенно по утрам.

Когда Володя снова вернулся в избу, в комнате уже было тепло. Его братья и сестры поднялись и сутились по хозяйству. Кто убирал постель, кто чистил картошку, кто сортировал, сидя на полу и расставив ноги, солому. Днем семья плела лапти для немцев, огромные, пышные. Солдаты надевали их на сапоги. Вид, конечно, был не ахти какой, но в такой обуви не замерзали ноги даже в лютые морозы. Одно плохо — лапти быстро изнашивались. Селяне не успевали плести их.

Ефросинья Филипповна у печи готовила из последних горстей зерна вперемешку с вареным картофелем завтрак. На протяжный скрип двери она медленно повернула голову, взглянула замутненными глазами на сына и устало сказала:

— Возьми яблочко, перекуси.

К войне сад Сотниковых разросся. Особенно много было яблок, которые семья продавала, но большую часть все-таки оставляла себе. Части Красной армии, отступая, забирали у крестьян зерно, чтобы оно не досталось врагу. О женщинах и детях, которые попадали в оккупацию, не думали: как они будут выживать без хлеба. Тотальный грабеж организовали и немцы. Каждый день зелеными стаями они обходили дворы и, больно тыкая короткоствольными автоматами в животы хозяев, требовали:

— Матка, яйка, курка!

За неделю оккупации куры исчезли, будто их не было. Последнего поросенка немцы забрали у соседа Игната Климовских. Хозяин прятал свое сокровище в тайной пещерке под стайкой. Бедному животному осточертело прятаться в темноте и зловонии. В одно

несчастное утро оно заорало во весь пороссячий пронзительный голос. Звук услышал патруль, который в это время прогуливался по улице. Немцы автоматами затолкали хозяина в стайку и заставили достать поросенка. Переходя в растопыренные пальцы солдат, тот отчаянно рванулся и выпал на снег, вскочил на ноги и бросился во всю прыть, спасая жизнь. Патруль порезвился. Володе на всю жизнь запомнился маленький немчик с выпуклым задом и искаженным лицом. Он проворнее остальных бегал за поросенком, прыгая антилопой через сугробы. Геноссы свистом, гортанными выкриками подбадривали коротышку, пока он в полете не ухватил задние ноги поросенка. Бедняга забился в истошном крике и тут же захлебнулся от профессионального удара кинжалом в горло. Внутренности выпотрошили, «каркас» нанизали на штык и поджарили на костре. Володя уже не видел, чем закончилось пиршество: мать позвала и попросила натаскать солому для печи.

Однако ни наши, ни немцы не выгребали у крестьян яблоки. Эти чудесные плоды и спасали во время оккупации семью Сотниковых. Володя открыл шкафчик. В ящике перекатывались два румяных красивых яблока. Сюда обычно мать складывала их на всю семью. Старший сын покровительствовал младшим. Не мог он один все съесть. Мать, видя его нерешительность, сказала:

— Бери! Остальные поели.

Володя на всю жизнь запомнил кисловато-сладкий вкус домашних яблок. Осторожно зубами раздавливая влажную мясистую плоть, он всасывал в себя обильный сок и ощущал, как желудок успокаивается, обретая сытость. Съев два яблока, подумал о стайке, которую чистил от навоза каждый день и давал там корм Каме, молодой, очень своенравной корове. Молока она давала мало, но очень густое, желтоватое, как сливки. стакан выпьешь и чувствуешь себя сытым на полдня. Весной Володя запрягал Каму, и она тащила плуг по полю. Эта работа корове очень не нравилась. Володе приходилось чуть ли не на колени перед ней вставать, тысячу ласковых слов говорить, чтобы задобрить корову. Она одобрительно слушала, из стороны в сторону помахивала тонким хвостом, потом вдруг наступала пребольно ему на ногу. Пока пахарь приходил в себя, довольная корова отдыхала, елозя мокрой мордой по траве. И все-таки Володя любил свою корову, старался, чтобы она зимой всегда была сытой и в чистоте. Поэтому каждое свое утро начинал со стайки.

Он надел шапку и уже пошел к двери, когда мать остановила его:

— Потом коровник уберешь. Сейчас пойдем в гости к родственникам.

**Владимир Ефимович
СОТНИКОВ,
заслуженный
художник России**

**Его работы на
четырёх страницах вклейки**

**Повесть о художнике
В. Сотникове
на стр. 123–149**



Одинокий причал



Красная Горка

Ветераны





Сельский мотив

На семи ветрах. Памяти А. Вампилова





Отчий дом

Фото Ларисы Тупиковой

Володя замер, взявшись за скобу. Как Каме не нравилось таскать плуг, так и ему гостить у родственников. Там был народ крепкий, хозяйственный, умеющий подгрести к себе добро. Когда началась война, старшие братья отца вошли в непризывной возраст. Они успешно пережили первую мировую, гражданскую войну, коллективизацию. Перед приходом немцев умудрились в разных местах так запятать зерно, что его сам черт не нашел бы. Теперь они в ус не дули, оставаясь с хлебом. По деревне, как и прежде, ходили гордо, задрав голову, и даже немцам не кланялись, только осторожно сторонились. Отец, в отличие от братьев, не оставил запаса семье: он свято верил в непобедимость советской власти и в то, что в нищете она не оставит. Один Бог знает, как мать умудрилась во время оккупации сохранить себя и своих шестерых детей. Когда Володя стал художником, то первую свою работу посвятил Ефросинье Филипповне. Это был графический портрет женщины средних лет в белом платочке с волевым широколобым лицом, глубокими страдальческими глазами...

Володя не раз бывал свидетелем унижения своей родительницы, выпрашивающей у родственников горстки зерна. Поэтому ему не хотелось сегодня «гостить» у Романа Трофимовича, старшего брата отца.

— Ладно, я все-таки сбегаю к Каме, а потом пойду с тобой, — буркнул он и, не ожидая ответа матери, толкнув дверь, выскочил в темные прохладные сенцы.

На улице услышал крик соседа. Приоткрыл калитку и осторожно выглянул. Дядя Кузя, маленький, сухонький, рыжеволосый, в одной нательной рубаше стоял возле своего двора перед двумя немцами и полицаем в полушубке и с повязкой на рукаве. Один из немцев держал на поводке крупную овчарку с черной спиной и коричневым брюхом. Собака сидела на снегу, скалила страшные белые зубы на соседа.

Дядя Кузя выкрикивал:

— Не воровал зерно!

— Врешь, сука! — ругался полицейский. — Из твоего дырявого мешка половина ржи высыпалась на снег. По следу мы пришли к твоему подворью.

Сосед сник, втянул голову в плечи, поняв, что вляпался по самые уши. Кожа его лица приняла синюшный цвет.

Немец ткнул стволом автомата его в бок и равнодушно проговорил:

— Форвертс! Шнел!

— Я надену куфайку? — дядя Кузя по-щенячьи преданно взглянул в глаза полицейскому. Тот сразу отвернулся, разжег самокрутку и буркнул:

— Тебе она уже ни к чему.

Сосед еще больше втянул голову в плечи, сгорбил-ся и заплетающимися слабыми ногами пошел по дороге в сопровождении ледяной охраны с собакой.

С тяжелой душой Володя открыл коровник. Катка повернулась головой к нему и внимательно взглянула на него влажными лиловыми глазами. Мальчик вдруг горячо обнял шею коровы и расплакался, прижимаясь лицом к теплой морде. Потом ожесточенно чистил лопатой глиняный пол от редкого навоза. Под конец щедро навалил в ясли душистое колючее сено:

— Ешь, родная, пока жива.

Дома мать накинулась на него:

— Тебя за смертью только посылать!

— Дядю Кузя немцы увели.

— За что? — оторопела мать. Она раскладывала горячую картошку с зерном из кастрюли в чашки. Ребятишки уже сидели за столом и жадно поглядывали на нее, ждали, когда она расставит чашки перед каждым из них, тогда можно будет братья за ложку. Известие ошеломило женщину. Она опустила руки.

— Со склада мешок зерна унес, — сказал Володя и, быстро раздевшись, тоже подсел к столу.

Деревня, в которой жили Сотниковы, располагалась на пригорке. Их дом стоял на окраине с левой стороны. Родственники по отцовской линии кучно жили на правой. Чтобы попасть к ним, надо было оттопать по центру поселка мимо большого деревянного здания правления колхоза, в котором работал отец. Теперь здесь основательно обжилась немецкая комендатура. Возле крыльца притулились мотоцикл с люлькой и крытая брезентом грузовая машина. Туда-сюда ходили солдаты с автоматами и русские полиция с винтовками. Широкую площадь возле здания окружали редкие деревья. На одном из них страшно висело костистое тело дяди Кузи. К груди полураздетого соседа немцы прикрепили картонку с черной надписью «ВОР». Быстро все-таки разделались с ним.

Володя с матерью торопливо прошли мимо трупа с выпученными глазами, который раскачивался под ветром, будто собрался сорваться с веревки и улететь.

Дядя Роман встретил родственников с тяжелым лицом. На низкий, в пояс, поклон матери промывал в ответ нечленораздельное. Потом пристально, долгим взглядом, словно узнавая, окинул Володю. И только после этого заскорузлым пальцем указал на скамейку возле двери. Сам тяжело опустился на табурет возле стола. Одет он был в синюю сатиновую косоворотку, теплую безрукавку. Пышные волосы у него были подстрижены под горшок, густая борода курчавилась на подбородке. Он очень походил на деревенского кулака из учебника по истории для седьмого класса. Погладив

бороду, Роман Трофимович с неприязнью в голосе спросил:

– Что тебе, Фрося?

– Хлеб кончился. Детей нечем кормить, – тихо ответила мать одними бескровными губами, которые сразу мелко-мелко задрожали.

Дядя стал выговаривать громким брюзжащим голосом, сжимая большущие крестьянские кулаки на коленях:

– Какой толк тебе давать зерно? Все равно твои дети умрут.

Мать свинцово молчала, сжимая губы и сдерживая из всех сил рыдания. Наконец, справившись с приступом, глубоко вздохнула и сказала:

– Бог велел подавать просящим. Не бери, Роман, грех на душу.

Видимо, она попала в самое незащищенное место в душе родственника. За свою жизнь Роман Трофимович многое перевидел, многое пережил и никого не боялся, кроме Бога. Образ святой веры прочно держался в нем. От слов матери глаза этого сурового человека обмякли, он уже другим тоном сказал:

– Ладно, последний раз помогу. Дальше сама выкручивайся, – взглянул на высокий живот Ефросиньи Филипповны и вздохнул, – вы с Ефимом совсем не думали, как будете поднимать детей, как выживать.

– Дети от Бога, – кротко сказала мать.

Если это так, Бог серьезно поспешил на могучих братьев отца. У них родились по два ребенка – девочки. Если бы не отец, то род Сотниковых лет через десяток бы угас. От Ефима Трофимовича пошли сыновья, которые сохранили фамилию и традиции династии. Глядя на живот матери, можно было предположить, что вот-вот появится еще один наследник.

Роман Трофимович взял мешок у Ефросиньи Филипповны, ушел в другую комнату, очень скоро вернулся оттуда. В руке он держал уже полмешка зерна. У матери глаза радостно заблестели. Она стала кланяться, благодарить родственника, пытаясь поцеловать его руку:

– За доброту Бог воздаст тебе, Роман Трофимович!

– Ладно, ладно! – вяло махнул дядя. – Все-таки мы не чужие. Этого тебе хватит на месяц. Там еще немножко добавлю. Потом будет весна, выкрутишься.

Сам пораженный своей щедростью (видно, Бог растопил его душу), Роман Трофимович ласково погладил плечо матери, проводил родственников до калитки, потом долго смотрел вслед. О чем он думал в этот момент?

Довольные, мать и сын возвращались домой. У Володи внутри замутило, когда мимо, кренясь на ухабах, проскочила выкрашенная в зеленый цвет душегубка.

Так называлась грузовая машина с металлическим закрытым кузовом, где травили газом людей. Немцы в лагере для военнопленных под Курском загружали в нее живых и сбрасывали в ров за деревней уже мертвыми. Володе почему-то казалось, что отец мог очутиться в этой ужасной машине. Поэтому у него при виде душегубки холодело тело и подкашивались ноги. Он садился или стоял чурбаном, пока машина не исчезала. И теперь, чтобы не упасть, вцепился в руку матери. Они, не оглядываясь, поспешили к своему дому. Там Ефросинья Филипповна стало плохо, она сбросила с плеча на пол мешок. Не раздеваясь, завалилась со стоном на кровать, обхватила руками большой живот и прошептала:

– Володька, беги к бабке.

Тот, не успев раздеться, опрометью рванул из дома. В сенцах ударился лбом о верхний косяк двери так, что в голове вспыхнул свет и зазвенела боль. Зажав голову ладонями, он с трудом выбрался на улицу, постоял, отдышался и побежал опять на другую сторону поселка, где жила повитуха. Двое солдат, которые попались навстречу, для развлечения поддали ему сапогами в зад. Злость вернула Володе силы. Через десять минут он оказался возле высоких покрашенных ворот, за которыми виднелся маленький рубленый, словно игрушечный, домик. Проскочив через просторный, хорошо очищенный от снега двор, Володя взлетел на резное крыльцо, где сразу же столкнулся с худенькой седовласой хозяйкой, лет семидесяти.

– Мамка рожает! – выкрикнул он.

Бабка Евдокия была опытной повитухой. Рассказывали, что она в свое время помогла явиться на белый свет даже отцу Володи. По сути, каждый житель деревни за последние сорок лет, мучительно выбираясь на белый свет, впервые попадал в ее теплые, добрые руки. Поэтому для людей она была Большой Матерью, которую почитали и любили. Вместе с Володей повитуха вернулась в дом, из шкафчика достала большие металлические предметы, положила в сумку и оделась в короткую черную шубейку, белую толстую шаль.

День шел солнечный. От лучей снег просто сверкал. Казалось, в него заложили миллионы крохотных зеркал, от них воздух пронизывался лучами. Деревня в белом выглядела похорошевшей, милой, радостной.

По пути встретились снова двое солдат. На этот раз они прошли равнодушно мимо, о чем-то переговариваясь по-немецки и гогоча. «Неужели их не вытурят отсюда?» – подумал вдруг Володя.

Братья и сестренки толпились на крыльце. У них были испуганные лица. Увидев повитуху, бросились к ней:

– Мамка умирает!

– Не беспокойтесь. Сейчас мы оживим вашу мамку. А пока бегите в мой дом и там посидите. Володя позовет вас.

Ребятишек как ветром сдуло. Они так быстро унеслись, что забыли закрыть за собой калитку. Пришлось старшему брату возвращаться и затворять.

Роды были трудными. Мать дико кричала, потом вдруг замолкла, и в тишине раздался отчаянный писк ребенка. Тут же бабка Евдокия позвала Володю, который отсиживался и переживал в другой комнате. Замирая сердцем, он выбрался в большую и старался не смотреть на кровать, где лежала мать. Бабка, довольно улыбаясь, держала в руках страшный красный комок, который теперь надрывался криком.

– А ну, полей!

Роды начались так быстро, что воду не успели нагреть. Пришлось Володе взять ведро с холодной и черпаком лить на тело новорожденного. Так появился в самый разгар войны Юрий, шестой ребенок Сотниковых. Никто не думал, что он выживет. Однако выжил и стал самым крепким в семье. Видно, холодная вода пошла ему на пользу.

Весной 1943 года наши войска освободили деревню. Володя смотрел на событие из щели забора. Сперва на улице появились с десяток красноармейцев – с автоматами и винтовками. Они настороженно, перебежками, продвигались вперед. Потом показались краснотелые танки и грузовые машины с солдатами. Тут весь народ высыпал из-за заборов и дал волю своим чувствам. Все плакали и смеялись, обнимали освободителей, расспрашивали их о своих родственниках, которые ушли на войну еще в сорок первом и пропали. Мать тоже узнавала – бесполезно.

С приходом своих жить стало легче. Все-таки не было бесконечных расстрелов. Но работали много. К 43 году Володе исполнилось пятнадцать. Для армии он был еще молод, а для колхоза – в самый раз. Наряду с другими он жил, как взрослый: пахал, сеял, косил, ухаживал за коровами, лошадьми и мечтал о суворовском училище... Но война оставила глубокие незатягивающиеся борозды в его душе. Они так и остались на всю жизнь. В восьмидесятых годах ему довелось в международной группе художников съездить в ГДР. В этой группе был немец-художник из Лейпцига, крупноносый, седовласый, с которым Владимир разговорился. Тот рассказал, как замерзал под Москвой. Владимир Ефимович поведал ему о душегубках, о сгинувшем на фронтах войны отце. На этом разговор иссяк. Посидели некоторое время для приличия рядом в кафе и молча разошлись, унося с собой свои болезненные

воспоминания. Картины, которые Сотников написал в Германии, немцам понравились. Они с удовольствием закупили их. Но самая пронзительная картина о войне у Сотникова получилась под названием «Цветет яблоня. 50 лет спустя». На переднем плане – цветущая мощная яблоня с обломанным стволом. Живой огрызок согнулся под тяжестью толстых ветвей, которые сами уже превратились в деревья и плодоносят, питаются соками родового дерева. Все полотно пронизано весенним светом, оставляет ощущение легкости. Каждый предмет на картине говорит о животворящей силе жизни – деревенские дома, пасущиеся коровы, едва намеченный луг, вода. И в эту идиллию врезаются две фигуры в траурной рамке ворот – женщина и ребенок. Они слиты единой болью, единым ожиданием того, кто еще не вернулся с войны. Как написал рецензент, эта работа глубоко философична. Она говорит о творческой зрелости талантливого художника и о том, что ничто бесследно в жизни человека не проходит. Прошлое становится семенем для будущего...

4

До войны Володя бывал в красивом, чистеньком, ухоженном древнерусском Курске. В 45-м он вновь оказался там. Большая жизнь вырвала его из родной деревеньки и забросила в город. С котомкой в руках, в лаптях он поехал туда поступать в «ремеслуху». Сразу же после войны Володя отправлял документы в суворовское училище через военкомат. Покалеченный на фронте пожилой лысый капитан, который оформлял его бумаги, заикаясь, говорил ему:

– Будь спок! Твой отец погиб. Семья большая. По всем правилам подходишь.

Оказалось, не по всем. Ему пришел отказ в дипломатичной форме. Дескать, не имеешь права стать суворовцем, потому что был на территории, занятой врагом. Тогда Володя изготавился на «ремеслуху», где, как он слышал, никого не интересовало социальное происхождение и пребывание в оккупации. Будь хоть старорежимным князем, лишь бы умел вкалывать. Любые рабочие руки нужны были позарез для восстановления страны.

В Курск тянулась сухая дорога, но в канавах на обочине лежал снег, морщинистый, заскорузлый. Было видно, что еще день, другой – и он растает под теплым солнцем. Картина апрельской природы была настолько привычной для Володи, что он не обращал внимания на поля, где вместо деревьев то здесь, то там торчали остовы сгоревших машин, покореженных танков, разорванные стволы орудий. Следы войны и через два года

после отступления немцев еще прочно держались на курской земле. Но то, что он увидел в самом Курске, острым камнем впилося в душу, потрясло его. Казалось, кто-то огромный походил по городу и молотом разбил все дома. Между кирпичных горok, как потерянные, бродили жалкие оборванные люди с неизвестной целью. Кое-где, разбирая завалы, копошились без охраны пленные немцы в знакомых зеленых шинелях. К этому времени Володя настолько привык к германцам – и воинственным, самодовольным, жестоким, и робким, пришибленным, униженным пленом, что не обращал на них внимания. Они теперь казались таким же естественным пятном жизни, как эти бесконечные городские руины.

Ремесленное с общежитием располагалось в одном из редких, чудом уцелевших зданий. В училище не было никакой профессиональной подготовки. Ребятам поднимали с раннего утра и выгоняли вместе немцами разбирать руины. Поздно вечером, когда они возвращались с работы, от усталости, не раздеваясь, валились на кровати и падали в короткий, как обморок, сон. Но в Курске Сотникова угнетала не столько тяжелая безысходная работа, сколько запахи. Люди жили в развалинах и тут же справляли свою нужду. При отсутствии канализации отходы накрывали город густым зловонием, от которого невозможно было укрыться. Легкие Володы, привыкшие к чистому луговому воздуху, неизменно страдали, вызывая рвоту и головокружение. Он не знал, куда ему деться от этих ужасных запахов. В то время людей держали в страхе строгие военные законы. За дезертирство с работы или училища можно было загнать на несколько лет в лагерь.

И все-таки он сбежал. Сосед по комнате, тоже ремесленник, битый, бывалый парень, из уголовников, подтолкнул его:

– Давай, Володя, махнем на Украину. Там тепло и фрукты.

На следующий день они незаметно оставили училище, добрались до вокзала, уселись в вагон поезда и «зайцами», без документов покатались в Новогорловку. Парень, который соблазнил Сотникова на тепло и фрукты, умел передвигаться незаметно для контролеров и проводников по железной дороге. Знал, как притаиться в туалете или в тамбуре, знал, как быстро выскакать из вагона на станциях, а затем заскакивать туда же за секунду перед отправкой поезда, знал, как скрытно ехать в товарняке. С ним легко и свободно Володя добрался до Новогорловки. Но там началась кошмарная жизнь. У него не было работы, не было жилья. Он ночевал в подвалах, иногда в теплые ночи – на скамейках во дворах. От вечного голода у него пошли обмороки.

Идет-идет, и вдруг упадет, как подкошенный, откроет глаза, видит над собой небо и ветви дерева.

Шел 1947 год. Только что отменили карточки. Народ привык свободно распоряжаться деньгами. Денег у людей было слишком много, а продуктов слишком мало. Возле продовольственных магазинов с утра толпились люди. Нервы у них были, как тряпочки. Чуть что не так, мужчины махали кулаками, а женщины впились пальцами в лицо противника. Володя видел, как хилый одноногий мужчина на костылях приблизился к хлебному прилавку, хотел что-то спросить у продавца, но его тут же ударили в лицо так, что он упал, отбросив костыли, кровь из носа залила ему лицо. Закрывшись руками, мужчина долго лежал на спине, потом с трудом поднялся и откинулся от озлобленной очереди.

Володя издали смотрел на ларьки с хлебом, милостыню не просил, он просто угасал. Друзья по подвалам пытались взять его на «дело», но он решительно отказывался. Воровство не для него.

Наконец судьба сжалась над ним, посчитала, что Сотников достаточно натерпелся, и повернула рычажок управления. Жизнь заскользила в нормальное русло. После обычных бесплодных скитаний по городу он присел на скамейку в тенистом от высоких деревьев дворе, и вдруг мир перед его глазами сдвинулся, поплыл куда-то вбок быстрее, быстрее. Когда он очнулся, то увидел над собой ангела. У него была большая, волосатая, как у обезьяны, голова с серыми, удивительно добрыми глазами. Ассенизатор дядя Степа, который на своей лошадке с бочкой приезжал к очередной выгребной яме, сразу же заметил распростертого возле скамейки молодого парня. Наклонился к нему, понял причину обморока. Отшлепав по щекам, привел в чувство, а потом протянул Володе самое необходимое лекарство – пять кусочков сала и краюху ржаного хлеба. Пока тот жадно поглощал еду, расспросил его, кто он, откуда. Разговор кончился тем, что дядя Степа до конца своего рабочего дня упорно возил с собой Сотникова. Когда последняя выгребная яма оказалась позади, а лошадь в конюшне, ангел привел Володю в замызганное общежитие для низкого рабочего люда. Там нашел ему место в своей комнатке на пять человек. На следующее утро спаситель и спасенный стали ездить вдвоем по выгребным ямам. Скоро выяснилось, что дядя Степа еще и художник. По вечерам он пишет вывески для магазинов, у него солидная клиентура среди завмагов по всему городу. Вот тут Володя смог по-настоящему помочь своему благодетелю. Пока тот очищал район от человеческих отходов, Сотников тщательно прорисовывал буквы на ярких, красочных, в стиле Пиромани, вывесках.

Как-то дядя Степа, предовольный, сияющий, на два часа раньше обычного вернулся домой с работы, с улыбкой обошел согнутого, с кистью в руке, над полоской железа своего помощника, взял его за плечи и резко выпрямил:

– Амба, Володя! Теперь у тебя будет настоящая работа. А с этой я сам как-нибудь справлюсь.

Оказалось, что дядя Степа поговорил с начальником первого цеха завода по производству взрывчатки. С ним он воевал. Тот был командиром роты, а дядя Степа рядовым и в каких-то тяжелых условиях спас его от пули немецкого снайпера. С тех пор они в мирной жизни поддерживали дружеские отношения. Начальник цеха обещал взять Володю к себе в цех учеником слесаря.

Оформление заняло всего два дня. После этого Сотников переехал в хорошее общежитие и с рассветом стал ходить на завод. Скоро он сдал экзамены, его перевели в слесари, повысили разряд. Осталась позади беспросветная нужда. Часть зарплаты Володя мог отрывать от себя и каждый месяц отправлять матери на великие нужды большой семьи. Но в душе парня не было успокоения. Его томила духовная жажда. Чтобы занять себя, он поступил в вечернюю среднюю школу и записался в ансамбль песни и пляски. И все-таки этого ему было мало: тяжелое чувство колом ворочалось в душе, давило его. Ему хотелось еще чем-то заняться. 133 «Может, Саша права? Стоит вернуться к карандашу и краскам», – думал он в горячей постели.

Утро вечера всегда мудренее. Когда восход рассеял темноту комнаты, он уже знал, что ему делать. Поднялся с постели, отжался от пола пятьдесят раз по старой деревенской привычке и побежал умываться. В буфет не пошел завтракать. Достал из прикроватной тумбочки кусок сала, срезал пластик, положил на ломоть ржаного хлеба и отправил в рот. Туда же ушли два красных помидора. Володя ощутил себя сытым и способным на подвиги. Он пошел во Дворец культуры, где на втором этаже была комната изостудии с четырьмя высокими окнами в легкой паутинке переплетов. От стекла солнце желтым водопадом истекло на гипсовые головы, фигуры, мольберты, за которыми стояли парни и девушки с задумчивыми лицами.

Откуда-то из глубины солнечного потока выдвинулся высокий, крупноголовый, с сильными руками мужчина средних лет. Он, глядя темными выпуклыми добрыми глазами на посетителя сверху вниз, вежливо поздоровался. Володя тоже вежливо ответил:

– Здравствуйте! Я хочу порисовать у вас.

– Отлично! Мы рады всем желающим.

Все-таки чем хорошо было при советской власти? Даже в самые трудные годы она давала своим гражданам возможность бесплатно приобщаться к искусству, культуре, спорту. Не успел Володя опомниться, как очутился перед мольбертом с прикрепленным к доске листом ватмана. В его руках оказался остро отточенный карандаш. Руководитель студии показал ему на столик с удлинненным коричневым кувшином и двумя розовато-зелеными крупными яблоками:

– Перенеси, что видишь, на бумагу.

Так Сотников стал брать первые настоящие уроки рисования и живописи в заводской студии изобразительного искусства. Руководитель говорил ему: «Заведи блокнот и рисуй с натуры всегда и все, что попадет на глаза». Володя, конечно, последовал этому доброму профессиональному совету. В его блокноте стали появляться лица участников ансамбля, с которыми он продолжал танцевать и выезжать на концерты. Оказавшись за городом, он старался рисовать поляны, деревья, ручьи, небо. Часто около него сидела Саша и наблюдала, как карандаш выводит на листе ватмана изгибы природы. Потом переводила взгляд на художника, и глаза ее смотрели на него нежно, с восхищением. Тогда ему хотелось рисовать только для нее. Он видел в ней принцессу, во власти которой его чувства и все, что окружает: озерная вода, заросли тальников, легкие белые мазки облаков на бледно-синем полотне неба. Когда с пленэра возвращался с ней в город, то ему хотелось обнять чудесную, очаровательную природу, которую он безраздельно и самоотверженно любил.

На заводе быстро прослышали о новом увлечении Сотникова. Профорг цеха перед концом смены подошел к нему и спросил:

– Говорят, ты хорошо рисуешь?

– Зря не скажут, – отшутился Володя, убирая инструменты в железный ящик.

– Оформи нашу газету.

– Без проблем.

Профсоюзная газета под рукой Сотникова стала лучшей на заводе. А его самого превратили в оформителя на общественных началах. Теперь за ним были «молнии», стенды, лозунги и даже плакаты «Не стой под напряжением – убьет!».

Руководитель студии всячески опекал Володю – доставал ему краски из фонда Дворца, бумагу и договаривал об учебе в художественном училище:

– Теперь ты любой конкурс выдержишь.

Пришло письмо от тетки, которая жила в Кемерово. Она пригласила племянника к себе, рассказала, что в областном центре открылась творческая мастерская

«Товарищество», в которой группируются профессионалы и начинающие художники. Письмо взбудоражило Сотникова. Ему хотелось быть поближе к профессиональным художникам. Но сперва надо было окончить среднюю школу.

После бурного выпускного вечера, когда ребята пили пиво и ходили с песнями по темным улицам города, а потом еще день отсыпались, Володя решил: теперь можно и в Кемерово. Но тут судьба рванула поводья назад. Сотников вернулся с ночной смены в общежитие. Дежурная протянула ему беленькую полоску бумаги.

– Брей, милоч, свои кудри! – многозначительно сказала она.

Володя тогда носил льняные волосы до плеч. Даже внешне старался походить на художника. Пример брал с дяди Степы, который месяцами не стригся, не брился и зарастал, как дикий человек. Сотников давал волю своей растительности только на голове. Прическа у него была свободная, неаккуратная. Он гордился своими волосами и не хотел расставаться с ними. Поэтому на реплику дежурной испуганно схватился за голову. Но когда посмотрел на бумагу, то сразу же забыл о своих красивых волосах. Оказалось, что это – повестка из военкомата. Она приписывала ему явиться в такой-то кабинет в такое-то время для прохождения медкомиссии.

Врачи целую неделю исследовали Сотникова с головы до пят: пронизывали грудную клетку рентгеном, стучали молоточком по коленям, заглядывали в уши и в рот. В конце концов он в чем мать родила продефилировал перед медиками. Его дружно признали годным к строевой службе в армии и записали в самые престижные войска того времени – танковые...

Саша пришла на вокзал провожать Сотникова. Они стояли на перроне друг перед другом, взявшись за руки. Вокруг суетились, прощаясь, родители и призывники. Сотникова несколько раз толкнули, но он не обратил на это внимания. Он смотрел в глаза девушки, потом вдруг погладил косу на ее высокой груди, обнял за плечи, прижал к себе и стал целовать в щеки, в шею, губы.

– Ты будешь писать письма? – прошептала она.

– Каждый день, – сказал он.

– Я буду ждать тебя, – так же шепотом ответила она и тоже обняла его, поцеловала, прижимаясь всем телом.

Когда призывников рассадили по вагонам, Володя прилип лицом к окну. Поезд тронулся и пошел, с громким стуком набирая скорость. Тоненькая фигурка с поднятой рукой на перроне быстро скрылась из глаз.

Сотников сел на нижнюю полку, откинулся на стенку и закрыл повлажневшие глаза. Еще одна женщина ушла безвозвратно от него. Больше он никогда не увидит Сашу. Но образ светлой девочки, вернувшей его к рисованию, к творчеству, останется у него в памяти до самой старости, как самое лучшее, что дарила ему жизнь.

До места службы ехали больше недели. Сперва за окнами расстилалась веселая зелень Украины, затем пошли тайга, горы и, наконец, солончаковые бескрайние, выжженные солнцем степи. Володя смотрел на них через стекло и думал: «Не дай бог здесь служить». И надо же было... Поезд как раз остановился среди этого убогого «великолепия» на станции прокаленного солнцем городка с сотней кирпичных одноэтажных и двухэтажных домиков. Раздалась звучная команда офицера, который сопровождал призывников:

– Выходи! Стройся!

Володя ухватил свою котомку и со всеми заторопился из вагона. Сбоку откуда-то из купе вывалился здоровенный парень, плечом оттолкнул назад Володю и попер вперед. Сразу же сработала мгновенная реакция Сотникова. Он вскочил на спину нахала, как на круп коня, замахал рукой и закричал:

– Сабли наголо! Вперед! Вперед, ребята!

Народ грохнул. «Конь» ошалел и почти до тамбура 137 дотащил на себе Сотникова. Там сбросил и обернулся к «всаднику» со злым до ярости лицом, отчего его правая бровь запрыгала над глазом:

– Ты чо?!

– Юмора не понимаешь? – осклабилась Володя.

Пока тот соображал, в чем тут юмор, обоих вынесло на перрон, где призывников построили в колонну и строем повели в полковую школу. Во время похода «конь» недобро поглядывал на Сотникова из-под белесых бровей, как стрелял. «С этим придется рогам столкнуться», – подумал спокойно Володя. Страх у него не было. В Новогорловке он прошел отменную школу уличной жизни. В беспрерывных драках обрел такой опыт и умение, что мог дать отпор кому угодно.

В тот день новобранцы спокойно переночевали в казармах, а утром их выстроили на плацу. С утра жарило солнце. Возле ворот стоял коричневый верблюд с царственной осанкой головы и презрительно сверху поглядывал на солдат. У него, видимо, что-то было во рту, он непрерывно двигал челюстями. Володя слышал, что у этого животного накапливается много слюны. Если кто-то не понравится ему, он может оплевать с ног до головы. Но Сотникову верблюд приглянулся. Он из строя прикидывал, как ловчее зарисовать животное. «Наверное, все-таки сбоку», – в конце концов решил он

и переключился на загорелого дочерна вальяжного майора в выцветшей чуть ли не до бела форме. Он с карандашом, тетрадкой обходил солдат и каждого тихим спокойным голосом с хрипотцой спрашивал:

– Кем работал? Чем увлекался?

Когда дошла очередь до Сотникова, тот выпятил грудь и неожиданно для себя очень уверенно выпалил:

– Работал художником!

Майор долго и пристально смотрел на него, запоминая лицо, потом кивнул, что-то записал в тетрадочку и пошел дальше.

Следующим утром Владимир проснулся от резкого толчка в плечо. У кровати торчал бледный, с заспанным лицом дневальный с красной повязкой на рукаве.

– Сотников, пять минут на сборы и в штаб. Комната восемьдесят шесть, – рявкнул он.

Комната № 86 оказалась четыре метра в длину и три в ширину. Середину занимал письменный стол, за которым осанисто возвышался плечистый подполковник с монументальным мясистым лицом и короткими, гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Это был заместитель начальника политотдела. У него голова болела за наглядную агитацию. Как только Сотников, закрыв за собою дверь, отрапортовал о прибытии «по вашему приказанию», хозяин кабинета выдернул свое массивное тело из кресла, неожиданно легко передвинулся к солдату, крепко пожал ему руку и тут же усадил на стул возле стены. Когда Володя уселся, подполковник вернулся на свое место и уже из-за стола жестко спросил:

– Стенд можешь сделать?

– Так точно!

Володя поднялся, вытягивая руки по швам. Сын фронтовика, он решил с первого дня жить на службе по-военному.

– Ты садись! – махнул рукой хозяин кабинета.

В конце разговора подполковник округлил армейскую жизнь новобранца в школе: служить, учиться и одновременно исполнять обязанности художника.

Из штаба Володя пошел в глубокой задумчивости. Было такое ощущение, будто он сам себя лихо надул: с утра до вечера сидеть в классах, париться в марш-бросках под беспощадным солнцем полупустыни, до одурения трястись в раскаленной железной коробке танка, а потом еще до полуночи просиживать с кистью, выкрашивая по красному полотну «молнии», лозунги! Такой нагрузки и двужильный не выдержит. Но теперь назад не двинешься. Назвался груздем – полезай в кузов.

Вкалывать пришлось в две смены, спать по три-четыре часа в сутки, а иногда совсем не спать. После таких бдений он выглядел бледным, рассеянным, не мог

ответить на простые вопросы. Тяжелая голова всю дорогу падала подбородком на грудь, он чаще видел землю, чем небо. Но стенд все-таки сотворил в самые короткие сроки. Отцы-командиры ходили около изделия, одобрительно покачивали головами и говорили, причмокивая губами:

– Хороший парень у нас появился.

После этого командир учебной роты, тоже бывший фронтовик, привел Сотникова в свой дом и предложил занять мансарду:

– Чем не мастерская?

Володя оглядел с удовольствием просторное светлое помещение. Так неожиданно у него появилась шикарная мастерская, в которой можно было работать в любое время дня и ночи. Сперва он здесь прописывал только наглядную агитацию. К нему часто заходила молоденькая жена командира роты, голубоглазая, с большими яркими губами, очень чувствительная и добрая. Она с удовольствием и долго смотрела, как работает Сотников, а потом приносила ему чай с вареньем. Оба пили из блюдечка и делились воспоминаниями своей жизни. У женщины она была небогатой, однообразной, состоящей из бытовых неудобств жены офицера, вынужденной с мужем переезжать через каждые несколько лет из одного гарнизона в другой. Зато у Володи, несмотря на малый возраст, было столько приключений! Он с удовольствием рассказывал о них жене своего командира. Та слушала внимательно, глядя в глаза солдату. И было видно, что ей очень интересны его рассказы. Он чувствовал, что приятен ей, и не стыдился своей откровенности. Между ними установились теплые дружеские отношения.

Зато с солдатами сперва пошел спотыкач. Два бывших зековца захотели взять «вышку» над отделением. Цель обычно достигалась простым, но впечатляющим способом. Выбирался самый слабый, затюканный солдатик и доводился до рабского состояния. У него отбирали пайку, заставляли шестерить перед верховниками, по поводу и без повода били беспощадно. Через слабака внушался страх остальным. Зековцы сразу же положили глаз на Сотникова. Внешне он был интеллигентным, слабым.

– У нас хилычок появился, – «пошутил» один из зековцев, когда вся рота собралась вечером в казарме.

В таких случаях у Володи тоже был простой и надежный способ защищаться.

Он не тратил время на слова. Ударом головы разбил лицо «шутнику». Когда тому на выручку рванулся второй, завалил его кулаком в солнечное сплетение. Вопрос о сильных и слабых сразу же был решен. Сотникова оставили в покое...

Незаметно пролетел год. Владимир стал сержантом. Дослуживал он в школе. Начальству нужен был профессиональный художник, поэтому Сотникова не захотели отпускать. Дали ему непыльную работенку – заведовать оружейным складом. По требованию он должен был выдавать запчасти для танков и другой военной техники. Остальное время следить за сохранностью «железяк». Желающих поживиться редуктором или гусеницами танка не было, да и заявок на запчасти приходило немного. Все остальное свободное время теперь Владимир мог отдать дизайну.

Ему стали поручать очень сложные работы. Начальству загорелось поставить в школе живописную монументальную арку. Как это обычно бывает, командир полка где-то в Подмоскovie подметил подобное сооружение в такой же школе. Сразу же мелькнула ревнивая мысль, а чем мы хуже? Мы можем даже лучше соорудить. Приехал к себе и сразу же вызвал Сотникова в кабинет, показал ему фотографии.

– Володя, можешь отличиться?

Тому не приходилось иметь дело с арками. Но молодость чем сильна? Она не задумывается о трудностях. На новое дело бросается очертя голову. Володя задумчиво погладил стриженный затылок и сказал:

– Стоит попробовать.

К делу приступил вполне профессионально. В богатой полковой библиотеке перечитал все, что писалось об арках, а потом, когда родилась идея, соорудил из картона макет, раскрасил. Только после этого создал эскиз, который начальство утвердило и по которому солдаты сотворили монументальную арку на территории.

Очень скоро Володе стало тесно в рамках наглядной агитации и монументальной пропаганды. Он решил писать портреты. С жаром принялся за эту работу. Его натурщиками становились солдаты и младшие офицеры. Чем больше он писал портретов, тем глубже понимал, какая это серьезная работа – передать свои ощущения от личности человека. Можно было делать их похожими на натуру, но это было не главным. Главное, чтобы у зрителя возникало определенное чувство к образу. Иногда этого удавалось добиться, чаще нет. Приходилось уповать на схожесть. Впрочем, невзыскательные натурщики все равно были довольны. Они притаскивали художнику свои портянки, на которых после обработки картофельным крахмалом Володя творил изобразительные «шедевры». Его портреты отправлялись во все концы страны родственникам заказчиков. Позднее, когда он уже жил в Кемерово, то в одной квартире увидел свою работу – молоденький загорелый лейтенант с красным грушевидным носом ве-

село поглядывает на белый свет, приоткрывая крепкие выпуклые зубы. От портрета шло ощущение лихости, неугомонности, нерастроченной энергии. Глядя на этого парня в погонах с двумя звездочками, невольно хотелось улыбнуться. Конечно, в технике портрет хромал на обе ноги, но равнодушным зрителя он не оставлял...

Как-то в мансарду к Володе зашел майор Тучков, высокий, жилистый, с тонким удлинненным лицом, острым носом, узковатыми, слегка прищуренными глазами. Казалось, что он всегда к чему-то присматривается и оценивает. Когда-то в училище майор тоже баловался кистью и понимал живопись. В его квартире висели картины, выполненные профессиональными ленинградскими художниками. В полку он покровительствовал Сотникову. Присев на табурет возле мольберта и глядя в лицо сержанта, майор спросил заботливо:

– Куда думаешь податься после армии?

– Учиться на художника, – не раздумывая, ответил Володя.

– Я могу тебе дать адресок в Казани. Там живет мой старший брат. У него хорошие связи в городе. Поможет тебе устроиться в полиграфический институт на отделение графики. У тебя крепкий рисунок.

Предложение было очень заманчивым. Некоторое время Сотников уверенно считал, что после демобилизации обязательно махнет в Казань. Но человек предполагает, судьба располагает: письмо от Марии, двоюродной сестры, перевернуло желание Сотникова. Человек по-крестьянски практичный, никогда не живший в воздушных замках, он понимал, что на гражданке ему будет трудно только учиться. Надо обязательно где-то зарабатывать деньги. Замечательно, если в художественном фонде. После недолгих размышлений он решил ехать все-таки в Кемерово, который расхваливали ему со всех сторон, особенно солдаты, которые были оттуда.

5

Сам город в начале пятидесятых годов оказался совсем непривлекательным.

Черные деревянные домики с огородами беспорядочно стояли на узких, после дождей очень грязных улицах. Только в центре красовались большими окнами пятиэтажные массивные здания, выкрашенные в желтовато-красный цвет. Такие строения Володя видел в Донецке и даже в Курске до войны. Они совсем не произвели на него впечатления. Но зато поразила река Томь. Широкая синяя лента прорубала надвое город. Владимир мог часами стоять на набережной и разгля-

дывать воду, впитывая в себя сотни ее цветовых оттенков. Река покорила его. Это была любовь с первого взгляда.

Поселился Владимир у двоюродной сестры Марии. Ее семья оказалась не по доброй воле в Сибири. Мать – сестра Ефросиньи Филипповны, вышла замуж за богатого крестьянина. В тридцатых годах его раскулачили и в телящем вагоне со всеми домочадцами увезли в Сибирь. Здесь он поселился в скромной деревушке под Кемеровом. Человек обстоятельный, работающий, сноровистый, он быстренько выстроил дом, стал вести привычный для себя крестьянский образ жизни в колхозе. Словом, не пропал. Его дочь Мария, умная, способная к математике девушка, с отличием окончила техникум, устроилась бухгалтером на машиностроительный завод. И теперь вместе с мужем, сыном, свекровью жила в маленьком деревянном домике на улице Заречной. Каждую весну половодье подтапливало жилище до окон. Обитателям приходилось переселяться на чердак. В остальное же время года здесь был рай. В большом огороде обильно росли овощи и даже фрукты. Этим растительным царством командовала бабушка, свекровь Марии. Пожилая неугомонная женщина была очень доброй по характеру.

С бабулей у Сотникова сложились теплые отношения. Она испытывала к нему материнские чувства. Старалась подкармливать: то вкусный пирожок незаметно подсунет, то красный помидор сорвет с грядки и передаст ему, когда он соберется на работу. От подобного внимания у вчерашнего солдата становилось хорошо на сердце, он старался, в свою очередь, помочь бабуле по-хозяйству: дров нарубит, полы вымоет, печку растопит и, конечно, в земле на грядках покопается.

Володю поселили во второй комнате вместе с семьей Марии. Здесь стояли две кровати. Одну занимал сын двоюродной сестры, статный, с большим чувством юмора двадцатилетний парень. Вторую – супруги. Между кроватями на полу стелили постель Владимиру. Ночами он спал как убитый. Через несколько месяцев нашел себе уютную комнатку в деревянном домике возле нынешней гостиницы «Кузбасс» и зажил самостоятельно. Но в гости к сестре заходил, пропитывался там добрыми семейными отношениями и меньше скучал по дому, по матери.

На второй день после приезда Владимира в Кемерово Иван Данилович, муж Марии, повел его в фонд Союза художников. Сам он числился там художником-оформителем, талантливо резал по дереву. Когда надо было что-то достать из материалов, обращались только к Ивану Даниловичу. Он, круглоголовый, крепенький, как боровичок, был необходимым работником в

фонде. Еще задолго до приезда Сотникова он стал «обрабатывать» почву: переговорил с директором Сильвестровым, с ведущими художниками Союза, от которых зависело трудоустройство родственника.

– Если парень окажется с искрой, возьмем, – пообещали ему.

Директор фонда Сильвестров вызвал уважительное чувство у Сотникова, как только он вошел к нему в кабинет и на лацкане гражданского костюма хозяина увидел золотую звезду Героя. По стати (высокий, очень плотный, громкоголосый) и по воинскому званию он был полковником. Владимир взглянул на него и сразу почувствовал в нем военную косточку. Привычно вытянулся, руки по швам, выкрикнул:

– Здравия желаю, товарищ директор! Сержант Сотников!

Сильвестров поднялся, протянул увесистую руку и добродушно пророкотал, кивая на стул возле приставного столика:

– Присаживайся, сержант. Рассказывай о себе.

Владимир, как отцу, без утайки поведал о пережитом в годы войны под оккупацией, как попал в Новогорловку, потом в Монголию, как учился рисовать, как в армии фактически работал профессиональным художником-оформителем. Хотел показать свои рисунки, которые принес в папке, но директор решительно отказался:

– Кадры в фонд у нас принимает художественный совет при Союзе художников. Там сейчас Кирчанов, фронтовик, художник-самородок. Думаю, он оценит и, если найдет в тебе проблески таланта, откроет дверь к нам в фонд. А я лишь хозяйственник.

Сильвестров поднял трубку телефона, набрал номер. Откликнулся как раз Кирчанов. Он выслушал энергичный рассказ о молодом армейском художнике и назначил время, когда Владимиру стоит зайти в Союз со своими работами. Сильвестров положил трубку и покомандирски требовательно вырубил:

– Теперь, сержант, все зависит от тебя. Смело в атаку!

После войны Кузбасс представлял раскаленную сковороду, на которой быстро-быстро выпекались шахты, заводы, гидроэлектростанции. Каждое новое предприятие окружало себя жилыми домами и дворцами культуры, которые нуждались в художественном оформлении. У художников появился солидный денежный заказчик. Под него и был создан фонд, коммерческое предприятие Союза. Зарабатывая деньги, оно кормило станковистов. Дело было поставлено очень продуманно. Художник по заданию фонда выполнял оформительский заказ, получал деньги и на несколько

месяцев уходил в творческий отпуск создавать настоящие картины, которые затем публиковались на выставках Союза. По ним и ценился художник. Оформление дворцов культуры, красных уголков, бытовок считалось делом ремесленным. Кто профессионально брался за дизайн, назывался мазилкой, маляром. В середине пятидесятих годов надо было появиться в Кузбассе художнику Василию Андреевичу Селиванову, чтобы с его помощью дизайн поднялся на уровень серьезного искусства. Другом и сподвижником новатора стал Владимир Ефимович Сотников. Но в пятидесятих его творческая судьба еще только начиналась...

Не успел оглядеться в фонде, как оказался в бригаде оформителей Дворца культуры в Мариинске. Это были молодые веселые ребята со своим коньком в творчестве. Слава Пошечинский, маленький, юркий, пронырливый, с большим чувством юмора, талантливо сбивал композиции. Он был автором проекта оформления Дворца в целом и руководил работами. За Виталием Алексеевым – высоким, нескладным, угрюмым по внешнему виду, но очень добрым и порядочным – были рисунки, которые он создавал всегда виртуозно на одном дыхании. Володя Померанцев хорошо передавал цвет. Это был художник европейской культуры, знал несколько иностранных языков. До окончания войны жил в Китае в семье белоэмигрантов, которые потом вернулись на Родину. Над ним долгое время тяготело подозрение. В работе его ограничивали, давали только возможность грузить и выгружать машины в продмагах. Только после смерти Сталина он оказался свободным в трудовой деятельности и даже был принят в фонд. В свое время Померанцев занимался профессионально дизайном еще в Китае. Работать с ним было одно удовольствие, он показывал такие приемы в оформлении, о которых нельзя было прочесть ни в одной советской книге. В своей технике Померанцев совмещал культуру Запада и Востока. Глядя на него, Сотников учился, хотя сам тоже оказался сноровистым, предложил бригаде раскрашивать фигуры сразу на потолке. Обычно художники это делали на холсте, который расстилали на полу. Потом холсты поднимали к потолку и приклеивали. В этой операции было много трудоемкого. Холст высыхал после покраски, коробился, швы между кусками расходились, образуя глубокие трещины. Приходилось готовое сдирать с потолка, опускать вниз, докрашивать, заделывать швы и снова поднимать на высоту восемь-десять метров. Идея Сотникова понравилась. Соорудили леса, автор возлег на спине под самым потолком и стал лихо орудовать кистью. Руки затекали, на тело капала краска, но из-под кисти художника на белый свет являлись колхозники со

снопами ржи, металлурги, шахтеры, строители, железнодорожники.

К осени бригада закончила оформление Дворца. Ребята получили приличные деньги и смогли на несколько месяцев отжаться, как они считали, настоящему творчеству. Владимир взялся за портрет Хемингуэя. Тогда этот американский писатель был кумиром молодежи, которой импонировал его скептический мужественный взгляд на жизнь. В пятидесятих советское общество еще оттаивало от жестокой войны. Снег, исчезая, открывал его хлам и раны. Глаза молодых особенно остро подмечали их. Быть скептиком становилось модным. Не миновал этого веяния и Сотников. Свои чувства он высказал в графическом портрете Хемингуэя. Жесткое, суровое, будто вырубленное, бородатое лицо.

В Союзе маститые посмотрели и сказали:

– Готовь на выставку.

Вскоре композиция «Старик и море» оказалась на выставке.

Удача окрылила Владимира. Ему нравились смелые, сокрушительные люди. Позднее он создал целую галерею портретов шахтеров, энергетиков, строителей. Психологическим обликом они напоминали американского писателя. Тот же типаж!

138 Первую серьезную творческую работу Сотникова заметил ведущий художник области Рейнгольд Генрихович Берг. Это была удивительно талантливая и стойкая личность. Наверное, все испытания, которые существуют на свете, судьба собрала и отдала ему. До войны счастливое детство и юность, ранняя склонность к рисованию. Без труда поступил и окончил Саратовское художественное училище, подготовился в Ленинградский художественный институт имени Репина. Потом словно белое полотно жизни поменялось на черное. В сороковом году попал в армию. В сорок первом на фронте в непрерывных боях. В Смоленске тяжело ранили. Из госпиталя направили на Ленинградский фронт. Там однажды вызвали в штаб и отправили в глубокий тыл на сельхозработы. Как немец, он потерял доверие людей и власти. Ему даже запрещали рисовать Ленина – Сталина. Его жена и дочь тоже оказались в Сибири. У него осталось только одно право – выходить на колхозное поле, вместе с женщинами и детьми собирать картошку, морковь, капусту. Но он не роптал, понимал ситуацию и терпеливо тянул свою тяжелую лямку.

Под конец войны режим стал послабее. Рейнгольд Генрихович даже мог приезжать в Кемерово и встречаться там с художниками. За него заступился Кирчанов перед органами КГБ:

– Единственный в области профессиональный художник. Он должен жить и работать в областном центре.

Бергу позволили перебраться в город. Недалеко от старого здания театра оперетты он купил деревянный домик с небольшим участком земли, на котором развел чудесный сад. Когда Сотников приходил к нему в гости, хозяин угощал его яблоками, грушами и даже виноградом. Владимир с удовольствием гулял между фруктовыми деревьями. Сад Берга напоминал ему свой в деревеньке Садовой, отца, с которым он высаживал такие же яблони. Сотникову становилось хорошо на душе, он улыбался и ласково поглаживал стволы, срывал листочки, растирал в пальцах и жадно вдыхал пронзительный, приятный запах.

Берг писал портреты шахтеров, металлургов, строителей. Меньше всего в них было «суперменности» покорителей природы. Нормальные интеллигентные люди, озабоченные своими земными нелегкими проблемами. Шахтер Берга, в каске с лампой, оперся подбородком на скрещенные на лопате руки и ушел в мыслях глубоко в себя. Портрет полон лиризма, света, тонкости. Сотникову очень нравились графические работы Берга на бытовые темы. Он просто не мог отвести взгляда от графики «Перед открытием кафе». Молодая официантка готовится встретить первых посетителей рано утром. Приводит в порядок свою прическу. Сколько изящной 139 грации в движении стройного красивого тела!

На пленэрах с Бергом Владимир не только рисовал, но и горячился в профессиональных спорах. Рейнгольд Генрихович терпеливо наставлял темпераментного коллегу, который всегда трудно с чем-то соглашался:

– Володя, без академического образования ты не станешь художником.

Под влиянием Берга у Владимира еще больше укреплялось желание учиться. Дружба с учителем продолжалась, когда Рейнгольд Генрихович переехал в Москву и возглавил там Дом творчества «Челюскинский». Они переписывались. Однажды Владимир Ефимович взял и приехал к Бергу без приглашения. Тот показал Дом и особенно экзотические деревья, которые посадил вокруг здания. Гость осмотрел и увидел, что в саду нет кедра. В следующий раз обещал привезти саженец. Дружеская встреча закончилась тем, что Берг пригласил Сотникова в Дом творчества поработать.

– Но сюда попадают только члены Союза, – засомневался Владимир Ефимович.

– Можно и по заявке, – возразил Берг.

Через месяц такая заявка на Сотникова пришла в Кемеровское отделение Союза. Правление не возра-

жало. Сотников шел сверх разнарядки и не ущемлял интересов других художников.

Так Берг через Дом творчества открыл путь своему ученику в Союз профессионалов, поставил на крыло.

Но я забежал далеко вперед... Герой моей повести в начале пятидесятых активно зарабатывал себе на жизнь оформительскими работами. После Мариинска Сотникову с художником Николаем Новосельцевым поручили шахматный клуб. Напарник оказался очень талантливым дизайнером. Он спрашивал Владимира, дергая за рукав:

– Кому сейчас нужны твои картины? В лучшем случае они будут висеть в какой-нибудь галерее, куда заглядывают изредка посетители. В худшем – картину купит какой-нибудь толстосум и вывесит у себя в квартире. Она станет достоянием одной семьи. И совсем другое дело – настенная живопись, сграффито, мозаика. Они доступны для всех, они самые массовые и долговечные.

Сотников не спорил с Колей, занимался дизайном, графикой и станковой живописью. Для него идеалом художника был Врубель, который в совершенстве владел самыми разнообразными и неожиданными изобразительными средствами, от глины, дерева до масляных красок. Он мог выражать свою художественную мысль в скульптуре, мозаике, графике, живописи. Сотников с первых же шагов своего профессионального труда увлекся полифонией своего творчества. Ему подвластным стало ваение, лепка, точные движения карандаша и уверенный взмах кисти.

Но первые уроки живописного мышления он взял все-таки у Новосельцева. Бывало, возвращаются они из Союза, погода стоит весенняя, лужи вбирают в себя объемы Вселенной. Николай, легко перепрыгнув через зеркальную водную поверхность, вдруг замрет возле огорода, ткнет пальцем в березу за забором и задумчиво скажет:

– Володя, посмотри, какую трудную жизнь переживает это дерево, оно искривлено, кора у комля потрескалась, ветви обрублены, на макушке еще скворечник прикручен. Хозяин взял от дерева все, что можно, и оно погибает. Вот тебе готовый образ предсмертных страданий природы от безумного эгоизма человечества.

Сотников стал присматриваться к формам природы. Однажды, попав на Кедровский разрез, увидел картину, которая потрясла его до глубины души: мощная струя воды из монитора, управляемая умелой рукой, срезала напластования мягкой породы над углем. Гора разрушалась и вместе с деревьями падала в пропасть, где экскаватор подбирал стволы и породу, грузил на машины. Владимир Ефимович заметил вверх

тоненькую светлую березку. Под напором воды она закачалась и полетела вниз, ломая ветви. Он зарекся ездить на угольные разрезы. Но картину под впечатлением все-таки написал. Из глубины земли черно зияет пасть разреза, уступы которого напоминают зубы доисторического бронтозавра. Ощущение такое, что гигантское хищное животное выплзает из глубин земли и готовится проглотить группку беззащитных, обреченно замерших светлых березок. Картина писалась по заказу – как гимн индустриализации, а получился рекем по природе.

Новаторская работа дизайнера отчаянно требовала новых знаний. Сотников перелопачивал горы специальной литературы и старался внедрить все более или менее стоящее, что попадалось ему на глаза. От главного художника города Василия Андреевича Селиванова услышал о «Сенеже» – творческом доме дизайнеров. Я уже писал, как он прорвался туда. Две недели работы, и он вошел в основной поток курсантов. Не успел оглядеться, как сюда нагрянула группа польских дизайнеров. Селиванов первым прослышал о гостях и зашел к Владимиру Ефимовичу.

– Володя, тебе надо поработать с поляками. У них есть чему поучиться.

Сотников и сам понимал, что дизайнерское искусство на Западе ушло далеко вперед от нашего. Европейские художники больше пользовались синтетическими и природными материалами. Конструкции у них были свободными, более изощренными. Поляки находились под сильным влиянием Запада. Общение с ними могло многое дать для дизайнера из глубинки России. Владимир Ефимович обрадовался, когда узнал, что его включили в группу поляков.

Задание было: подготовить проект оформления здания вокзала железной дороги. Работа была коллективно-индивидуальной – каждый дизайнер корпел над своим макетом, потом лучшие элементы «сливали» в общий. Ничто так хорошо не учит, как совместная работа. За неделю Сотников пропитался новой школой дизайна.

На этом его знакомство с западным искусством не завершилось. Вернувшись из республиканского дома творчества, переполненный новыми идеями и замыслами, он подготовил совершенно оригинальную работу на областной конкурс наглядной агитации и победил. Ему полагалась денежная премия. Председатель обкома профсоюза культуры пригласила молодого художника к себе и не стала ходить вокруг да около. Усадив Сотникова на стул перед собой, прямо сказала:

– Владимир Ефимович, ты можешь свою премию получить деньгами, а можешь в составе делегации педагогов поехать в Голландию.

Сотников с радостью согласился на Голландию. Как повезло! Он окажется в цитадели высокого западноевропейского искусства. Там такие музеи, художественные галереи, где собраны картины, составляющие мировую сокровищницу!

В Амстердаме Владимир Ефимович мотался по художественным галереям. Возле картин Рембрандта простаивал часами, пока не начинали слезиться от напряжения глаза. На улицах восхищался умением голландцев встроить органично средневековую архитектуру в современную высотную, полустеклянную. Однажды так загляделся на дом в стиле барокко, что «шибанулся» о бетонный столб. После этого пальцами долго тер лоб, чтобы не вздулась шишка.

Но самое сильное впечатление произвела на Сотникова работа обыкновенного голландского художника. В одном из кварталов Амстердама он увидел, как каменщики споро выстраивают кирпичную стену, затем заштукатуривают белым цементом, на котором молодой художник сноровисто и быстро накладывает рисунки. Уже дома этот прием Владимир Ефимович неоднократно использовал при оформлении санатория-профилактория «Сосновый бор». Там же первым из дизайнеров области внедрил в оформление гобелены, тоже увиденные в музеях Голландии.

Но вскоре дизайнерский пыл Сотникова стал заметно угасать. Его как отрезало от оформительских работ. Новые горизонты для себя, как художника, Владимир Ефимович увидел в станковой живописи. В конце восьмидесятых – начале девяностых годов на выставках появились его прекрасные акварели и пастели, выполненные с большим мастерством. Работы стали заметным явлением в художественной жизни Кузбасса. К тому времени он стал не только зрелым, но и высокообразованным художником со своим индивидуальным стилем.

6

Однажды его пригласил к себе в кабинет директор фонда Сильвестров и предложил:

– Володя, у тебя по разнарядке Министерства культуры есть возможность поучиться в Ленинграде.

Господи, он об этом всю жизнь мечтал. Неужели судьба наконец смиростивилась и открыла путь к образованию, которого ему не хватало как воздуха.

В пятьдесят шестом году Владимир Ефимович поехал в Ленинград. Вступительные экзамены на живописное отделение сдал. Но не набрал одного балла, чтобы стать студентом. Вышел из кабинета экзаменационной комиссии с отрицательным результатом и тут

же возле стенки присел на корточки, потому что не держали ослабевшие вдруг ноги.

Тут кто-то тронул его за плечо. Поднял голову и увидел смуглую черноглазую девушку из Казани. У нее было довольное счастливое лицо.

– Прошла?

Она с готовностью закивала и заулыбалась.

Владимир поднялся и сразу стал выше на голову девушки. Почему-то подумал: судьба опять послала ему женщину, чтобы вывести из тупика.

– Давай, Володя, походим по академии, – сказала она.

– Давай.

Оба медленно, как на экскурсии, пошли по узким сводчатым коридорам, похожим на внутреннее строение монастыря, куда не проникают никакие внешние потрясения. Академия была основана в 1757 году как высшее учреждение классического искусства. Здесь учились самые великие художники России. Перед экзаменами преподаватели говорили абитуриентам:

– Школа реалистической живописи есть только у нас. Академия репродуцирует саму себя. В аудиториях практически не бывает варягов-преподавателей. Педагогическая ниточка тянется к Кипренскому, Венецианову, не прерываясь. И еще никто не учит так правильно рисовать человека, как «Репинка».

Позднее Сотников тоже внес свой вклад в академию. На внутреннем дворике стал заливать снег горячей водой и получать идеальное ледяное покрытие, на котором студенты с удовольствием катались на коньках. С тех пор академики каждый год зимой устраивают здесь каток. Традиция пошла, как говорили в «Репинке», от крепкого сибирского художника.

Но в пятьдесят шестом молодые люди шли по обрамляющей круглый двор галерее с гипсовыми копиями. Сотников задержался у ионической капители, наклонился к надписи «Измерял и плакал. 1921 год». Далее следовала неразборчивая подпись. Владимир подумал: «Возвышенные чувствительные души учились здесь». И неожиданно сам стер пальцем слезу со щеки. Так ему не хотелось расставаться с академией.

В тот же день вечером ангел-хранитель в облике высокого сутулого студента Аницетаса Немчинкаса, с которым Сотников познакомился на экзаменах, набросился настырно на него:

– Ты чего нос повесил?

– Провалился.

– Глубоко?

– На самое дно.

– Толкайся ногами и всплывай.

– Как?

– В этом году у нас открывается заочное искусствоведческое отделение. Время для поступления у тебя есть. Год проучишься, присмотришься к требованиям академии, и на следующий спокойно перейдешь на свою живопись.

– Разумно, – кивнул Сотников. Жизнь всегда сурово относилась к нему, испытывала на излом, как ветку через колено. Чтобы не сломаться, приходилось за помощью обращаться и к чужим, более опытным мозгам. Владимир, как только Аницетас вышел из его комнаты, подсел к столу, пододвинул лист бумаги и крупными аккуратными буквами написал новое заявление на имя ректора с просьбой принять его на заочное искусствоведческое отделение академии.

Когда Сотникова зачислили на первый курс академии, он сразу же нашел Аницетаса и благодарно тряс его костистую холодную широкую ладонь. В дальнейшем они стали друзьями. Литовец откровенничал за стаканом водки:

– Я страсть как не люблю русаков, но тебя, Володя, обожаю.

Приехав из Ленинграда в Кемерово, Сотников стал подтягивать свой рисунок. Он задумал создать графический портрет матери, через который показать многострадальный образ женщины, взвалившей на свои плечи все тяготы страшной войны. «Натурщица» была рядом. Ефросинья Филипповна приехала с детьми в Сибирь к старшему сыну, от которого надеялась получить поддержку. Владимир Ефимович тогда жил очень стесненно. На шестнадцати квадратах просто не могли разместиться десять человек. Он с женой, двумя детьми и мать с пятью братьями и сестрами. Родственники поднатужились, собрали деньги и купили Ефросинье Филипповне в Елькаеве засыпной домик с небольшим участком земли, где можно было садить картофель и овощи. В совхозе она устроилась дояркой на ферму, чтобы у детей в достатке было молоко. Как во время войны семью спасали яблочки, так в Сибири стало вырывать молоко.

Владимир Ефимович с признательностью создавал портрет Ефросиньи Филипповны, добиваясь сходства с внутренним образом, который созрел у него в голове. Наконец показал коллегам. «Готовь на выставку», – сказали ему. Этот портрет произвел впечатление на зрителей. О нем много писали в местной прессе. В профессиональной среде сложилось прочное убеждение о Сотникове как о художнике: «Крепкий график!»

На первую зимнюю сессию в Ленинград Владимир Ефимович поехал уверенным в себе профессионалом. Но там состоялась встреча, которая повернула впоследствии его творчество в совершенно новое живописное

русло. Его поселили в одной комнате с талантливейшим армянским художником Минесом, влюбленным во французских импрессионистов. В то время это был худенький, необыкновенно подвижный, с черными блестящими глазами навыворот и с крупным «кавказским» носом студент живописного отделения. Когда Владимир первый раз вошел в комнату, жилец быстро поднялся с кровати и протянул узкую горячую ладонь. Знакомились по-восточному. Сотников сбежал в овощной магазин, который был рядом с академией, набрал там лук, помидоров, огурцов. Минес выставил мясо и вино. Подтянулись ребята из других комнат со своими припасами. Получилась великолепная студенческая пирушка, на которой все перезнакомились, почувствовали дружеское расположение друг к другу. Так легко, свободно, непринужденно Сотников вошел в среду молодых художников, которые через десяток лет заняли командные высоты в искусстве.

Но с Минесом у него сложились особые отношения. Этот двадцатитрехлетний студент стал его настоящим учителем. Несмотря на юный возраст, Минес был уже зрелым художником. Он выполнял на «отлично» задания преподавателей академии и одновременно находился в свободном творческом полете. Картины его отличались колоритом, красочностью, импрессионистской динамикой, академической реалистической школой в них и не «пахло». В «Репинке» преподаватели, конечно, знали о работах Минеса Аветисяна и не ограничивали его. Так незаметно для себя Сотников через своего друга приобщался к импрессионизму, познавал таинственные глубины управления чувствами зрителя. Потом он стал изучать теоретические работы по живописи любимых Минесом Сезанна и Матисса. Но французы по-настоящему все-таки не увлекли Владимира Ефимовича. Он перекинулся на русских импрессионистов, творчество которых восходило к Александру Иванову и особенно ярко проявилось у Сурикова, Серова, Левитана, Врубеля, которые уже свой цвет складывали из красок природы, пространства, света, воздуха.

Чем больше Сотников погружался в работы Врубеля, тем сильнее поражался умению гениального художника мелкими дроблеными мазками связывать разноцветье между собой в общем орнаменте и эмоциональном единстве. Часами Владимир Ефимович мог рассматривать врубелевскую «Сирень». У обычного зрителя картина вызывает тревожное чувство надвигающейся темноты, в которой смутно проглядывает контур женщины, больше похожей на смерть, чем на фею сирени, как бы сотканную из теней, скопившихся по ветвям в сгущающихся сумерках. Сотникова как художника интересовала «механика» картины. Трудно писать сумерки, только

очень талантливые могли это делать. Под влиянием Врубеля научился Владимир Ефимович изображать в своих картинах сдержанно-изумрудное состояние природы, как никто из кузбасских художников. Картины «Забывшая высота», «Вечер в Горной Шории» – образец дивного творчества Сотникова.

Наверное, Владимиру Ефимовичу все-таки повезло в том, что он стал учиться на искусствоведческом факультете, который позволил ему очень глубоко «пропахать» обширный культурный пласт мирового искусства и особенно русского. Перед ним как перед студентом академии беспрепятственно открылись не только залы Эрмитажа, но и запасники с картинами запрещенных российских художников-авангардистов двадцатых-тридцатых годов. Там были и дорогие его сердцу Кандинский, Филонов. Владимир Ефимович смотрел на их работы и недоумевал, почему они не представляются широкой публике и фактически являются скрытыми. В академии духовные богатства всемирного искусства потоком хлынули в сознание кемеровского художника. Профессора на лекциях классифицировали этот поток, показывали взаимосвязь школ, направлений, философий, расширяя умственный кругозор слушателя.

7

Владимиру Ефимовичу с помощью Берга, не будучи членом Союза художников СССР, удалось попасть в Дом творчества «Челюскинский» для графиков. Летом 1973 года он приехал в Москву и сразу же отправился по знакомому адресу. Двухэтажный особняк, окруженный деревьями, выглядел чистеньким, уютным, ухоженным.

Рейнгольд Генрихович, увидев гостя из Сибири, заулыбался, поднялся из-за стола, вышел навстречу, радостно обнял, усадил за приставной столик, сам устроился напротив.

Берг интересовался делами Союза. Чувствовалось, что он в деталях знает жизнь Кемеровской организации, которой сам руководил много лет. И то, что говорил Сотников, возбуждало его. Иногда он с осуждением покачивал головой, тяжело вздыхал, а чаще одобрительно кивал. Под конец Сотникову сказал, сняв очки и протерев платком толстые выпуклые стекла:

– Тебе все-таки индустрия нужна. Она здесь высоко котируется. Без нее ты не попадешь в Союз.

– Я привез с Запсиба кое-какие замыслы, – ответил Владимир Ефимович.

– Добре! Сейчас это главная стройка страны. Штрих оттуда на вес золота.

Вернувшись поздно вечером в свою комнату, Владимир Ефимович стал обдумывать первый графический лист о Запсибе. В голове громоздились монументальные линии доменной печи со всеми подсобными сооружениями. Когда он наблюдал печь в натуре, то поражался мощи человека. Вот он, крохотная букашка со спичечную головку, ходит среди грандиозных черных конструкций космического организма и дает ему жизнь. На Запсибе у него возникло острое ощущение могущества человека. И теперь важно передать это чувство графикой.

Сотников решил в «Челюскинском» использовать черно-белую технику. У Пикассо он вычитал мысль о том, что черная графика должна быть цветной по восприятию. Владимир Ефимович много пробовал, добиваясь с помощью растяжек черного впечатления полифоничности цвета своей графики. Когда закончил свой первый лист и показал Бергу, тот сразу же отметил достоинство:

– У тебя пошла серебристая тональная линия. Домна стала воздушной.

В «Челюскинском» Сотников сделал пять листов литографии. Комиссия отметила необычную технику художника, свое видение индустриальной темы, умение мыслить космически...

К окончанию работы в доме творчества в Москве стала формироваться всесоюзная выставка художников. От Кузбасса с записиловской литографией попал туда Сотников. Затем его листы ушли на Всемирную выставку в Нью-Йорк. Вскоре издательство «Советский художник» в Москве выпустило книгу лучших графиков и скульпторов страны «Художники – девятой пятилетке», в которой опубликовало работу Владимира Ефимовича «Вторая доменная» из серии «Кузбасс индустриальный». Дорога в признанные государством профессионалы была открыта. В 1975 году он получил удостоверение члена Союза художников СССР.

Прошло еще шесть лет, и Сотников стал председателем Кемеровского отделения Союза художников Российской Федерации. Тут хотелось бы вернуться к началу шестидесятых годов, когда еще молодой талантливый дизайнер мучительно прорубал себе путь сквозь дебри препятствий в станковую живопись. «Переходу через Альпы» в совершенно новое творческое качество способствовала его поездка в Горную Шорию, которая для него стала неожиданным открытием и любовью, источником, говоря словами известного поэта, труда и вдохновения. В этот край он постоянно возвращался, находил в нем новые и новые темы для картин, поражался красотой природы.

Итак, начало шестидесятых. Полный ярких впечатлений и новых замыслов Сотников приехал из Голландии. Как только передохнул дома, сразу же пошел в Союз, чтобы поговорить с председателем о предстоящей дизайнерской работе. Там в приемной столкнулся с известным в области художником Гордеевым. Сухощавый, подтянутый, красивый, он выглядел щеголевато в черной рубашке и светлых брюках. Его зеленые глаза лихорадочно поблескивали. Он казался чуть-чуть подвыпившим. Увидев Сотникова, рванулся к нему, крепко ухватил за острый локоть:

– Володя, поедем в Горную Шорию!

Сотников знал, что юг Кузбасса для Гордеева – Мекка. Алексей, образно говоря, истоптал там каждую тропинку. По творческому характеру он был пейзажист. Сперва, как и все художники Кузбасса, в 50–60-х годах увлекался индустриальными темами. В этой сфере у него не было особых успехов, но славу добротного художника он все-таки получил, и членский билет Союза. Собственное «лицо» Гордеева стало проявляться в пейзажах, сдержанных по живописи этюдах. Одному путешествовать по горам было не очень комфортно, и Алексей активно притягивал знакомых к своим походам. На этот раз его выбор пал на Сотникова, который не успел еще остыть от Голландии и жаждал новых путешествий. Владимир Ефимович тогда много слышал хвалебного о Горной Шории: «Чудо-край! Вторая Швейцария!»

– Художнику жить в Кузбассе и не побывать на юге – это чудовищное преступление, – горячился Гордеев.

Владимир Ефимович протянул ему руку:

– Согласен. Когда двинемся?

– На следующей неделе. Чего тянуть!

Гордеев пригласил еще двоих – художника Виктора Семенникова и тележурналиста Юрия Светлакова, впоследствии ведущего популярной программы «Шаг за горизонт». Сотников особенно обрадовался последнему. Художники не особенно общительные люди. Работая в мастерских, они привыкают к одиночеству, больше любят слушать, чем говорить. Компания молчунов во время путешествия производит тягостное впечатление. От Светлакова же каждую минуту сыпались шутки, анекдоты, смех, он даже пытался разыгрывать художников. Семенникову уже в купе, когда поезд тронулся, сказал, что забыл деньги дома, и попросил займы. У бедняги глаза от страха округлились. Так ему не хотелось расставаться со своими кровными. Когда он стал совершенно серьезно уговаривать Гордеева и

Сотникова поделиться, Светлаков расхохотался и достал пухлый бумажник.

Шумной компанией художники заполнили купе поезда «Кемерово – Таштагол». Разложили по полкам свои пузатые рюкзаки, мольберты, папки с бумагой, военную плащ-палатку, которую по сходной цене купили на базаре. Малое вагонное помещение в один миг превратилось в склад, битком набитый походными вещами.

В купе оказалась молодая женщина. Она посмотрела-посмотрела на художников и веселого телеоператора, ни слова не сказала, вышла. Через пять минут вернулась, забрала свои вещи и дипломатично сказала:

– Не буду, ребята, вам мешать.

Так компания, к своему удовольствию, лишилась посторонних. Сразу же, как только дверь за женщиной захлопнулась с глухим металлическим стуком, Виктор достал бутылку вина. У Светлакова оказалась краковская колбаса, у Сотникова – свежие огурцы и лук, Гордеев извлек баночку сайры. Через десять минут в купе стало жарко и шумно. К художникам, как на мед, полетели какие-то личности, выпивали, закусывали и растворялись в красноватой, покачивающей со стуком мгле вагона. К часу ночи ребята уgomонились, когда поезд задержался на станции Белово, а потом спали почти до самого Таштагола, даже не заметив, как проскочили Новокузнецк.

В самый южный город Кузбасса приехали во второй половине следующего дня. Сгрузились на платформу. Перед ними вырос крепенький молодой человек в желтой футболке. Короткие рукава открывали мускулистые руки с синими, традиционными для того времени наколками. Семенников опасливо шевельнул глаза на них. Парень спросил, окинув взглядом вещи:

– Вы художники?

– Из Кемерово, – выдвинулся к нему Гордеев. Намедни он позвонил в Таштагольский горком, рассказал секретарю по идеологии о своем намерении побывать в Горной Шории и попросил содействия. Оно явилось перед художниками в лице крепыша в желтой футболке. Тот оказался шофером горкома и пригласил гостей в зеленый уазик. Вещички вмиг перекочевали в машину. Художники с комфортом поехали в поселок Спасский, который был километрах в пятнадцати от города.

Местные власти поселили художников у доброй хозяйки Галины Тимофеевны. Муж у нее давно умер, дети выросли и уехали работать в Таштагол. Практичная, еще сравнительно молодая женщина, лет сорока пяти, превратила свой большой добротный дом в гостиницу для приезжих. Как только художники устроились у нее,

Галина Тимофеевна сразу же пригласила их к столу в гостиную. На белой скатерке живописно красовался великолепный натюрморт из золотистого круглого картофеля в деревянных чашках, белого очищенного лука, зеленых огурцов, кусочков поджаренного коричневого мяса, кринка молока и, что особенно вдохновило гостей, бутылка «Московской». Возле этого богатства ходила торжественная, радостная, какая-то пасхальная Галина Тимофеевна в темно синем с белым горошком платье и душевно, по-русски приглашала к столу, показывая широко рукой на снесь:

– Кисло, сладко, солоно, пресно: хлебнешь – упадешь, вскочишь – опять захочешь.

– И не раз захотим, – улыбнулся Светлаков, отодвинул стул, уселся и добавил: – Угодила хозяйка! Страсть как угодила.

А Гордеев, известный сердцеед, подошел к женщине, чмокнул в наливную, кровь с молоком, щеку. Она смутилась, покраснев, и заботливо спросила:

– Может, одной бутылки мало?

– Хватит! – замахали дружно руками художники. – Нам еще надо сегодня поработать, пока не спряталось солнце.

Пообедав и захватив этюдники, краски, раскладные стульчики и зонты, они гуськом один за другим пошли осваивать окрестности поселка. Когда проходили на окраине возле отдыхающего стада коров, черная молодая поджарая буренка с короткими острыми рогами вдруг поднялась и агрессивно двинулась за ними. Семенников попробовал отогнать ее, замахал руками. Корова нагнула голову и выставила воинственно рога.

Светлаков рассмеялся:

– Так просто она не отстанет.

Водрузил на плечо кинокамеру, застрекотал. Корова остановилась, повернулась к нему, гордо вскинула морду и замерла.

– Позирует! – ахнули художники.

Красивое место нашли на берегу Кондомы в трех километрах от поселка. Каждый облюбовал себе вид, поставил на гальку плоского берега зонт, мольберт с акварельными красками, приготовил бумагу и углубился в работу. Светлаков долго с кинокамерой кружил вокруг Гордеева, нацеливая на него объектив. Чувствовалось, что тот будет главным героем его телекиноэпопеи. Алексей был уже членом Союза художников. Ему отдавалось предпочтение. Остальных он снял мимоходом, общим планом.

В тот же вечер оператор на рейсовом автобусе уехал в Таштагол, где у него были еще дела. Художники стали осваивать живописные окрестности Спасского.

Писали этюды акварелью. Работая, они с воодушевлением поглядывали на Мустаг. Первым не выдержал Гордеев. Дня через два отправил товарищей на пленэр, а сам пошел на аэродром, который был рядом с поселком. Оттуда вернулся предовольный и сразу с порога выкрикнул:

– Летуны завтра подбросят нас к Мустагу.

Художники радовались, как дети. Встали в круг, обняли друг друга за плечи и запрыгали на месте. Из своей боковой комнатки выглянула удивленная хозяйка. Ей объяснили, в чем радость. Женщина мгновенно среагировала по-своему:

– Может, вам бутылочку купить?

– Купить! Купить! – заорали дружно художники.

На следующее утро они со своей громоздкой амуницией заявили на аэродром. Там художников пригласили в домик, на деревянном большом столе растелили очень подробную карту Горной Шории, показали карандашом, над какими горами будут пролетать. Потом гостей загрузили в вертолет. За штурвалом было двое летчиков. Один, черный, лохматый, с острым носом, управлял. Другой – высокий, рыжий, веснушчатый, взял на себя обязанности гида и толково, перекивая шум мотора, объяснял, над какими местами они пролетают. Вертолет шел очень низко, и было видно каждое дерево на склонах.

Вдруг летчик радостно вскрикнул, показывая рукой:

– Ребята, смотрите! Медведь!

Внизу по камням речушки вальяжно ступало мохнатое существо. Вертолет потянулся к нему. Медведь испугался и с необыкновенным проворством юркнул в прибрежные густые тальники. Бурое пятно мелькнуло среди зеленого поля два раза и пропало. После этого вертолет снова взмыл вверх. Теперь художники могли видеть красивую грандиозную панораму мохнатых гор. Они походили на зеленый волнистый бархат.

Чем ближе вертолет подлетал к Мустагу, тем становилось меньше растительности. В километре величественная гора выглядела не такой уж привлекательной, как издали: острые серые камни, прослойки снега, обрывы. Сотников почему-то подумал о луне. Она такая романтическая, светлая с земли, а если оказаться на ее поверхности, то ужаснешься, наверное, черным зубцам гор и провалам.

Летчики высадили художников на площадочку в сто квадратных метров и улетели, обещав вечером вернуться за ними. Ребята помахали отлетающему вертолету, похожему на стрекозу, в полете которой видно лишь тело без крыльев.

Сотников поставил этюдник, расправил над собой зонт, чтобы голову не напекло и тень падала на бумагу, которая под прямыми лучами солнца слепит глаза, отсвечивает и искажает цвет изображения. Глазами нашел две горушки, напоминающие замшелые морщинистые лбы глубоко закопанных в землю великанов. В Горной Шории немало легенд о богатырях, которые ушли в пещеры и застыли там. Может быть, перед художником обнажились головы спящих героев-воителей.

Писали целый день. К вечеру, когда солнце приблизилось к горам и восточные склоны погрузились в густую темь, летуны вернулись за ними. Спрыгнули с вертолета, ходили возле этюдов, разложенных на камнях, восхитились мастерством художников, которые щедро одарили их своими работами. Летуны бережно, как только что родившегося ребенка, взяли в жесткие руки этюды и унесли в машину. Потом они вновь выбрались из кабины и стали помогать пассажирам загрузиться. Вертолет обратно летел, словно по смазанному шоссе, его ни разу не тряхнуло, не закрутило в воздушных потоках. Полные необычных впечатлений художники вернулись в гостиницу, поужинали и стали собирать вещи в дорогу. Завтра предстояло уехать в Кабырзу.

Утром за художниками приехал уазик со знакомым горкомовским шофером. На этот раз он был в полосатой рубашке с закатанными по локоть рукавами. Подъехал к дому-гостинице, пронзительно прогудел, не выходя из кабины.

– За вами! – сказала Галина Тимофеевна.

Художники в это время еще сидели за столом, допивали чай. Сигнал заставил их поторопиться. Перетащив поклажу в машину и сложив там на заднем сидении, ребята вернулись в дом, нежно простились с Галиной Тимофеевной. Каждый обнял добрую женщину. На память о себе оставили этюд и на обратной стороне расписались.

И снова колеса газака стали неумоимо измерять горную асфальтированную дорогу. Теперь художники не так жадно оглядывали склоны, пресытились уже ими. Сотников, который меньше всех спал в эту ночь, отключился. Он открыл глаза, когда за стеклами уазика предстали «хрущобы» Таштагола у крутой горы. Переехали мост, машина покатила по берегу реки мимо стен обогатительной фабрики рудника. Потом сразу же пошли горы и тайга...

До Кабырзы доехали во второй половине дня. Поселок был гораздо меньше Спасского. Он состоял из деревянных домиков, кучками разбросанных по берегу Мрассу. Не доезжая поселка, машина свернула влево и

по гравийной дороге среди зарослей елей, пихт и малины помчалась к большому дощатому покрашенному дому, который принадлежал шахтостроительному тресту. По субботам и воскресеньям сюда ездили работники треста, останавливались на два дня и отвязывались на свежем воздухе: ловили рыбку, собирали грибы, ягоду, вечерами устраивали пирушки возле костра с песнопениями, танцами, любовными приключениями. Бывали здесь и туристы, но за жительство в доме им приходилось расплачиваться по гостиничным расценкам.

Как только машина остановилась у крыльца, из дома вышла смуглая женщина с раскосыми черными глазами и густыми смолянными волосами, скрученными на макушке. Сооружение напоминало башню, перевязанную у основания красным платочком. В мочках ушей женщины сверкали золотые шарики. Одетая она была в синеватый халат уборщицы. Подойдя вплотную к художникам, которые с удовольствием выбрались из уязика и разминали затекшие ноги, представилась:

— Глаша, комендант этого дома. Вам уже приготовлены комнаты. Идемте, я устрою вас в левом крыле с видом на поселок.

Она обаятельно улыбнулась и повела гостей в дом, где каждый получил по комнате. Всем уже поднадоело коллективное житье в Спасском, художники рады были отделиться на время и пожить в «царских» условиях.

На следующий день утром они пошли знакомиться с поселком. Здесь царила тишь и благодать. Никого из жителей не было видно. Они разошлись по тайге. Кто сено заготавливал, кто ягоды. На улицах гуляли сонные куры, и в пыли купались розовые жирные поросята. Художники сделали несколько этюдов. Особенно лирические получились у Семенникова. Два домика на берегу реки, легкий дымок из труб. Перевернутая днищем вверх лодка на галечнике. От обстановки тянет задумчивым деревенским спокойствием. Гордеев и Сотников искренне поздравили товарища с удачей. Сами же они больше занимались подготовкой к путешествию по Мрассу. К вечеру нашли местного жителя, который по сходной цене согласился продать добротную лодку с шестью веслами. Стали закупать продукты и укладывать в мешки так, чтобы они, даже попав в воду, не испортились. Два дня ушло на сборы. Художники рассчитались с комендантом за жилье, подарили ей этюд поселка со своими автографами, обняли на прощание и вошли в лодку, шестью оттолкнувшись от берега, поплыли по быстрому течению вниз. Теперь предстояло целый месяц добираться по горной реке до Мысков.

Вода справа огибала большую темную гору, которую шорцы называли Кара-Таг. Сотникову очень хоте-

лось подняться на нее, но для этого не оказалось времени. И теперь он, сидя на носу, с удовольствием разглядывал эту мрачную громадину. Она в переводе на русский называлась темной (Кара), потому что солнце только утрами освещало видимую жителями Кабырзы сторону горы, остальное время дня скрывалась за гребень и казалось, что Кара-Таг погружен в вечную тень. Однако Сотникову не пришлось долго любоваться темными оттенками склона, река сделала еще петлю и вынесла лодку к скале до неба, если смотреть снизу. Было такое впечатление, что здесь поработал гигантский каменный топор. Он снес половину горы, кое-где обтесал породу, которая торчала множеством малых и больших обрывов, между ними зеленели хвойные деревья. Удивительно, как они умудрялись там жить на сплошном камне без воды. Позднее Сотников услышал легенду. Когда-то в незапамятные времена в этих местах жил молодой и храбрый охотник. Однажды, догоняя лося, он на коротких лыжах скатился по этому обнажению и остался жив.

Художники бросили весла, схватились за карандаши и бумагу. Сперва набрасывали скалу с натуры, потом некоторые детали по памяти, потому что лодку быстро отнесло течением, и местность стала меняться. Горы обмельчали, стали приземистыми, но густо покрытыми тайгой. Наконец художники успокоились и снова взялись за весла, обмениваясь впечатлениями.

В тот день им не пришлось долго плыть. На правом берегу показались домики улуса Шор-Тайга. Это был чисто шорский поселок. Ни одного русского лица художники не увидели там. На берегу их встретили подвыпившие мужчины, одетые вполне современно в серые хлопчатобумажные рубашки, штаны. Несмотря на жару, одни были в резиновых сапогах, другие — босые.

Когда художники причалили, из толпы выделился невысокий, плотный, сильно загорелый мужчина лет сорока. У него было умное интеллигентное лицо с широкими черными бровями, узкими глазами и слегка скошенным подбородком. Он тепло пожал каждому руку, назвался Семеном. Оказалось, что это председатель поссовета, которому уже сообщили о гостях и попросили хорошо их встретить.

Семен устроил художников в домик Марии Прокопьевны Идигешевой, семидесятилетней шорки, широкоскулой, желтолицей, с худым маленьким телом, закрытым сатиновым платьем до щиколоток, и всегда в белом платочке. Пожилая женщина была необыкновенно чистой. Половицы своего маленького дома выскребивала песком так, что они золотились, сияя под лучами солнца. Прежде чем войти в комнату, гости тщательно вытерли подошвы сапог о влажную тряпку у

порога. И конечно, первой натурщицей для них стала эта добрая трудолюбивая хозяйка. Пока она сидела возле окошка, задумчиво подперев рукой голову, Сотников старался разговаривать женщину. Это удавалось ему. Она охотно вспоминала свою прошлую жизнь, которая начиналась до революции. Мария Прокопьевна негромко, монотонно говорила, перемешивая русские слова с шорскими... Сотников рисовал.

Через три дня путешественники вновь отчалили. Было прекрасное солнечное утро, вода серебрилась от бликов. Коровы подходили к реке, протяжно мычали, вытягивая вперед влажные морды. Художники, видимо, очень понравились этим животным. Они так трогательно провожали их. Впрочем, и жители не обошли вниманием. В лодке стояли две фляги: одна с медовухой, вторая с медом – подарок на прощание. Пожимая руку художникам, они наказывали обязательно побывать на пасеке Николая, у него самый лучший мед в Горной Шории. Он самый искусный пчеловод.

Река ниже Шор-Тайги расширялась и быстро несла лодку вдоль живописных берегов. Путешественникам после увлекательной и напряженной работы хотелось отдохнуть. Они просто сидели, отдав лодку на волю течения, и обменивались впечатлениями о жителях поселка. Хвалили шорцев за доброту, огорчались за непрерывное пьянство. «Когда они только работают?» – удивлялся Сотников.

К вечеру на левом пологом берегу показались какие-то ужасные, темные полуразвалившиеся бараки. Отдельно на пригорке стоял добротный деревянный дом, из которого вышел высокий мужчина и призывно помахал рукой. Художники поняли, что это знаменитый пчеловод Николай, и стали причаливать к берегу...

Когда лодка ткнулась в гальку, мужчина уже был около нее, ухватил за нос и сильно дернул. Лодка зашуршала, взбираясь на твердую плоскость, как на стол. Художники поднялись, шагнули за борт, протягивая руку пчеловоду. По широкой каменистой тропинке через гречишное поле он повел их к своему жилищу. За полем рядами стояли колодки, возле которых обильно летали пчелы. Один за другим они шли за хозяином, опасливо следя за очень трудолюбивыми и в то же время далеко не добродушными насекомыми.

Николай сразу произвел на Сотникова очень хорошее впечатление. Внешностью он походил на его отца, такой же высокий, остролицый. Не любил много говорить, но если скажет, как припечатает. О своих жужжащих подопечных он очень здорово выразился: «Всяк своим умом живет, пчела тоже». Сотников, пока шел за ним, решил, что обязательно напишет его портрет.

В доме гостей встретила миловидная беременная жена Николая. Она поздоровалась и сразу же скрылась на кухне готовить обед. Минут через десять народ уже торжественно сидел за большим столом. Перед ними в деревянных чашах горками дымились пельмени, большие, пузатые, как манты. От медовухи художников Николай решительно отказался, разлил по стаканам свою, чистую и очень крепкую. Выпив, Сотников ощутил в голове легкость, попытался встать из-за стола, но ноги не слушались.

За разговорами и день прошел. Хозяева постелили гостям в большой комнате. Владимир Ефимович только коснулся подушки, так сразу же провалился в сон. Когда открыл глаза, солнце уже заглядывало в окошки, выставляя желтые полосы на побеленных стенах. Его приятели еще дрыхли вовсю. Семенников лежал молча, уткнувшись лицом в подушку. Гордеев покоился на спине, у него было глубокое дыхание, оно выдавало протяжные рулады, как на саксофоне, одной нотой. Владимир натянул на себя спортивные брюки и стал выбираться из дома. В сенцах столкнулся с хозяйкой, она несла эмалированное ведро с молоком. Осторожно отодвинувшись в сторону, ласково улыбнулась:

– Как спал?

– Без задних ног.

– У нас тишина располагает к отдыху, – сказала женщина и дальше бережно понесла свой живот и ведро. Владимир проводил ее теплым взглядом. Беременные казались ему неземными существами. Физическая оболочка здесь, а дух витает в какой-то другой сфере. Это видно по слепому скользящему взгляду женщины, будто она смотрит на мир и не видит его, уйдя вниманием куда-то глубоко в себя. Такой взгляд очень точно отразил Леонардо да Винчи в своей «Моне Лизе». Может быть, она беременной позировала великому художнику?

Утро было превосходное. Солнце только-только стало пригревать охлажденный ночью воздух, высвечивая росу на траве. Сотников с крыльца увидел пасечника в марлевой маске у колодок. Поднял руку, помахал ему, приветствуя. Но тот, занятый пчелами, не заметил жеста.

После завтрака Гордеев и Семенников ушли на этюды, Владимир остался возле пасечника. Тот охотно позировал ему, занимаясь своей обычной работой: что-то строгал, сбивал рамки с озабоченным хмурым видом. Иногда по просьбе художника застыл в определенной позе с трубкой в зубах. Это был идеальный натурщик. Работа Сотникова быстро продвигалась. За несколько часов он закончил портрет, который потом демонстрировался на многих местных и республиканских выставках.

Наступило время отплывать. Погода в тот день испортилась. Река была в густом тумане. Накапывал дождик. Хозяева уговаривали задержаться, пока не наступит вёдро. Но плыть еще было очень далеко. Все, что можно было, около пасеки отработали, а просто празднo ждать погоды художники не могли. Поэтому, тепло попрощавшись с хозяевами, они выгребли на середину реки, вклинясь в самое сильное течение, на стрежень. На корме уверенно рулил бывалый Гордеев. Когда-то в молодости он плавал мотористом на катере по Енисею, умел сноровисто водить лодки и теперь управлялся тоже умело. Художники без особых приключений двигались вниз.

Спокойно они доплыли до речушки, которая впадала в Мрассу. Возле устья поставили палатку. Лодку наполовину затащили на высокий берег и преспокойно уснули. Ночью пошел сильный дождь. В горах вода от дождя поднимается, мелкие ручьи в одно мгновение становятся полноводными реками. Перед палаткой плавно текла вода, протаскивая мимо ветки и даже клочки сена. Лодки с продуктами, бумагой, красками не было нигде. Семенников ударился в панику, уселся, трагически схватился за голову:

– Все пропало!

Сотников забежал по берегу, высматривая лодку. Только Гордеев оказался самым хладнокровным. Он сказал:

– Успокойтесь, ребята! Лодка сама далеко не уплывет, прибьется к какой-нибудь коряжине. Надо собираться – и в погоню за беглянкой.

Путешественники быстро свернули палатку. Все, что осталось, погрузили на себя и по берегу двинулись вниз. Тут они почувствовали, что значит идти по дикой тайге. Деревья стояли плотно друг к другу, как частокол, много было валежника да еще мощная густая мокрая после дождя трава. Иногда приходилось прорубаться топором сквозь заросли.

Наконец они увидели свою лодку. Она застряла на другом берегу в зарослях тальника. Темпераментный Сотников не удержался и на всю округу, вызывая эхо, прокричал что есть мочи:

– Ура!

Семенников запрыгал на гальке, как индеец, всплескивая руками.

Когда чуть успокоились, задумались о том, как добраться до лодки. После короткого совета дружно выбрали на подвиг Семенникова, самого сильного, умелого пловца. Виктор безропотно разделся, плюхнулся в ледяную воду. Был уже сентябрь на исходе. Среди темно-зеленой хвои желтыми пятнами выделялись кроны берез. Что касается воды, даже летом в Мрассу она не

бывает чересчур теплой, а уж осенью кажется, что только-только вытекла из-под ледника. Виктор мужественно и очень быстро, взмахивая руками, переплыл реку, забрался на лодку и сильно задвигал веслом.

Минут через десять он пригнал «беглянку» к другому берегу. Вся поклажа в ней прекрасно сохранилась, даже бумага не намокла. Художники бросили в лодку палатку, спальные мешки и разожгли большой костер, просушивая одежду. Но сперва спиртом прогрели изнутри и снаружи Семенникова, чтобы не простыл. К счастью, в это время дождя уже не было, над рекой, над горами красиво синело высокое небо.

Через два часа путешественники вновь поплыли. Теперь уже писали этюды, не покидая лодки. Один рулил, другие работали кисточкой, карандашами.

Постепенно тайга стала показывать свою живность. То лось к воде выйдет, забредет в воду, чтобы напиться, опустит, потом поднимет рогатую голову, по морде стекают капли и со звоном падают в реку. Художники хватаются за блокноты, чтобы запечатлеть это чудное видение. То медведь начнет кругами охаживать стоянку. Сотников тогда понял, какой это чуткий и осторожный зверь. Он видел следы его присутствия, но ни разу медведь не показался на глаза. Однако ощущение от близости мохнатого соседа было не из приятных. Начинало ныть сердце, в грудь забиралась тревога. Люди не находили себе места от непонятного страха и старались как можно быстрее покинуть стоянку.

Непередаваемое словами впечатление осталось у Сотникова от Хомутовских порогов. Шорцы сложили немало легенд о них. Юная Мрассу рвалась через горы к Тому, своему возлюбленному. На пути ей встала Шаман-гора, которая не хотела, чтобы молодые соединились. На помощь девице пришли люди. Они разобрали гору и открыли проход для Мрассу. Но, видимо, работали не очень аккуратно, по всему руслу остались огромные камни, о которые разбивались влекомые сильным течением лодки. Тот, кто был в них, погибали поодиночке и группами. Возле порогов стоит памятник ребятишкам, утонувшим здесь. Но с художниками был замечательный лоцман Алексей Гордеев. Он сел в лодку, чтобы управлять. Сотников и Семенников пошли по берегу. Они держали одну веревку, привязанную к носу, другую, привязанную к корме, и так провели лодку через страшные пороги, которые растянулись на семь километров.

Грандиозные водопады, скалы, тайга вызывали у Сотникова сильные чувства. Он сделал множество карандашных набросков, акварельных этюдов порога. Уже дома написал картину «Царские ворота», стараясь передать в ней свои ощущения от силы и величия Гор-

ной Шории. Тогда-то, у порогов, Сотников пришел к убеждению, что тайга, Сибирь имеют вечнозеленый колорит, здесь в обилии были изумрудные, синие, сиреневые цвета... Вообще поиски колорита для любого художника были всегда трудными. На какие только ухищрения не идут, чтобы найти нужный оттенок для картины. Владимиру Ефимовичу помогают наклеенные на лист бумаги кусочки коры, бересты, веточки, листья, травинки и даже камешки. Лесные вещи подсказывают ему, как оригинально расцветить ту или иную картину. Когда в конце восьмидесятых годов Сотников с группой художников оказался в Германии, то написал там серию пейзажей, которые очень понравились немцам.

– Вы удивительно точно передали наш колорит, – говорили они.

Еще бы, Владимир Ефимович взял его с мышиных красок немецких мундиров, серых и белых вертикалей зданий, цвета почвы под ногами...

Между тем сурово надвигалась глубокая осень. Дни потянулись какие-то серые, промозглые, часто накрапывал дождик со снегом. Холодная сырость мучила путешественников. Они выбирали на берегу упавшую полусгнившую сосну или кедр для костра и, греясь, писали этюды. Ночами жгли валежник. Чтобы он не прогорал, по очереди выбирались из палатки и поддерживали огонь...

Путешествие перевернуло душу Владимира Ефимовича. Он почувствовал вкус к странствиям. Они стали образом его жизни. В Фонде был дряхленький старый автобус. Владимир Ефимович упросил директора отдать его художникам. Когда машина перешла в их руки, они превратили ее в походную мастерскую. На следующий год уговорил художника Зевакина махнуть на этом автобусе в Горную Шорию. В Карчите председатель поссовета предоставил им дом. Автобус поставили в оградке и целую неделю ходили писать луг, молодые елочки, отвесные горы. Владимир Ефимович завидовал Зевакину, который работал маслом. С акварелью была сплошная мука, листы от влаги коробились, краски растекались. И все-таки ему удалось справиться с проблемами. Работа в Карчите позволила хорошо подготовиться к очередной выставке.

Потом Сотников открыл для себя северо-восток Кузбасса. Туда снарядил походную мастерскую на колесах. С ним поехали художники Лобузов, Макеев, Корягин. По шоссейной дороге с ветерком добрались до Анжерки, покатали в Мариинск, за которым пошли просто великолепные по красоте места. Особенно Сотникову понравился Макарак. Там простиралась широкая лагуна, от которой невозможно было глаз отвести. Каждый облюбовал около нее место для себя, поста-

вил стульчик, мольберт и стал самозабвенно писать этюды.

Затем художники перебрались в поселок «Центральный», пошли на экскурсию в шахту по добыче золота. В забое Сотников подобрал кусочек руды и спросил горного мастера, который сопровождал его:

– Тут золото есть?

– Конечно!

– Можно взять?

– Берите. Мы всем гостям с удовольствием дарим такие кусочки.

Позднее в Кузбасс приехала искусствовед из Москвы. Она готовилась написать очерк о Кемеровской организации Союза художников. Владимир Ефимович подарил женщине золотиносный кусочек руды как символ нашего края. Подарок был с благодарностью принят.

Путешествие закончилось на озере Берчихуль. Там Сотников увидел удивительно красочные восходы и закаты. Зеркало этого огромного водоема вдохновило его на картину «Гроза над Берчихулем».

В последующие годы Владимир Ефимович стал осваивать Байкал. Там ему показали священную сосну, унизанную тряпочками. Дерево было низкорослым, толстым и в самом деле напоминало божка. От него веяло такой могучей древней энергией, что художник не мог отвести взгляда, зарисовав несколько раз. Потом дома он написал картину, которую так назвал: «Ритуальное дерево Байкала». Удивительное дело, когда он писал картину, его не покидало мистическое чувство, будто его кистью водит какая-то таинственная могущественная сила. И дерево на холсте получилось изумрудно-коричневой тональности, выступающее как бы из таинственности окружения.

И еще одно необыкновенное явление художник подсмотрел на Байкале. Ему рассказали местные жители, что камни на этом озере имеют способность подниматься и опускаться. Глядя на них, создается ощущение, что они живые. Сотников вспомнил сон, который видел в 1967 году. Тогда он работал в своей полуподвальной мастерской на Кузнецком проспекте. Во сне камень под бетонным настилом вдруг ожил и стал расти, пророс через мастерскую, пробил потолок и ушел куда-то вверх. Потом все исчезло, и Сотников не мог понять: то ли во сне, то ли наяву он это видел. И когда на Байкале слушал рассказы о живых растущих камнях, вспомнил свое видение. Наша природа усеяна загадками. Когда Владимир Ефимович бывает в тайге, в горах и встречает нечто «эдакое», то старается перенести это в свои живописные работы...

**Иван
ГОНЧАРОВ**

«СИЯНИЕ РОССИИ»

Диалоги с Валентином Распутиным

В. Г. Распутин проводил в Иркутске традиционный праздник русской духовности и культуры «Сияние России». Он – его идейный вдохновитель и главный организатор. На праздниках уже побывали известные русские мыслители, педагоги, писатели, артисты, ученые. Был удостоен и я этой чести.

В таких произведениях, как «Последний срок», «Прощание с Матерой» вплоть до «Пожара», исполненного трагического отчаяния, от распутинской публицистики до многочисленных гражданских речей звучит единый мотив – мотив потребности в сохранении нашей мудрой крестьянской культуры, духовных основ российского общежития, истинного служения Родине. В. Г. Распутин показал, как разворачивается апокалипсис, разрушающий прекрасную и вечную Вселенную, как уничтожается полноценная традиционная, полная спасительного труда одухотворенная крестьянская жизнь в ее гармонии с природой. Вот почему В. Г. Распутин не только писатель, но и самый деятельный защитник сибирской природы, отдающий свои силы борьбе за трепетное отношение к матери-земле. Особенно энергичен он был в сражении за озеро Байкал. В. Г. Распутин – чистая совесть России.

Вот как (разумеется, во фрагментах) складывалась день за днем моя работа в Иркутске.

5 октября.

В Иркутск прилетели 5 октября. К нашему удивлению, нас встретил в аэропорту беспрерывно занятый В. Г. Распутин с группой журналистов. Валентин Григорьевич пригласил к себе на сибирский ужин. Его жена Светлана Ивановна приготовила хлебосольный стол. Говорили много и откровенно. Вот наиболее запавшие в сознание мысли и раздумья В. Г. Распутина:

– Нас хоронят. Это опрометчиво. Мы крепко ослаблены, но не обессилены. Есть мощные русские люди.



И. Гончаров и В. Распутин

Разбойное поведение Ельцина, расстрел Белого дома вызвали подвиг самопожертвования, самого высокого героизма. Конечно, это избранные, лучшие русские люди. Но ведь таких всегда было мало! Их воспитывали наша жизнь, Церковь православная, история, школа.

– Человек на земле временен. Родина вечна.

– Потери наши гигантские: раздел Державы, широкое равнодушие русских к русскости, национальная рознь, корысть, исчерпанность покровительства славянам, гибель трудноисчислимых материальных и духовных ценностей. И однако Россия жива: мы снова впитываем в себя, как наши предки, национальные святыни; у нас есть люди, готовые отдать жизнь за Россию. Ныне у нас больше духовной мощи, чем было до либерально-криминальной революции. Идет, пусть пока еще не массовая добровольная национальная мобилизация. О ней должны узнать и дети в школе.

– Россия могуча. Она была сильна крестьянской идеологией – идеологией православия, государственности, ратного подвига, неиссякаемого трудолюбия, высокой целомудренности, связью с природой. Могло ли все это, формировавшееся даже не столетиями, а тысячелетиями, исчезнуть? Нет и нет. Народ в лучших сынах проявляет мудрость: занимается самосохранением, отторгает чуждую иноземную псевдокультуру, держит оборону, готовится к бою за государственное и национальное достоинство. Лучшим надо напомнить: надо заботиться о детях дома, в детском саду, школе. Величайший экспериментатор-педагог Л. Н. Толстой взял урок у европейской школы и пытался воплотить его в жизнь. Суть урока: дети рождаются чистыми.

Воплощение в Яснополянской школе: воспитывать детей в поиске истины, совести, проявлении врожденной одаренности, добре. Для рождающейся ныне русской школы Лев Николаевич – современник. Школа – отправной пункт детского творчества.

Иван Федорович Гончаров – директор Центра национального образования Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, доктор педагогических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат медали К. Д. Ушинского.

– Самое вредоносное сейчас – продажное, антирусское телевидение. – Улыбаясь, не то шутливо, не то серьезно Валентин Григорьевич добавил: – Останкино надо закрыть. Против него должны восстать все нормальные люди, но в первую очередь – родители, учителя. Иначе их труд – напрасность.

Моя реакция:

– Валентин Григорьевич, это не удастся. А вот нравственную цензуру надо ввести. Свободолюбивейший Пушкин стоял за такую цензуру и Карамзин. Цензорами были благороднейшие, умнейшие С. Т. Аксаков, Гончаров, Тютчев...

Завершение встречи было оптимистическим: пожимая наши руки, Валентин Григорьевич сказал:

– Конец нашей истории не близится. Мы переживаем чудовищный кризис. Преодолеем. Нам нужно вновь обрести способность защищаться, наращивать духовную мощь и созидать, расширяя патриотическое поле. И пусть знают внутренние и внешние наши враги, что с потенциально мощным русским народом шутки плохи. Ушли в небытие непобедимые армии перед физической и духовной мощью народа-богатыря. Нам нужно всем миром не допустить полного развала школы. В борьбу с нею, как и с Русской православной церковью, активнейше включилась «пятая колонна». У нас была далеко не дурная советская школа. Её, конечно, нужно лечить от дурного интернационализма большевиков и других бед. Но взять здоровое, лихо отринутое «перестройщиками», – наша важная задача.

6 октября.

Утром приняли участие в Крестном ходе. Много священнослужителей. Масса – народа. Немало молодежи и особенно людей среднего возраста. Колокольные звоны и концерт духовной музыки на глазах физически и душевно оздоравливали людей. Невольно думалось: на что посягнули революционеры 1917 года?

Осмотрели храм Собор Богоявления. Порадовал концерт духовной музыки. Как глубоко наши православные композиторы чувствовали душу народа России! Днем – открытие праздника «Дни русской духовности и культуры «Сияние России» в ТЮЗе и концерт «Песня русская, родная», посвященный памяти Г. Захарова. Это был превосходно срежиссированный ансамбль, куда входили добротное русское Слово, русская Музыка, русский Костюм. Последний куплет песни «Прощание Славянки» (музыка В. Агапкина, слова А. Мингалева) вызвал гром рукоплесканий.

*Правой верой Россия спасется,
Грянет маршем священной войны,
Русский меч над землей вознесется,
Попирая гнездо сатаны!*

*Благосклонна к нам Божья десница,
Вновь блеснут из-за тучи лучи,
Вновь восстанет из пепла столица,
И тогда в ножны вложим мечи!*

Поглядывая на лицо Валентина Григорьевича в течение дня, заметил: он живет в двух мирах – сверхземном и земном. На лице – молитвенное состояние. И тут же – грусть, вызванная мыслями о положении нашего униженного народа. Вспомнилось лицо Л. Н. Толстого: всегда без улыбки, без налета бодрости, но с налетом печали. И лицо благороднейшего из благородных писателей А. П. Чехова.

Вечером до ужина и во время ужина коснулся педагогического аспекта проблемы «Православие – Церковь – Школа». Вот частица беседы:

И. Ф. Г.: Наша Церковь, пока еще предельно ослабленная, бедная квалифицированными одухотворенными священниками, ищущая современного миропонимания, уже сейчас содействует воспитанию духовно-нравственного человека, если он, конечно, верующий.

В. Г. Р.: Это так. Предстоит неспешная сложнейшая работа. У нас есть массовая склонность к вере, но православная духовная культура являлась лишь для немногих краеугольным камнем в основании мирочувствия. Духовный капитал Русь-Россия собрала несметный. Это значит: страна может готовиться к более корневой вере. Такая вера – это христианские идеи плюс применение идей, православный русский быт, слияние православных представлений с повседневностью.

И. Ф. Г.: Церкви нужна помощь школы. Важнейшая форма помощи – ориентация учеников на православную проблематику в школьных дисциплинах: история – принятие христианства и многое другое, литература – изучение произведений с религиозной проблематикой; изобразительное искусство – иконопись, творчество духовных живописцев; музыка – постижение духовных композиторов, певцов; естественно-математический цикл – изучение жизни и деятельности религиозных естествоиспытателей.

В. Г. Р.: Нам надо умерить способность обличать себя, так развитую в Гоголе, Хомякове, Щедрина и других. И вести школьников за Сергием Радонежским, а на уроках литературы – в первую очередь за Федором Михайловичем Достоевским. Это до мозга костей гениальный православный писатель-мыслитель. Он изображал пороки русского человека, но доминировала божественная суть. Как духовный вождь, Федор Михайлович дал нам указание: каждому стать русским, т.е. православным. Добавим: и образованным, мыслящим. Это приведет нас к благоденствию и непобедимости.

7 октября.

Встреча со студентами и профессорско-преподавательским составом педагогического университета.

В. Г. Распутин обратился к аудитории:

– «Пятая колонна» бросила все материальные и духовные средства, чтобы изменить менталитет русского человека, переплавить его в рыночника, отринуть от русской самобытности, превратить в безропотную рабочую лошадку, в пустое существо. Это презрители русского народа. Их замысел нужно понять. У нас другой путь – неспешное духовно-нравственное восстановление, очищение и возвышение. Нужно новое воспитание русского духовного характера. Его воспитывает жизнь в целом, но первая скрипка – школа. Она системой знаний умудряет подрастающего человека.

Валентин Григорьевич представил меня:

– В России есть ученые, занятые созданием Русской школы. К сожалению, их крайне мало. Но только Иван Федорович Гончаров предан Русской школе всецело. Другой жизни в науке у него нет. Самоотверженный последователь и развиватель наследия Константина Дмитриевича Ушинского, десятилетия погруженный в глубины русской культуры, оратор, педагог милостью Божией. Он разработал свежую систему нашего национального воспитания и образования, уже успешно воплощаемую во множестве школ.

Я тезисно изложил концепцию русской национальной современной школы. К слушателям обратился со словами:

– Мы, ваши отцы, оказались несостоятельными «архитекторами» народной жизни. На вашу жизнь выпала задача создания вожделенной России. Вам нужен разумный план преодоления распутия, мудрые новые пути выхода. Нужно искать, но нельзя уподобляться слепым щенятам, тыкающимся туда и сюда. Негодность старых путей признаётся почти всеми, а света в конце тоннеля, кажется, никто ясно не видит. В этом – ваша огромная трудность. Свет этот рождается в школе и церкви. Учитесь уважать знания, в источниках культуры ищите чистую науку, презирайте лакействующих авторов перед властью имущими, брезгливо относитесь к тем, кто покорно склоняет голову перед очередным правителем, ищите неложных духовных лидеров. Рекомендую просеминарий – здесь постижение методов аналитической работы с первоисточниками: реферируются первоисточники, закладывается искусство их чтения и анализа. Растите в себе любовь, опирающуюся на волю к тяжелому продуктивному физическому и умственному труду. Отдыхайте, но пусть и ваш отдых будет недосужим досугом. Сколько в университетских коридорах праздношатающихся! Человека в юности губит ничего-

неделание, прожигание жизни в пивных, ресторанах. Здесь он заболевает тунейдством. Идите к православию. Некогда погашенные лампы вновь зажигаются у Святых, перед иконами поставлены свечи, разбитые колокола восстанавливаются и звенят, идёт церковная служба. Верно замечено: наш народ крещен, но не просвещен. У вас, студентов, завтрашних специалистов с высшим образованием, обогащенных нетленной светской и богословской культурой, есть возможность включиться в эту работу.

Мы, университетские преподаватели, учим вас плохо или в лучшем случае посредственно.

И до озвучивания этого тезиса Валентин Григорьевич слушал со всей полнотой внимания. Но в эту минуту он весь был внимание. Повернул голову ко мне.

Моё продолжение:

– Профессора и доценты читают лекции, обращают внимание на учебники, рекомендуют первоисточники, и вы идете путем дедукции: слушаете лекции, участвуете в семинарских занятиях, читаете учебники. Вы убиваете свою генетическую одаренность. Есть другой путь. Индукция велит: слушать, читать, созерцать, без чьей-либо подсказки наблюдать природу, мироздание, людей, общество, не скользить поверху, побуждать работать чувства, интуицию и творческое воображение, исследовать самостоятельно, не допускать тирании навязанных чужих мыслей и покорности уму. И здесь просеминарий заменяется семинарием, участники которого исследуют природу и общество.

Студенту университета предназначено стать глубокообразованным, эрудированным, просвещенным. Напомню из воспоминаний знаменитого историка М. П. Погодина: «Ходил в деревню к Ф. И. Тютчеву. Разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божественном Иисусе Христе, об авторах, писавших об этом: Виланде, Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо... Еще разговаривали о бедности нашей в писателях. Что у нас есть? Какие книги имеем мы от наших богословов, философов, математиков, физиков, химиков, медиков? О препятствиях у нас к просвещению». Им было по 17 лет.

Ищите интеллектуальных наставников, вступайте с ними в беседы, слушайте их, соглашайтесь и возражайте. В 1818 году А. С. Пушкин в первый раз пришел к П. А. Катенину, поэту, драматургу, критику, философу, протянул ему трость и сказал: «...Побей, но выучи».

8 октября.

Мое выступление в Институте развития образования перед учителями Иркутской области.

В. Г. Распутин представил меня:

– Сейчас перед вами речь будет держать Иван Федорович Гончаров – петербургский профессор, неутомимый энтузиаст рождающейся современной Русской национальной школы. Он своими многочисленными публикациями и бесчисленными выступлениями дает многим испить воды родниковой. Для многих и многих русская школа – это открытие. После 1917 года никто не говорил о русской школе. Одни находились в угаре интернационализма и космополитизма, другие боялись. Иван Федорович первый вышел из своей крепости с лозунгом «Спасение России – Русская национальная школа». Реакция педагогической общественности: тупое непонимание или враждебное отношение. Иван Федорович помогал окружающим прозревать, вдыхал в них смелость (понятие «русская школа» было под запретом). Возле него появились сочувствующие, помощники, сподвижники.

Я слушал Ивана Федоровича в Москве и здесь, в Иркутске. И убедился: это слишком русский человек. Он зависит от «почвы», от высокой, духовно-нравственной русскости. Не в его воле проявлять или не проявлять природу русской души, возвращенной русским православием и нашим многовековым бытием. Это порождает его предельную открытость.

Я говорил о гигантских проблемах, стоящих перед Россией, особенно таких, как повышение умственной

квалификации всего народа путем национального образования, углубление православной религиозности на базе богословской культуры и Возрождении православного образа жизни. Очертил цель и задачи русской школы и раскрыл своё понимание эталона личности Учителя русской школы¹:

Мое выступление закончилось вопросами «Подумайте и ответьте себе: Три достоинства учителя, которые Вы цените больше всего? Три «греха» учителя, которые нельзя простить? «Грехи» учителя, достойные прощения?

Повышенный упор сделал на необходимости знания учителем русской национальной педагогической мысли, классической и современной. Назвал с моей точки зрения, самые ценные источники².

Лекцию слушал и начальник Управления общего и профессионального образования Иркутской области Л. А. Выговский. Он сказал мне:

– Вы предлагаете ввести новые национально ориентированные предметы. Но это невозможно. На нашем пути – Госстандарт.

А так ли это? Начальник явно лукавил. Кроме стандарта, в учебном плане есть региональный и школьный компоненты. Они дают широкие возможности.

Мне задали много вопросов. Не буду их перечислять. Но на одном остановлюсь: «Руководство образо-

¹ – Педагогическое призвание.

– Ревностное служение Отчизне воспитанием в детях благороднейших черт истинно русского характера.

– Приверженность христианскому идеалу, уверенность в Боге, вера в Него, богоуподобление как высшая природа учителя, православный образ жизни.

– Одаренность, ум, мудрость, высокая умственная квалификация, способность по-русски мыслить.

– Профессионализм:

а) Уважение к знаниям, книголюбие, «голод» познания.

б) Знание базовой науки, ее философии, нравственного колорита.

в) Знание своего предмета, любовь к нему.

г) Твердое и кропотливое знание лучших русских и мировоспитанно – образованных идей.

д) Высокий уровень общей культуры, эрудиции, энциклопедизма, как предпосылка педагогического творчества.

е) Любовь к детям, учительство как материнство, героическое подвижничество.

– Артистизм:

а) Оптимистичность облика, светонность.

б) Дар речи, ее художественность и образованность, чувственность, искренность, страстность, проповеднический стиль.

в) Воплощенность русской личности в высокоразвитой, облагороженной форме.

г) Неистощаемое терпение, вера в лучшее в ребенке.

д) Романтизм, налет идеальности, умеренное дон-кихотство.

е) Вечная молодость души.

ж) Независимый образ жизни, отвага, правдолюбие, мужество в отстаивании своих убеждений, неспособность к конформизму, защита своей индивидуальности, умение быть собою, «самостояние», как «залог величия» (А. С. Пушкин).

з) Чувство меры, такт.

и) Демократичность (учитель и ученики – совопросники, собеседники, сотрудники, сотворцы).

к) Вызывание у детей душевного покоя, легкости на сердце, защищенности, участие в создании Школы как Дома умственных наслаждений, Дома радости.

л) Изящество облика, благородная наружность как гармония внешних качеств и внутренних достоинств.

м) Самосозидание своей личности, духовно-нравственный рост на глазах учеников.

² Завершая лекцию, особо подчеркнул:

– Учитель собственным человеческим и профессиональным примером показывает своим питомцам образец личности русского человека. На какие образцы ориентируется сам учитель? На подвиг самосовершенствования могут позвать писатели Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов. Из светских светочей – педагогов – М. В. Ломоносов, лицейские наставники – Ушинский, Толстой, Рачинский, Макаренко, Сухомлинский. Но повышенный ориентир – на русских Святых. Вот частица литературы о них: Нестор-Летописец. «Житие святых князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида».

вания Иркутска и Иркутской области категорически против предмета «Основы православной культуры». Мы неоднократно обращались в департамент. Безуспешно. Как попугаи нам твердят одно и то же: «У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. В классы будут входить учителя православной культуры. Чисто русских классов у нас нет. В каждом классе есть татары, башкиры, чеченцы, евреи и представители других национальностей. Как они себя будут чувствовать? Введение «Основ православной культуры» вызовет межконфессиональные конфликты и будет провоцировать межэтнические столкновения».

Мой ответ:

– В России 85 % народа – русские. Решительное большинство из них относят себя к православию. Ваши местные «образованцы» заботятся о том, как бы не обидеть католиков, мусульман, иудеев. Почему они не думают о том, как не обидеть русских учеников? Их родителей обижали учителя-атеисты, теперь – либералы-западники. Мы, русские православные, долго будем это терпеть?

Идет многовековая религиозная борьба – борьба между православием и иудаизмом, протестантизмом и католицизмом. В чем суть несогласия? В иудаизме – акцент на земной жизни: «Если держишь в руке саженец и тебе говорят, что пришёл Машиах (Мессия), сначала посади саженец, а потом иди встречай Машиаха». В США – даже в дружбе прикладные моменты. В России люди скреплялись в сыновьем и братском родстве. Это были сыны Земли Русской и братья во Христе. Духовное начало имело связующее значение. Но ныне многое улетучилось. Совесть, жажда Бога, благолепие, благородство, целомудрие, нестяжание, кротость, покаяние, смирение, любовь к человеку – это еще не весь перечень духовных качеств русского человека. У нас все родилось из христианства, православия, церкви, монастырей: книгописание, книгопечатание, просвещение, архитектура, живопись, литература, пение, музыка. Казалось бы, надо усиливать нашу идеологию, основанную на православной культуре. Это тем более важно, что нам нужно избавиться от атеизма (помните у Ф. М. Достоевского – «Русский народ в православии хорош, а без православия – дрянь»), христианской и православной безграмотности. Но не тут-то было.

Л. А. Выговский повернул голову в мою сторону и недружелюбно вслушивался.

Я продолжал:

– Не допускается факультатив «Основы православной культуры», чтобы не обидеть детей другой веры. Это уродливая педагогическая корректность: она унижает православие и одновременно усиливает взаимное межэтническое и межконфессиональное отчуждение. Разумно преподносимая православная культура – это путь к содружеству и единению, к упреждению междоцивилизационной борьбы, религиозной конфронтации.

Известно, что основная духовная пища русского народа – русское православие. Оно питает и научные, и художественные, и житейские устремления и знания. Духовно-определяющее начало русской школы, ее почва, недра, родник, живой корень, нерв – это русское православие, внесенное во все источники развития подрастающего поколения, во все системы религиозной и мирской культуры: именно оно дает наиглавнейшее – понимание смысла и назначения человеческой жизни.

Но сегодня все мы единодушны в том, что Родина нуждается в совершенствовании технической цивилизации. Ядро, стержень отечественной новой школы – русская культура в широком значении. Чтобы преобразовать наше общество – необразованное в глубине, мы признаны реализовать принцип всесторонней осведомленности и всестороннего освоения религиозной и светской культуры, единства и взаимодействия современного уровня науки и русского православия.

При этом нам не сдвинуться с замшелого места, если мы не признаем равноправия религиозной и светской культур и не добьемся совмещения, интеграции, синтеза, взаимопроникновения религиозно-православной веры и светского знания.

Наука и культура, естественно-математические и гуманитарные начала путем сближения, взаимообогащения являются живым источником цельной, гармоничной личности. Чем больше у личности контактов с действительностью и формами ее отражения, тем полнее и эффективнее она творчески проявляет себя.

Меня поддержал Валентин Григорьевич:

– Православность – самая резкая, самая отличительная черта русскости. Давным-давно народ в сердце принял главную заповедь Бога: «Бог есть любовь». Бытие России – Божье дело на земле. Административное недопущение наших детей в культуру православия – это

«Житие преподобного Феодосия Печерского». «Повесть временных лет». Илларион. «Слово о законе и В Благодати». Сказание о житии Александра Невского». Елифаний Премудрый. «Житие преподобного Сергия Радонежского», «Житие преподобного Стефана Пермского», Ермоген, патриарх Московский и Всея Руси. Издание Евангелий, Четьи - Миней, большого Церковного Устава. Иосиф Волоцкий «Просветитель». «Послание иконописцу». Нил Сорский. «Предание». Протопоп Аввакум. «Житие, им самим написанное». Святитель Дмитрий Ростовский. «Четьи – Миней». Святитель Феофан, затворник Вышенский. «Путь ко спасению». Елифан Премудрый. «Житие преподобного Кирилла Белозерского, Вологодского чудотворца». Макарий. «Великие Четьи – Миней». Федотов Георгий. «Святые Древней Руси». Преподобный Серафим Саровский. «Житие, пророчества, наставления». Избранные жития русских святых XVI–XX веков. Иоанн Кронштадтский. «Моя жизнь во Христе». «История русской святости». Филарет, архиепископ Черниговский, Жития Святых, чтимых Православной Церковью. «Русские святые. 1000 лет русской святости». Жития собрала монахиня Таисия.

путь дальнейшего ослабления нашего народа. Скажу определеннее: уничтожение русского народа путем духовного геноцида. Хочу по памяти напомнить точку зрения Александра Сергеевича Пушкина о Священном Писании: мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание: в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия – создательница искусства и литературы. Все, что было великого в самой глубокой древности – все находится в зависимости от религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Нам сам Пушкин – «наше всё» – сказал: «Писание надо читать». То есть изучать. Будем вместе бороться за изучение курса «Основы православной культуры». Снова Пушкин: Православие сообщило нам «особенный национальный характер». Почему же русские дети лишаются права и возможности более углублённо идти по пути национального самопознания?! А идея «Святой Руси» как идея самоулучшения перед лицом Божиим, как служение Богу, как исполнение Евангельских слов: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный»?! А русские праведники, рождённые православием и воспетые Лесковым?! Наши дети должны знать их облики: в самой значительной мере развитие и продолжение нашей истории держалось на них. Наша позиция: самооборона при обязательном введении курса «Основы православной культуры». «Основы православной культуры» надо вводить непременно, не оглядываясь по сторонам. Пусть нам никто не указывает, быть этому предмету или не быть. Православие построило нам, по слову А. С. Пушкина, «особенный национальный характер». И потому-то русская школа просто не может быть без православия. Оно выработало идею «Святая Русь», которая не подразумевает нас совершенными людьми, но внушает нам: православие – отличительная черта русскости, воплощение его в жизнь как нашей веры – главное дело нашего земного существования. И русскому учителю свойственно культурно-педагогическое «само-стояние» как «залог величия» (А. С. Пушкин).

Я продолжил:

– «Основы православной культуры» вызывают яростное сопротивление недругов России. Этот курс вводят герои, рыцари. А остальные могут идти более спокойным путём: решительно во все предметы вкрапывать христианские мотивы. Здесь возможности исключительно широки.

Наш разговор продолжился:

– Наших великих национальных учителей тревожила мысль о том, что русские люди крайне плохо знают себя и свою страну. Вот первые пришедшие на память имена: А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, К. Д. Ушинский, И. С. Шмелёв. Как вы полагаете, положение изменилось?

В. Г. Р.: Пушкин говорил о скудости познаний о России. Дальше пошел Гоголь. Он писал о великом незнании России посреди России. Советская школа была разной. Но всё же она давала более качественное образование, чем нынешняя. У нас есть Министерство образования. Но точнее его назвать Министерством безобразия. Помогать школьникам узнавать Россию и самое главное – понимать её – не в этом ли призвание Министерства народного образования? Но не тут-то было. Возьмите только один предмет – историю. Несметное количество учебников и пособий. Зачем? Чтобы затуманить Россию. Мы носим в сердце бессмертное стихотворение Тютчева «Эти бедные селенья». Министерство делает всё для того, чтобы в детские души поселить «гордый взор иноплеменный». Но руки у него коротки. Тот же Тютчев напомнил нам: мы под сенью благословения Господа Бога. Нас оплакает Бог. Мы уповаем на волю Божию. А упование – это поддержка, помощь в умном духовном делании. Сегодня ситуация кажется безнадежной: не на что уже надеяться и ничего светлого не предвидится. Но упование на Бога – это высшая степень надежды. Она нас поддерживает. Но мы знаем слова апостола: «Вера без дел мертва есть». Но и дело без веры – пустота, обречённость. Только одухотворённое идеей дело безмерно значимо. Мы верим в непобедимость нашей православной цивилизации, России и русского человека.

И. Ф. Г.: Как представляется Вам образовательное русло русской школы? Велики достижения советской школы, но сегодня такая школа выглядела бы уродством. Нынешняя школа порочна. И что же?

В. Г. Р.: В идеологии большевиков было много дури: мировая революция, классовая борьба, пролетарская солидарность, гегемон – рабочий класс и т. п. Отсюда обессиливающая человека «образованщина». Но мы первые в космосе! Без доброго, умного в школе это не могло случиться. Нашей школе, как и нашей цивилизации, светила духовность. Теперь школе навязывают иную судьбу: готовить рыночника. Это против нашей исторически сложившейся здоровой природы. Большевики, несмотря на потуги создать новую культуру, хотя в урезанном виде опирались на почву. Дети изучали и Державина, и Пушкина, и Лермонтова, и многих других «почвенников». А сегодня в школе? Почва выбивается, здоровые традиции отвергаются. Замысел ясен: добить глубинную историческую Россию. Господь создал таинственный многомерный мир. Нужно его познавать, чтобы человек мог надежно определиться в нем. Кроме качественной науки и религии, нужны ещё средства познания. Какие? Это вопрос.

И. Ф. Г.: Россия, по крайней мере на обозримом времени, нуждается в просвещенном абсолютизме. Его после переворота 1917 года управляли диктаторы-образованцы. Нужны образованные, могущие предвидеть результаты своих деяний хотя бы на несколько

десятков лет. Кто из правителей нашей страны представляется Вам как просвещенный диктатор, много полезного сделавший для просвещения народа?

В. Г. Р.: Пётр Первый. Он не имел классического образования. Но как гениальный человек наблюдал, постигал виденное, смотрел далеко вперёд. О нем другой наш гений написал: «Он смело сеял просвещение». И это правда. Сегодня либералы-западники враждебны исторической России. И снова Пушкин о Петре: «Не презирал страны родной – он знал её предназначенье». Для него процветающая Россия на первом месте, а он, царь, ниже, второстепеннее. Мы помним его возглас перед Полтавской баталией: «О Петре ведайте, что жизнь ему не дорога – цвела бы Россия». Он многое брал в Европе, не теряя русской своеобразности ни в своей личности, ни в лике России. Быт нашего народа был крайне неудобен для естественного состояния человека, в застывшем положении Пётр создавал новый русский быт, более целесообразный. На лике России возшла заря.

И. Ф. Г.: Валентин Григорьевич, не могу полностью с Вами согласиться. Вижу в Петре два лика: с одной стороны, страстное желание сделать Россию благополучной, сохранить её именно как Россию; с другой – безоговорочный пиетет перед Западом, насильственная пересадка на русскую почву европейских порядков, обольщение Европой, отречение от заветов предков. Чего стоят одни только указы Петра: Переодевайтесь! Бороды сбрызнуть! Немецкий кафтан одеть! Табак курить! Водку пить! На попойке всем быть! Марш в ассамблею! Это было не эволюционное развитие страны. Тут, конечно, сказывался страстный русский характер, темперамент, желание мгновенно заменить вековечное, крепчайшее. Царь боролся с русской почвой, русскими обычаями и нравами, русский быт и бытие заменял иноземным. И всё же в Петре – очарование: гениальность, любовь к родной стране, титанический труд во имя её блага, великая воля созидания.

В. Г. Р.: Да, это так. И всё же последствия деятельности Петра оказались благими. Обратите внимание на поместное дворянство последующих за Петром десятилетий и столетий. Столичная бюрократия была перемолочена на европейский лад. А поместное дворянство оставалось почвенным, но уже было образованным, просвещенным.

И. Ф. Г.: Как Вам видится общее направление воспитательно-образовательной работы школы?

В. Г. Р.: Любовь к Родине. Она обретается медленно. Начало начал – семья. В ней – любовь ребенка к ней самой – к семье, матери и отцу, родному очагу, родственникам, окружающим. В родном очаге ребёнок укореняется в земле, на которой рождён, в родном крае, в Боге и вере. Семья – это тепло. В этом уюте, в этом тепле ребенок получает материнские и отеческие наставления, обретает единую материнскую и отече-

скую веру. Семья – это почва. Ребёнок осознаёт её через материнское молоко. Окормливание с пелёнок душевным, органическим, родным – это духовная ипостась, это соками семьи зарождение любви к окружающему, родному краю, родине. Школьное воспитание и образование – это тоже материнское молоко. Здесь продолжается семья, здесь ребёнок поднимается на более высокую ступень. Ему внушают мысли об Отечестве, гражданском служении ему. Место рождения сознательного русского человека, русского характера. Доброе, заложенное в семье, в хорошей школе не пропадает.

И. Ф. Г.: Вы, Валентин Григорьевич, говорите об идеальном – о симфонии семьи и школы. Наша работа – воспитание любви к родному краю и шире – к стране, большой Родине. Эта любовь рождается в родном очаге, в образе жизни народа, и расширяется, укрепляется в школе. Не будем затрагивать образ нынешней семьи – продолжим разговор о школе.

В. Г. Р.: Идет борьба двух тенденций – русского национального самосознания и русофобского. Русское сознание напитывается родным духом, национальными традициями, материнским молоком в широком понимании. Кое-что в этом направлении делается. Школа открывает отечественные родники живой воды. Дети знакомятся с такими совершенными личностями, как Пушкин, Гоголь, Аксаков, Достоевский, Тютчев, Толстой. В естественно-математических науках это Ломоносов, Менделеев, Вернадский и множество других. Высокие качества этих совершенных людей, как и избранных простых людей, хранятся в глубинах сознания подрастающего человека. Но сейчас у «образованцев», руководящих образованием в стране, другая цель: перестроить детские и юношеские души на рыночную, европо-американскую колодку. Все корёжится: почва, традиции, народный православный образ жизни, многовековые быт и бытие. Нынешняя Россия нахраписто вырывается из России исконной, исторической, глубинной. Эта сознательная перестройка – свидетельство жестокой борьбы в сфере образования. К чему это приводит? Напомню статью Розанова «Три главных принципа образования», которую Вы, конечно, хорошо знаете. В ней есть справедливое утверждение: образование строится по принципу взаимоисключающих и взаимопоглощающих лучей. Один принцип явно не по душе «образованцам», засевшим в министерстве. Это опора на крошечные остатки традиции («Это – я»). Второй – любимое дитя министерства. Так называемая инновация: «Это моя пустота». С пустотой легче переродить русских православных детей. Со «старой закваской» не сладить.

И. Ф. Г.: Мы не можем действовать в смятении и отчаянии. Сидеть сложа руки и молчать – это предавать

школу и шире – Россию. Как Вам, Валентин Григорьевич, видится путь спасения, по которому мы стараемся вести нынешнюю русскую школу?

В. Г. Р.: Русский язык. Надо выполнить клятву Ахматовой в блокадном Ленинграде: «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Тогда сохранили от внешнего врага. Теперь приходится и от чужого, и от «своего». Рядом – русская литература и история. Всё это в нераздельности. И вместе с русской школой наша православная русская церковь. К названному триединству добавляется ничем не заменимое воздействие молитвы. Получается квартет. И подрастающий человек, слушающий музыку этого квартета, не сможет ни при каких обстоятельствах оторваться от родной земли.

И. Ф. Г.: Я смотрю на вопрос несколько иначе. Представляется целесообразным спецкурс «Русский язык как явление национальной культуры». Необходимо изучение церковнославянского языка – без него не войти в глубины православия. Сложен вопрос с историей. Её надо изучать. Но ведь до сих пор нет доброкачественной истории государства российского и хотя бы сносной истории русского народа. Вспомним, к примеру, запись Л. Н. Толстого 4–5 апреля 1870 года об «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева. Несколько проще вопрос о литературе. Но и здесь нужно иметь в виду, что и она нередко наносила огромный вред русской школе. Вспомним только её участие в подготовке переворота 1917 года. Что касается «молитвы», то здесь необходимы два предмета: «Русское православное вероучение» и «Христиански-православная культура» (с историей русского православия).

Вас, Валентин Григорьевич, тревожит великое незнание России и столь же великое непонимание её. Избавиться от этой беды нельзя только языком, историей, литературой и православной культурой. Необходимы новые национальные предметы: «Бытовая культура русских», «Россия и мир: творческое взаимообогащение», «Этнография русского народа», «Этнография народов России», «Русская православная цивилизация», «Русский ум», «Святые России», «Светочи России», «Русский национальный характер», «Семья, родство и свойство в России», «Культура русского современного земледелия», «Национально-религиозные основы современного земледелия», «Культура деловых отношений Запада в свете традиций России».

В. Г. Р.: Ваш девиз?

И. Ф. Г.: На парусах русской национальной школы к сокровенной, исторической и ранее не бывшей России, глубоко православной, стремящейся к идеалу добра и животворной красоты, по-настоящему просвещенной, освободившейся от образованщины и ставшей образованной, самостоятельно и поголовно продуктивно мыслящей, беспрерывно трудолюбивой, достигшей более высокого уровня жизни, всеобщего благосостояния, до-

статка, безбедности, сохранившей лидерство русской нации в сбережении целостности России, весьма значимой на планете.

В. Г. Р.: Это грандиозная проблема – русское национальное воспитание и образование, осуществляемые в современной русской школе. Нужен учитель новой формации: национально-избранный, начитанный, я бы сказал, совершенно исключительной образованности, просвещенности. Такой учитель сможет широко открыть школьные двери для подлинных национальных учителей: преподобных и богоносных отцов русской церкви; для славянофилов, «почвенников» и евразийцев; для русского искусства. Такой учитель не допустит к своим ученикам тех, кто оплевывает наше прошлое, унижает Россию, опошляет русского человека. Такой учитель будет опираться на тщательно изученную отечественную педагогическую мысль в лице Ушинского и его последователей, Пирогова, Толстого, Рачинского....

И. Ф. Г.: В РГПУ им. А. И. Герцена уже приступили к воспитанию такого учителя. Создан первый в истории российского просвещения учебно-методический Центр национального образования, в котором обучаются руководители управлений образовательных учреждений, директора школ и их помощники, учителя новых национально-ориентированных предметов («Русский ум», «Светочи России», «Святые России», «Русский национальный характер» и многие другие).

В. Г. Р.: Сейчас нам навязывают американский стандарт образования. Но у нас есть своя весомая педагогическая культура, которую Вы отлично знаете. Её надо возрождать, продолжать, развивать. Высшая педагогика – это национальная педагогика. Есть мудрость и в западной педагогике. РГПУ им. А. И. Герцена идет по новаторскому правильному пути – по пути совмещения главного, глубинного, почвенного и плодотворного зарубежного. Выражаю личную писательскую благодарность тем, кто особенно по-деловому поддерживает Вас, Иван Федорович: ректору Г. А. Бордовскому, проректорам С. Б. Смирнову и В. П. Соломину.

Наступило минутное молчание. Его прервал Валентин Григорьевич:

– Отечество корчится в муках. Помочь ему – получается плохо.

И. Ф. Г.: Почему? У нас есть мудрые и деятельные сыны и дочери. Но их дело не подхватывается так, как того требует все более острая и драматическая обстановка России. Что же мешает?

В. Г. Р.: Разобшение лучших сынов России. Нам вредят амбиции, обиды, непременно «своя» точка зрения, неумение слушать других, предельно ослабленное сознание общности, каждый хочет быть лидером. Но ведь лидерами себя не назначают. Лидерами становятся. Главное сейчас – забыть все осложнения, не выяснять

отношения и позиции и прямо-таки кинуться общими созидательными делами спасать Россию. Подавить любое недружелюбие (а порой и враждебность), взяться тепло за руки и отводить Отечество от гибели. Нужна всеобщая миротворная жертва. Она более трудна, чем жертва на поле сражений. Но мы должны ориентировать народ на это. В русской школе имеет смысл ввести предмет «Культура национального общения».

И. Ф. Г.: Россия никогда не жила стабильно хорошо. Хотя у нас были – и неоднократно – периоды краткого благоденствия. Это наша судьба. И наши потомки будут сводить концы с концами?

В. Г. Р.: Будут жить лучше нас и наших предков, но при условии: если мы подготовим добротную почву. Я разделяю Вашу позицию: тут первое слово за школой. В ней дети должны готовиться к более гармоничному цивилизационному устройству быта.

И. Ф. Г.: Русский народ не хочет быть Конягой. Он исчерпал свои возможности жить на пределе. Ему не нужно богатство, но в достатке он нуждается. Не кажется ли Вам, Валентин Григорьевич, что мы, не теряя в духовности, должны позаботиться о выходе из хронической бедности? А путь к этому – совершенствование ума народа путем добротного национального воспитания, образования и просвещения.

В. Г. Р.: Согласен с Вами. Наш народ – добрейший народ. Он житейски мудр, трудолюбив, в нем есть тяга к святости. Но далеко не все русские были верующими. Душу нашу «проматывали» долго и разными путями. Её созревание прервали. Освободиться от безверия – этому надо помогать и литературой, и всей нашей православной культурой. Но и этого мало. Мы должны стать поголовно – всем национальным опытом – воспитанными, просвещенными и образованными. Поставить заслон невежеству. Тогда и природный ум укрепитсся наукой. Помимо школы этого достичь невозможно. На русскую школу самая большая надежда!.. Русскую душу кромсали и кромсают. Но православная святыня, хранящаяся в ней, – в неприступной крепости. Сатанизм, начавшийся до революции, развернувшийся в 1917 году и продолжающийся по сей день, побудил нашу душу повторить судьбу опустившегося на дно града Китежа. Русская душа покорена, но не разрушена до конца. Пусть русская школа, в создание которой Вы вкладываете все, вплоть до благородного фанатизма и неистовости, и русская православная церковь, набирающая силу после кровавой сечи, будут духовными озерами нашей смены. Пусть в душе каждого будет чистое озеро души, как некогда был безукоризненно чистым священный Байкал.

И. Ф. Г.: Русская национальная школа – оазис самобытного продуктивного мышления. Россия остро нуждается в крупных национальных умах. Русским свойственна генетическая высокая одаренность. Только путем долголетнего образования у нас, в России, появится достаточное количество продуктивно мыслящих

людей, великанов государственного национального ума. В нашем народе – величайшие, несокрушимые подспудные силы, огромная сила духа и творческая энергия, обаяние. Вижу одно из призваний Русской школы: отворить, раскрыть это и объяснить нашему юному поколению.

В. Г. Р.: Вы добровольно, по зову истинно русской патриотической души и русского ума взвалили на свои плечи и плечи своих сподвижников геркулесову задачу. Силы богатырей вам! Русская школа, вами создаваемая, – это засевание исстрадавшейся России новыми поколениями с русской сутью, мудростью, устремленностью к небу и по-житейски деловыми, имеющими силы для личного и общенационального возрождения. До революции, сразу же после нее проявлялись опасные отступления русскости в русском человеке. На человеке виделись раны духовно-нравственные: отчуждение от родной земли, от природного мира, от общинного сознания, от Родины-матери, от духовного лада... Но Великая Отечественная война остановила этот процесс. Заговорил инстинкт самосохранения, воспряла незыблемая народная душа, воспитанная православием и историей, духовная потрепанность заменилась глубочайшей верой в собственные силы, распад соборного народного организма был вытеснен единением. Человек защищал родное село, землю, страну, хотя она не всегда была для него матерью. А после Отечественной снова начали калечить русскую душу, возлагать на нее непосильный труд, отчуждать от земли и природы, выбрасывать из жизни, с которой он был в духовном родстве. Наши времена продолжают эту разрушительную работу. Сейчас наша душа находится в таких невзгодах, что ей трудно сохранить себя.

И. Ф. Г.: Питомцы русской школы приобщаются честно, объективно – насколько это возможно в исторической науке – к более чем тысячелетней истории. Она вливает в историческую память, значительно ослабленную, свежую кровь. Это подготовка защитника Отечества. Тут же внесение в сознание юных идеи самоотверженного служения народу, Родине. Родиноведение в школе – это путь прилепления к матушке – родной земле. Далее – России нужно возрождать православием. Дети изучают историю христианства, русского православия, православную культуру, процесс собирания русичей в русскую нацию. Идеал Христа, Преподобного Сергия Радонежского – это идеал русской школы. Православная душа живет в каждом русском ребенке. Школа будит ее. России возрождаться – это расти умом. Сегодня ребром поставлен вопрос: России быть или не быть? Он и раньше неоднократно вставал. Но сегодня он просто орет. Быть, если Россия будет иметь более основательную, чем в прежние исторические эпохи, интеллектуальную экипировку. Без школы ум остается на примитивном уровне. Только в школе осваивается система знаний, повышающая ум. Мы занимаем первое или одно из первых

мест на планете по богатству природных ресурсов. Но пользоваться ими не умеем. История нашего народа – это история народа, никогда не имевшего достойного достатка. Наш удел – сведение концов с концами. Иностранцы чаще всего в недоумении и наделяют нас оценками: «Лентяи», «Пьяницы», «Стадо баранов». Это обидно для нас, но в этих оценках есть некая доля правды. И еще одно – важнейшее: верхи в течение столетий прививали нашему народу комплекс русской неполноценности, погружались в стихию «европейничания», не создавали научно обоснованную русскую национальную школу. В этом – первопричина всех прежних кризисов и современного национального кризиса. Комплекс породил неуверенность народа в себе, ослабление нации, потерю самоуважения, национального достоинства, не позволил русским поднять самих себя на завидную национальную высоту путем опоры на свои потенциальные силы. В русской школе становится первозадача: помочь детям чувствовать и осознавать себя русскими во всей полноте и глубине, накапливать национальное достоинство, все выше и выше подниматься на «поднебесную» национальную высоту, избавляться от недостаточности в себе русскости. Разными путями решается эта грандиозная первозадача, в том числе и учебным предметом, факкультативом, которого никогда не было в истории отечественного просвещения. Предмет называется так: «Россия и мир: творческое взаимообогащение».

В. Г. Р.: Все это вселяет надежду на русскую школу. Народная высокая душа русского человека формировалась гораздо более тысячи лет. Даже столетие не может искалечить ее начисто: она вся соткана трагико-драматической и величественной историей, православием. Будем вместе хранить живые незыблемые духовно-нравственные качества, оживлять ослабленные, наращивать новые.

9 октября.

Встреча с учениками и педагогами школы № 32. Присутствовали родители и представители общественности, руководители ряда школ. В такой «разношерстной» аудитории вести разговор трудно. Принял решение: беседовать с учениками и учителями, отвечать на их вопросы, задавать им проблемы. Начал с острого вопроса:

– Есть ли у вас чувство гордости Россией и русским человеком? В ответ услышал дружное «Нет!»

Второй вопрос:

– Можете ли вы сказать: «Это моя Россия». Ответ тот же: «Нет».

– Почему?

Последовали ответы:

– У нас скверное питание.

– Среди нас много больных. В армию брать некого.

– Мы не можем одеваться так, как хотелось: не богато, но модно.

– Наше образование не нужно. Процветают культурно необразованные, алчные, наглые, присвоившие государственное имущество, народные богатства и общенациональные ресурсы.

– Высшее образование могут получить лишь единицы. Теперь оно в основном платное. Далеко не у всех родителей есть капитал.

– А где жить, когда мы повзрослеем, заведем семьи?

Я продолжал спрашивать:

– Быть исторической России вечной путем возрождения, восстановления и развития всего лучшего, своего? Или не быть, исчезнуть ей, стать решительно другой?

Воспроизведу лишь один ответ юноши:

– Россия переживает очередной кризис. Она скорее всего близится к концу своей истории. Впечатление такое: наступают ее последние времена.

Ещё мой вопрос:

– К какому народу желали бы вы принадлежать?

– Несколько голосов выкрикнули: «К русскому». Но их заглушили другие голоса: «К американцам», «К англичанам», «К французам». Это отвечали ученики, которые должны были изучать писателей, высоко ценивших русского человека: Державина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Шмелева, Леонова, Шукшина, Абрамова, Распутина, Белова, Куприна...

У меня вырвалось:

– Откуда у вас такое отношение к родному человеку?

Чуть ли не единодушно ответили:

– Мы видим окружающих. А какого русского нам ежедневно показывают телепрограммы и телеканалы?

Вечером – краткая беседа с В. Г. Распутиным.

И. Ф. Г.: Только в часы сна меня покидает мысль о гибели России и русского народа как итог примерно трех веков борьбы против нашей Родины. До XX века это шло медленно, потом началось ускорение, в 80-е годы движение убыстрилось, а в последние 15–20 лет все происходит слишком быстро. Ныне истребление идет гигантскими шагами. Впечатление такое: проснемся завтра – русского человека нет, есть лишь среднеевропеец. Есть ли возможность сохраниться нам?

В. Г. Р.: Есть. Прервано наследование великих традиций, вытраивается духовный смысл русского искусства, уродуется наша национальная педагогика, искажается человек, силой насаждается ананациональное, глобальное, космополитическое. Но более тысячелетия складывались русская национальная культура и самобытная русская душа. Это крепкая душа. Даже за столетия истребить ее оказалось невозможно. Нам есть на что надеяться. Нужно надеяться не на чудо, а на потаенное, глубокое, скрытое народное мироощущение, которое живет – пусть не у многих русских – до

сего дня. Предстоит всем патриотам незамедлительно, без каких бы то ни было условий, объединиться и собрать в одну точку все силы сопротивления всему антирусскому, все силы самосохранения и созидания. Наш творческий национальный потенциал весьма значителен и не исчерпан.

И. Ф. Г.: Катастрофа России в XX веке – это следствие утраты русского духовного национального характера. Утрата произошла от одной-единственной причины – отсутствия национального воспитания, образования, просвещения и обучения. В истории отечественного образования не было национальной школы под патронажем государства, его контролем и всемерной помощью. Национальное воспитание осуществлялось лишь в духовных, церковно-приходских школах и некоторых земских. Наш характер формировался природой, историей, церковью... школы не было.

10 октября.

Встреча с директорами и их помощниками по учебной, воспитательной и экспериментальной работе. Я попросил слушателей озвучить вопросы, которые их особенно тревожат. Передаю в той последовательности, в которой они были заданы:

- Как вы оцениваете работу современной школы?
- Может ли школа работать качественно, если ни Российская академия образования, ни Министерство образования РФ не определили цель школы?
- Кого мы призваны готовить – рыночников?
- Чувствуем, что наша школа совращается с прежнего, во многом не дурного пути. Пахнет американизацией. Если это так, то нельзя системно ответить, в чем проявляется американизация нашей школы?
- Как Вам видится программа воспитания подрастающего поколения России?
- Что делать с историей в школе?
- Множество учебников и пособий. Кто во что горазд. На кого опереться?
- Есть Закон об образовании. Какова его цена?
- Принята программа патриотического воспитания. Ваша точка зрения на нее.
- Знает ли правительство, что при такой копеечной зарплате учитель не может отдаваться работе и даже вести себя достойно?
- Все школьные дела решают верхи. От нас, учителей, ничего не зависит. С нами никто не считается. Что делать? Что делать? Что делать?

В меру своих сил отвечал на эти вопросы.

11 октября.

В газете «Иркутск» – редакционная статья «В традициях праздника». Несколько строк из неё: «Традиционная для «Сияния России» и встреча гостей праздника с

преподавателями и студентами педагогического университета. В этом году, кроме известных столичных литераторов, в ИНПУ побывал доктор педагогических наук, руководитель Всероссийского движения «Русская современная школа» Иван Гончаров. Именно его эмоциональные, доказательные выступления вызвали наибольший профессиональный интерес среди будущих и нынешних педагогов и в педуниверситете, и в институте усовершенствования учителей, и в иркутских школах, где чуть позже побывал ученый из Санкт-Петербурга. Думается, Иван Федорович приобрел среди иркутского учительства не только горячих поклонников, но и последователей, поскольку его идея образования и воспитания в русском духе как нельзя более актуальна в наше время».

В этом же номере – короткая заметка В. Г. Распутина «Отделить зерна от плевел». Её содержание:

«Для чего мы проводим праздник русской духовности и культуры, не российской, не всесветской какой-то, а, подчеркиваю, русской культуры? Да потому что русские в России есть, праздники у них свои есть, песни, книги, язык свой также есть. И занимают русские в России не самое последнее место, и если пытаются иногда оттирать нас на последнее или несуществующее усредненное место, это, наверное, несправедливо.

Мы проводим «Сияние России» еще и потому, чтобы лучше понять, что есть что. Что есть культура, что – антикультура. Что есть духовность, что – бездуховность. Эти понятия сейчас пытаются совместить, особенно на телевидении, подменить, выдать антикультуру за истинную культуру. Делается это теми, кто хотел бы нас видеть народом бездуховным, безродным.

В который раз мы собираемся на праздник в Иркутске; будем надеяться, что дети тех, кто участвовал в первых встречах, будут свидетелями «Сияния России».

В 18.00 часов – душевно-подъемный концерт Патриаршего мужского хора. Крепла вера: нас невозможно победить.

Вечером – кратчайшая беседа с В. Г. Распутиным.

В. Г. Р.: Иван Федорович, Вы совершаете светлый подвиг во имя сохранения и развития России. Как теперь знаю, Вы зачастую в одиночестве, особенно за пределами РГПУ в петербургской научно-педагогической блокаде. Вам очень трудно. Держитесь до последней жилки. Чем могу Вам содействовать?

– Договорился с Е. С. Строевым о проведении в Орле и Санкт-Петербурге Первого съезда русских учителей. Но его помощники замораживают дело.

– Хорошо. Я скоро буду в Москве, и мы с В. Н. Ганичевым письменно обратимся к Егору Семеновичу. Валерий Николаевич неизменно высоко отзывается о Вас. Что еще нужно?

– Подготовка и поведение Первого съезда учителей Русской школы – тут нужен государственный масштаб. Вы не могли бы попросить губернаторов Ленинград-

ской области и Санкт-Петербурга оказать нам помощь?

– Хорошо.

На следующее утро Валентин Григорьевич вручил мне два письма: ректору РГПУ Г. А. Бордовскому и губернаторам.

«Глубокоуважаемый Геннадий Алексеевич!

Пусть не покажется Вам это письмо вмешательством постороннего человека, живущего далеко от Петербурга. «Сторона» моя, действительно, дальняя – Сибирь, но, думается, что в том случае, когда речь идет о России и о людях, беззаветно служащих ей, расстояния помехой быть не могут.

Только что у нас в Иркутске прошел очередной праздник русской духовности и культуры, составной частью которого является и работа с учителями. С этой целью и был приглашен в Иркутск Иван Федорович Гончаров. Мы очень благодарны Вам, Геннадий Алексеевич, за содействие его приезду к нам. В течение недели Иван Федорович был самым популярным и, как теперь говорят, самым «востребованным» собеседником. Со своей концепцией «Русская современная школа» он выступал и в университете, и школах, огромных общегородских аудиториях – и повсюду интерес к его деятельности был огромным. Похоже, Россия просыпается, и труды Ивана Федоровича и других подвижников Русской школы начинают приносить плоды. Но Ивана Федоровича ставить в один ряд с другими, пожалуй, и несправедливо, потому что его трудничество во имя спасения отечественной школы и неутомимей, и профессиональней, и целеустремленней. На фронте за подобную храбрость награждали медалью «За отвагу». А для подвижнической деятельности учителя и педагога соотносима, вероятно, медаль имени великого нашего патриота и просветителя К. Д. Ушинского.

С искренним уважением
Валентин Распутин».

12 октября.

Я беседовал с В. Г. Распутиным в течение недели – в гостях у него, до и после лекций, в машине, когда ехали на встречи с иркутянами, на ежедневных ужинах, на прогулках. Неизгладимое впечатление получал от личности писателя, ибо чувствовал и понимал, что в нем воплощается Русский Человек в своих высших проявлениях. Валентина Григорьевича все время обступали слушатели. Я ждал минуты, когда он будет свободен для несуетной беседы, чтобы я подкрепился спокойствием духа, утешающими мыслями. Удача сопутствовала мне. Мы ехали на Байкал. В машине сидели друг против друга. Заговорил Валентин Григорьевич.

В. Г. Р.: Иван Федорович, во что Вы верите?

И. Ф. Г.: В разум народа, его генетическую жизненную мудрость, в совершенствование его способности жить в достатке, в развитие его способности аналитически мыслить и в поте лица добывать истину, в рожде-

ние уважения к знаниям. Уповаю на русский инстинкт самосохранения.

Валентин Григорьевич был предельно внимателен. После краткого молчания я заговорил:

– Наша история, особенно история XX века, катком прошла по русскому человеку. Все органы в той или иной степени повреждены. Что нужно лечить в первую очередь? Убежден: характер, честь и достоинство, православность, мышление, отношение к Родине, физическое здоровье. Надо вернуть людям веру в человека, в самих себя, в Россию. И вернуть ломовым трудом всего народа, русской школой, построенной преимущественно на положительных символах России.

В. Г. Р.: Согласен с Вами. Только тот народ возмывается, который лишен сомнения в себе. «Кто не работает, тот не ест» – это коренной и центральный принцип бытия народа, потерпевшего поломки и желающего стать на ноги. Это забота прежде всего правительства, школы: в ней культ самого разнообразного труда, но в первую очередь – умственного. «Перестройщики» изгнали производительный труд из школы. Это – преступление. Примите усилия для возрождения труда.

И. Ф. Г.: Известно, что религиозное безверие губит нацию, страну, государство. Сегодня бешеная атака зарубежными силами и внутренней эмиграцией ведется против православия. Наши первоочередные действия?

В. Г. Р.: Нам нужно избавиться от поверхностного знания нашего русского православия. Признать, что глубокого знания у нас нет. Будем скромны, как Сократ: «Я знаю, что ничего не знаю». А затем воплощать христианские идеалы в конкретных делах.

И. Ф. Г.: В последние века Россия не была глубоко верующей. Не случайно мы покорежили дорогу в Храм и даже разрушили Храм. Как приготовить детей к вере и помочь им начать службу в атеистической душе?

В. Г. Р.: Это труднейший вопрос. Тут насилие, нажим, обязательность неуместны. Могут помочь рекомендации читать религиозную литературу, доступную пониманию подрастающего человека и увлекательную. Нужны встречи с верующими людьми: живые образы проясняют суть лучше всяких устных и письменных объяснений.

И. Ф. Г.: Известен русский порыв к святости, чистоте, правде, истине. Но сегодня, как никогда ранее, массированно нашему человеку наносятся нравственные увечья. Идет вероломное разорение души. Как этому противостоять?

В. Г. Р.: Вижу два пути. Первый: государство должно «перекрывать» кислород зарубежной так называемой массовой культуре и допустить народ к своим великим национальным учителям, к нашей великой культуре. Второй: мудрое национальное православно-светское воспитание и образование в школе.

На обратном пути в каюте теплохода, в автобусе беседа о русской школе продолжалась.

г. Санкт-Петербург



Рисунок Нади Ручевой

ДАША ФЕДОРОВА,

16 лет, 11-й класс, школа № 26, г. Кемерово

За годы существования Россия испытала немало войн. Самые памятные войны моего поколения – Вторая мировая, Афганская, Чеченская, в них участвовали наши родные, близкие, друзья.

Я живу в городе Кемерово и о существовании памятника погибшим в Афганистане я узнала совсем недавно и по чистой случайности. Почему этот памятник установили не в центре города? Ведь наши воины были героями! Вот некоторые из них:

Кузнецов Юрий Григорьевич 17 июня 1980 года спас экипаж тонувшего БТР, но сам при этом утонул.

Шорников Николай Анатольевич, прикрывая отход роты, попавшей в засаду, был тяжело ранен и, чтобы не попасть в руки к врагам, взорвал себя и окружавших его противников гранатой...

Ваганов Михаил Васильевич в бою вынес раненого товарища; получил ранение, но продолжал вести бой; был ранен вторично, уже смертельно...

Колосов Игорь Геннадьевич продолжал вести бой в то время, когда в танке, которым он управлял, был пожар; вынес из этого же танка своего командира. Взорвался боекомплект танка, и Игорь Геннадьевич погиб.

Лужбин Андрей Васильевич, прикрывая отход товарищей, был смертельно ранен.

Веселов Сергей Павлович погиб, прикрывая отход товарищей.

Полетаев Евгений Васильевич. В ходе боевой операции вертолет Евгения Васильевича был подбит противником. Чтобы

предотвратить падение поврежденной машины на густонаселенные районы города Кабул, Полетаев решил совершить посадку в нежилой зоне, но при столкновении с землей вертолет перевернулся и взорвался.

Изупов Александр Геннадьевич вынес с поля боя многих бойцов, оказал им первую медпомощь. 20.08.1988 года, заняв огневую позицию, пулеметным огнем заставил противника отступить и, дождавшись помощи, стал эвакуировать раненого с поля боя. Погиб от разрыва мины, прикрыв своим телом раненого.

И это только 9 человек! А ведь их было больше!!! И кроме того, они погибли не просто героями. Они были и хорошими людьми. К сожалению, я не смогла найти воспоминания о всех воинах, но смогла прочитать воспоминания о Шишкине Олеге Юрьевиче.

«Мне никогда не было стыдно за поступки сына. Это был целеустремленный человек, еще он был романтиком. В письмах писал, что там совсем не страшно. Писал о небе Афганистана. Каким оно бывает хмурым и неприветливым во время песчаных бурь и каким голубым, добрым в хорошую погоду. Раньше я была самой счастливой матерью. Я была уверена, что жизнь прожита не зря. А когда получила это страшное известие, казалось, что никогда не взойдет солнце...», – вспоминает мать Олега.

«Чтобы Олег не служил, мы могли предъявить в штаб обстоятельства личной жизни: я ждала третьего ребенка, а Олег остался единственным кормильцем своей матери. Но Олег сказал: «Нет. Не надо никаких справок. Не хочу прятаться за чужие спины. Я должен... меня не убьют...», – вспоминает жена Олега Юрьевича.

Перед своей гибелью Олег позвонил матери и сказал: «Скоро буду, готовь пельмени». Но домой он уже вернулся в цинковом гробу...

Только спустя несколько лет мы осознали, что Афганская война была ошибкой! Представьте, как это понимать матерям и воинам, которые потеряли на этой войне сыновей и лучших друзей! Именно лучших, потому что близость смерти объединяет.

Виноватую улыбку
Ты не прячь, военкомат.
Говорят, была ошибка
Десять лет тому назад.

Там, где звезды над крестами
Золотом обведены,
Кто-то сонными бровями
Двинул в сторону войны.

И рванулись батальоны,
от речей навеселе,
По не русской, прокаленной,
Ненавидящей земле.
Золотая чья-то рыбка,
Чей-то звездный календарь!
Уж какая там ошибка,
Коль обещана медаль!

Девять лет носили стойко
Груз приказов и гробов.
А в России перестройка
Аппаратов и штабов.
Реагировали гибко:
Это что там за война?
И кивнули:
Да, ошибка,
Ведь ошибка не вина...

Парня у Джелалабада
Отыскало письмецо,
А над парнем, как лампада, —
Друга бледное лицо.
Станет зыбко, станет липко
В отчем доме у раки...
Мама, это не ошибка:
Я действительно убит.

Пшеничный, из «Книги Памяти. Афганистан 1979–1989».

Говорят, что память забывает плохие события жизни. Но есть такие моменты, которые забыть невозможно! И рассказать о событии, произошедшем пусть даже 10 лет назад, бывает невозможно. Когда я пришла расспрашивать об этой войне, мне отказались рассказывать о ней и дали книгу. Я долго думала, как можно по книге понять, что было там, далеко-далеко, когда мы жили в мире. А теперь я поняла, что рассказать об Афганистане равносильно тому, что вернуться в прошлое, снова пережить потерю друзей, собственную боль, войну...

Спасибо им за то, что они выжили; за то, что вернулись!

Начиная писать статью, я хотела поблагодарить тех, кто погиб в Афганиста-

не, но теперь я уверена, что слова благодарности нужно говорить всем нашим солдатам. И живым, и погибшим. Погибшим за то, что они спасли живых, а живым за то, что они несут весь ужас этой войны, эту память на своих плечах. Спасибо вам, солдаты! Спасибо вам за то, что вы прошли. За то, что вы не сдались. За то, что вы были и есть с нами! Спасибо вам!

«Я ДУМАЛ, ЧТО ПРИДУ В ЗЕЛЁНЫЙ САД...»

Новый человек огляделся и ахнул: как широки просторы Родины, как замечательна родная природа, как много добрых, хороших людей, но как ужасны порой отношения в человеческом обществе. Об этом стихи Артураса Болотова, учащегося 8-го класса лицея № 17 города Березовского Кемеровской области. Он — участник клуба «Коллектив друзей журналистики» (КоллеДЖ), работающего при Центре развития творчества детей и юношества с 1993 года.

163

В его стихах детская непосредственность, эмоциональное, образное восприятие мира, беспокойство, связанное с первыми разочарованиями. Очень интересно стихотворение «Я думал, что приду в зелёный сад». Да, сад-жизнь оказался суровым. Но это все же сад, и в нём, возможно, отыщутся прекрасные уголки. Грязные следы никуда не денешь, как-то с этим придется быть. Теперь душа, радуясь, например, летнему, солнечному дню, будет ощущать его быстротечность, хрупкость. Сердце юного поэта чувствительно и ранимо.

Слава Богу, А. Болотову удалось обойтись без черноты, часто встречающихся в стихах у нынешней молодежи мотивов апокалипсиса, суицида. Душа его обращена к высокому. Не случайно Артурас посещает занятия музыкального отделения Березовской школы искусств. Он тянется к прекрасному, которое даёт ему утешение и жизненную энергию.

Ю. МИХАЙЛОВ,
руководитель клуба

«Коллектив друзей журналистики»

АРТУРАС БОЛОТОВ

Я думал, что приду в зеленый сад,
 Над садом будет безмятежный полдень,
 И радостью я каждый день наполню...
 Но мысли наплывают невпопад.
 Я думал, что приду в зеленый сад,
 С деревьями переживу невзгоды
 И мудрость почерпну у природы.
 Но холоден ее в предзимье взгляд.
 До края сада много лет ходьбы.
 Хотел пройти я тихо, осторожно.
 Но что-то сердце бьется так тревожно:
 Кругом немые, грязные, следы...
 И мысли наплывают невпопад.
 Потоком хлещут, поглотить готовы.
 Просторы незнакомые суровы.
 Я ж думал, что приду в зеленый сад.

О тебе все речи,
 О тебе слова,
 Для тебя весь вечер
 Шепчется трава.
 Для тебя дорога,
 Для тебя вся даль.
 Ты – моя тревога,
 Ты – моя печаль.

В ХРАМЕ

Спустилась мгла. Стою в огромном храме.
 В окне звезда сверкает, как слюда.
 День отзвенел, блеснув в церковной раме,
 И тихий час молитв пришел сюда.
 Висят иконы, словно в галерее.
 Оставить мысли грешные велят.
 Одни как солнце утреннее греют,
 Другие словно золотом горят.
 Безмолвие, покой в просторном храме,
 Святые лики, огоньков игра.
 Освобождаясь от мирского хлама,
 Ищу истоки светлые добра.

За окном сгорает осень,
 Слёзы льёт с тоски.
 В рыжине сверкает проседь,
 Дни, как щель, узки.
 Золотом укрыты плечи.
 Жизнь, как дым, плывёт.
 Может, утро нас излечит,
 К людям позовет.
 Сердцу нестерпимо больно,
 В жизни листьев гарь.
 Раззвенелась колокольня –
 Перестань, звонарь...

Старуха в церкви каялась,
 И с неба грянул гром.
 За жизнь она намаялась,
 Ей нужен тихий дом.
 Боль носит нестерпимую –
 Уже конец пути.
 Ходила к нелюбимому –
 Дай в рай теперь войти.

167

КОНСТАНТИН МАРЧИК,

10-й класс, Кадетская школа-интернат,
 Кадетский корпус МЧС, с. Плотниково

АЛИНЕ

Скоро, скоро настанет весенний рассвет...
 Люди спят... До влюблённого дела им нет.
 Мне всегда был приятен предутренний сон,
 Но и этого нынче с тобой я лишён.

Для того, чтобы знала ты, как я люблю,
 И от этой любви постоянно не сплю,
 Я б хотел своё сердце вложить тебе в грудь,
 Но тогда и тебе до утра не уснуть.

Война... Там так много,
 Так много погибло людей...
 Одни умирали за свою свободу,
 Другие – за власть над ней...
 Все они сейчас смотрят на Землю...

Смотрят, жалеют и хотят,
Хотят вернуться на землю,
По ней пройтись босиком,
Почувствовать себя прежними
И немного побыть в краю родном...
Увидеть правнуков и внуков,
Узнать свой старый дом и двор,
Увидеть, посмотреть, потрогать...
Присесть на лавочку у дома,
Почувствовать себя счастливым,
И вновь удалиться на вечный покой...

НАСТЯ САМОЙЛОВА,

10 лет, 3-й класс, школа № 10, г. Гурьевск

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

По сугробам снежно-белым
Ночка шагом шла несмелым,
Снег белее молока
Под ногой скрипит слегка.

Свив из веточек постель,
Спит веселый свиристель.
Рыжий хитренький лисёнок
Сыто тявкает спросонок.

В шали толстой изо льда
Спит холодная вода.
Звёзды, словно фонари,
В тёмном небе ждут зари.

ЛИЗА ВОРОБЬЕВА,

2-й класс, школа № 10, г. Гурьевск

БЕГЕМОТ

Среди речек и болот
Жил большущий бегемот.
Десять тонн он весил,
Был всегда невесел.
Ночью спит, настанет день –
Встать мешает Тяжесть-Лень:
Очень неохота покидать болото.

Здравствуйте, дорогая редакция!

Спасибо за письмо, за добрую весточку о том, что «Мотив ночной звезды...» может быть представлен в одном из номеров журнала. Это радует, ведь «Огни Кузбасса» – это высокий уровень, хорошая, достойная планка.

Связалась с девочками, авторами, Надей и Олесей (обе студентки, первокурсницы, учатся в вузах Новокузнецка и Кемерова). Вспоминали, как в процессе работы проникались любовью к пронзительному рубцовскому слову, как чувствовали себя сопричастными к трудной, трагической судьбе поэта. Испытали потрясение от красоты и глубины строк «звёздного» содержания.

Несомненно, что художественное слово, литература, поэзия способствуют формированию ценностей, жизненных ориентиров, эстетического вкуса, и девочки вышли в большую жизнь с хорошим нравственным и интеллектуальным багажом. За что величайшая благодарность поэту Николаю Рубцову. И литературе в целом.

Получив Ваше письмо, поспешила на почту выписать журнал. Весточка от Вас стала мне с девочками лучшим подарком к 8 Марта. Ещё раз спасибо.

С пожеланиями успехов в работе коллективу редакции «Огни Кузбасса»

Вагизова Альбина Александровна, учитель.

НАДЕЖДА ЗАХАРОВА, ОЛЕСЯ КИСЕЛЕВА,

10-й «Б» класс, литкружок «Стожары»,
пгт Краснобродский

МОТИВ НОЧНОЙ ЗВЕЗДЫ В ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА (печатается в сокращении)

О нем можно говорить бесконечно. Прочитанные однажды, стихи Рубцова надолго западают в душу, вновь и вновь всплывая в памяти, тревожат, беспокоят, волнуют. Мы открыли для себя поэзию Николая Рубцова четыре года назад, когда в шестом классе учили наизусть его стихотворение «Звезда полей». С тех пор он – один из любимейших наших поэтов. Его стихи

словно «существуют в самом воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, возникли из неба и земли и сами стали этой вечной синевой и зеленью...»

Лучшие стихи написаны Рубцовым в шестидесятые годы прошлого века – не такое уж отдаленное по меркам человеческой жизни время. Это было время детства наших родителей, это было не так давно, и тем более удивительно, что в России тогда мог появиться поэт-классик. Не золотой век, не серебряный, да и сам дух эпохи, застойной, номенклатурной, не особенно располагал к творчеству. И вдруг возникают стихи, необычные, яркие, являющие глубинную сущность русского духа.

Лирика Рубцова полна тайн. Она проста и сложна одновременно. Разные исследователи его творчества неоднократно подчеркивают, что очень сложно производить литературоведческий анализ стихов поэта, сущность его поэзии с трудом поддается определению. Его стихи «выражают то, что невыразимо ни зримым образом, ни словом в его собственном значении. Образ и слово играют в поэзии Рубцова как бы вспомогательную роль, они служат чему-то третьему, возникающему из их взаимодействия». То, что невыразимо, – это и есть тайна, а таинственное, загадочное, непостижимое в отношении к художественному слову всегда представляет интерес и является актуальным.

Древняя, оваянная легендами Русь, ее размытые дороги, избы и тучи, плеск паромы, «старинных сосен долгий шум», сказочная глушь бора, кружащиеся над селением птицы, «смутная грусть старины», «стоянки светлых русских деревень», «реки напев былинный», «дождевой веселый свист», лик священного Кремля и его «таинственные звоны», нива «пасмурная и грустная», разрушенные белые церкви «под куполом синих небес», древностью веющий дол, леса, погосты, молитвы, цветы, «небеса, горящие от зноя», желтая, захоластная березовая сторона, огоньки в ночи, «среди тревог великих и разбоя», чудные детские хоры, свадьбы, которые «скачут», «летят»... Святое, вечное, земное, истинно русское. Это мир Рубцова, его лирика, наш с вами мир.

Но в этом мире есть и нечто другое, особенно поэтическое, сокровенное, яркое, неожиданное.

В черной бездне
Большая Медведица
Так сверкает. Отрадно взглянуть.
В звездном свете, блестя, гололедица
На земле обозначила путь.

(Стих. «Гололедица»)

Или:

И все же, глаза закрывая,
Я вижу: над крышами хат,
В морозном тумане мерцают,
Таинственно звезды дрожат.

(Стих. «Далекое»)

Или вот такие, пробуждающие светлую грусть строки:

Позднее время – спешат
запоздалые дороги,
Плачет звезда, холодея
над крышей сарая...

(Стих. «У размытой дороги»)

Можно отыскать несколько десятков стихотворений в рубцовской лирике, в содержании которых так или иначе присутствует «звездный» элемент, причем образная сторона выражения этого элемента самая различная. Это и

Дальних звезд мерцанье
и
Пустынный свет на звездных берегах

или следующие, проникнутые высоким пафосом строки:

И надо мной – бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье.

(«Видения на холме»)

А вот нежное, проникновенное:
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

(«Зимняя песня»)

И болотная пленка воды
Замерзает при звездном свете.

(«Ночь на перевозе»)

Пустынно мерцает померкшая звездная люстра...

(«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...»)

«Звезда полей», «Венера», «В горнице», «Голледица» – в этих и некоторых других стихах наиболее сильно и глубоко выражен «звездный» пафос и образ ночной звезды, «звезды полей» – ярчайший, доминирующий художественный образ.

Повторяемость «звездного» элемента в разных стихотворениях и его яркое воплощение в образе ночной звезды позволяет нам говорить о мотиве ночной звезды в лирике Николая Рубцова.

При этом набор лексических средств не представляет собой ничего выдающегося, а зачастую он, напротив, чрезвычайно прост, зауряден, даже банален. Взаимодействие слова и образа тоже ничего не дает в этом плане. Что же тогда обеспечивает рубцовским стихам такую высоту, проникновенность? Рассмотрим стихотворение «Венера». Первые две строки:

Где осенняя стужа кругом
Вот уж первым ледком прозвенела

в художественном плане, на наш взгляд, выглядят откровенно слабыми. Зато далее следует нечто совершенно потрясающее, восхитительное по своему поэтическому содержанию:

Там любовно над бедным прудом
Драгоценная блещет Венера.

Стихотворный сюжет неожиданно, как блеск метеора в ночном небе, становится ярким, значимым:

Жил однажды прекрасно поэт,
Да столкнулся с ее красотой,
И душа, излучавшая свет,
Долго билась с прекрасной звездой.

Для поэта, лирического героя, характерно взаимодействие человеческой души и необъятной Вселенной. Душа, излучающая свет, и звездный свет, льющийся в душу. Звездная красота окрыляет душу, наполняя ее высоким поэтическим содержанием. Художественное сознание Рубцова – это осознание и переживание им особой красоты и тайны природного мира. Рубцова нередко называют поэтом тютчевской традиции, а иногда его сравнивают с Н. Заболоцким.

Однако поэт творит в своей манере, он самобытен, ярк, индивидуален. «Звездный» элемент, или мотив ночной звезды становится в его лирике мерилом высоты поэтической души.

В заключение нам хотелось бы привести строки собственного сочинения:

НИКОЛАЮ РУБЦОВУ. ПОЭТУ РОССИИ

Объемлет сон холодной ясной ночью
Холмы, боры, деревни и поля.
И стихнут хоры. Пред тобой воочию
Предстанет в тайне русская земля.

Зажглись светила в бездне мгlisto-синей,
Струится в души благодатный свет.
Звезда Рубцова всходит над Россией...
А значит, жив и здравствует поэт!

БАБУШКА, КОТОРОЙ НЕ ПОНРАВИЛСЯ «ДЕДУШКИН ЧАЙ»

«Любите книгу – источник знаний!». Эту фразу М. Горького я прочитала в шесть лет, едва научившись слагать буквы в слова и предложения. В моем детстве книг было немного. Тяга к чтению у людей тогда была огромная, но хороших и мудрых книг, что в библиотеках, что в магазинах, было мало, словно бы кто наложил на них свой строгий лимит и тем самым пытался перекрыть этот самый «источник знаний» для народа. Но мы искали их и находили, и уже были счастливы от одного сознания, что познакомились с интересной и умной книгой.

Да, мы изучали в школе не всегда ту литературу, что просила наша душа, но когда желаемое и предложенное совпадали, то наступали те прекрасные моменты истины, через которые мы и познавали жизнь в разных ее проявлениях. Спасибо, что у нас были Пушкин и Лермонтов, Толстой и Блок, Шолохов и Некрасов. Как жаль, что у нас тогда еще не было ни Бунина, ни Булгакова, ни Есенина, ни Ахматовой. Эти вершины нам приходилось постигать позднее уже самостоятельно. И я почему-то уверена, что те, кто познал их творчество, уже совсем по-иному смотрит на жизнь, нежели любой современный, случайно разбогатевший неуч. Тот духовный заряд, своевременно полученный от произведений этих авторов, мне кажется, уже никогда не позволит человеку скатиться в мелкое, пошлое, гадкое. Хотя, к сожалению, жизнь доказывает, что и в этом правиле есть свои исключения...

Уже на излете моего ученичества к нам в школу стали приходить настоящие, живые поэты и писатели. Навсегда мне запомнился абсолютно искренний Владимир Куропатов, а также молодой и красивый Семен Печеник со своим другом Евгением Харламовым. И как добрая память о тех давних встречах у меня на книжной полке стоят их книги с дарственными надписями...

С удовлетворением прочитала, что проводится конкурс в области литературы. В газете «Кузбасс» были озвучены требования к произведениям: значимость произведения, его общественный резонанс и освещение в прессе, злободневность и глубина поднятых произведением тем. А то обстоятельство, что на соискание литературных премий в области поэзии и прозы были заявлены по 14 авторов, обещало, что борьба за первенство в каждой из номинаций будет честной и бескомпромиссной, но, похоже, не случилось...

...Я ожидала, что в январе у меня какое-то время будет гостить внучка моей старинной подруги, и потому расстаралась достать к ее приезду повесть для детей

«Дедушкин чай» Михаила Гоголева. Ситуацию подогрел еще тот факт, что «Дедушкин чай» был признан лучшим художественным произведением Кузбасса в прозе за 2005–2006 годы, а ее автор, соответственно, был объявлен лауреатом премии им. А. Волошина с вручением ему солидной денежной премии....

Оговорюсь сразу – обещанного автором «...путешествия в деревню к дедушке, рассказанном в увлекательной форме...» я не обнаружила, хотя только в аннотации на титульном листе книги слово «увлекательная» повторялось дважды. Видимо, прав был Козьма Прутков, заявляя: «Не верь глазам своим, если на клетке льва увидишь надпись...».

Весь рассказ «Дедушкин чай» (на повесть он явно «не тянет» ни по размеру, ни по содержанию) по сути своей есть нудный пересказ банальностей деревенской жизни горожанином, выросшим на асфальте и изредка приезжающим в деревню, и для которого появление на улице поросенка или коровы уже является «событием увлекательным», которое он торопливо пытается положить на бумагу. Но можно ли данное событие признать литературным фактом, и должно ли его класть в основу художественного произведения? Я знаю, что предметом изображения может стать любое мало-мальское событие, лишь бы оно было интересно и талантливо прописано. В таком случае только изящество языка в какой-то мере может спасти произведение даже при банальности предмета изображения. Но так ли свеж предмет и так ли изыщен язык «Дедушкиного чая», чтобы ему можно было безоговорочно отдать пальму первенства в споре, где, на мой взгляд, были более достойные произведения? Этот вопрос я обращаю как к автору этого произведения, так и к членам авторитетной конкурсной комиссии, которая признала его таковым вопреки всякой логике.

Небольшая по объему книжка М. Гоголева (всего 45 страниц) буквально переполнена литературными штампами, повторами, несуслазностями, а то и попросту грубейшими ошибками...

Глава «На лесной дороге». Только на одной 14-й странице этой главы, где автор повествует о том, как дедушка с внуком едут на пасеку, пять раз повторяется слово «телега», а на соседней 16-й странице, в главе «Бобка», в 35 неполных строчках автор умудряется 11 раз упомянуть кличку собаки – «Бобка». Такое ощущение, что автор не знает или совсем забыл о том, что в богатом русском языке существуют синонимы.

В той же главе «На лесной дороге» (стр. 15) читаю фразу: «...Перед ними открылся огромный луг, а по нему молодая зеленая травка...». Вот если бы автор потрудился открыть словарь В. Даля или, на худой конец, С. Ожегова, то без труда уяснил бы для себя, что луг – это есть «травяная земля», «участок, покрытый травя-

нистой растительностью». Получается, что «луг» у автора – масло масляное...

Читаешь опус М. Гоголева и невольно отмечаешь: автор так увлечен «невероятными приключениями» Павлика, что допускает ошибки фактологического характера, неправильно использует термины. То герои Гоголева собирают березовый сок ведрами и сливают его в бочку (стр. 26) (никак на дворе апрель – май?!), а то вдруг дедушка в это же время вовсю косит траву для Серко (стр. 18) (теперь, должно быть, уже июль на дворе?!). Так, описывая пасеку в главе «Пчелы» (стр. 19), автор ошибочно называет дымарь дымокуром. Для дедушки, давно и успешно работающего на пасеке, это непростительная неточность. На этой же странице, надевая на себя лицевую сетку, дедушка, тем не менее, называет ее накомарником, хотя само название говорит само за себя.

«...дедушка снял со стены другой (накомарник), поменьше, и надел на голову и плечи Павлика...». Очередная неточность автора, потому как любой человек, мало-мальски знакомый с работой на пасеке, скажет, что все сетки («накомарники») стандартные, одного размера. Читаешь такое вот чтиво, и подмывает крикнуть как автору, так и тем, кто возвел его незаслуженно на литературный Парнас: «Ну, уж коли пишете для детей, то будьте точны в своих выражениях, возьмите в руки энциклопедию или замечательные книги известного сибирского специалиста по пчеловодству профессора В. Кашковского «Уход за пчелами в Сибири» или «Советы пчеловодам», изданные в Кемеровском книжном издательстве, проверьте свои познания в этой области, и уж потом беритесь за перо. Там же автор наверняка сможет открыть для себя, что пчелы берут с цветов не мед, а нектар, который, в улье превращается в мед (стр. 20).

И уж совсем удручают авторские перлы из главы «Белая луна» (стр. 39), где М. Гоголев устами эрудированного дедушки на полном серьезе поясняет внуку следующее: «...Луна, как и Земля – планета. На ней тоже горы. Луну, как и Землю, освещает Солнце. И мы видим горы и тени от них». Обратите внимание, каков стиль повествования!!! Ну, если этот корявый стиль может и не заметить человек неискушенный в литературе, то как можно назвать луну планетой, подобно Земле?! Откуда такая дремучесть?! К сожалению, эту грубую ошибку не заметила редактор книги (В. П. Генкина). И о каком только «источнике знаний» можно говорить, читая подобную книжку?!

Небрежно выполнены и некоторые рисунки. Пчелиный улей скорее похож на собачью будку (стр. 18), а внук на лошади (стр. 13)? На рисунке юноша лет шестнадцати в бейсболке сидит в седле и держит поводья лошади. Пририсуй ему винтовку, и готов один из глав-

ных персонажей фильма «Неуловимые мстители». А ведь автор нас убеждает, что это ребенок детсадовского возраста и он с трудом держится за гриву, а за уздечку коня ведет дед. Не слишком ли много ошибок и неточностей для такого мизерного объема текста?! И как тут не вспомнить одного из героев телесериала «Тени исчезают в полдень», который нет-нет да выдавал свою очередную порцию скепсиса: «...Сомневаюсь я, однако...». А то и вовсе подмывает разразиться гневным грибоедовским монологом: «А судьи кто?» Тут бы книжку вовсе снять с конкурса, а вместо этого ей присуждают многотысячную премию с почетным званием «лауреата» в придачу. И тот факт, что такие явные ошибки оказались незамеченными, можно объяснить только одним: члены комиссии просто не читали представленные на конкурс произведения. Тогда на каком основании выносилось решение о присуждении премии? И потом, если уж члены комиссии не одолели тоненькой книжицы на 45 страничках, то уж где им прочитать объемные книги А. Шулепко, С. Павлова, Е. Левшова, Ю. Панова, В. Арнаутова и др.!? Как нам поведал «Литератор» через газету «Кузбасс», не все гладко прошло в выборе лучшего прозаического произведения – члены Союза писателей отказались признать выбор чиновников, в связи с чем был назначен новый состав конкурсной комиссии, да только новой комиссии для прочтения всех 14 произведений было отведено всего два дня (!!!). Я уверена, что за это время новые члены жюри даже просто пролистать все книги не успели бы, не то что их прочесть, но результат остался прежний: лучшее произведение в прозе – «Дедушкин чай» М. Гоголева. Хотя писатели были против такого решения конкурсной комиссии. А ведь Союз в этой комиссии представляли действительно уважаемые и признанные писатели – Б. Бурмистров, В. Мазаев, С. Донбай, А. Ибрагимов. В итоге же сам конкурс – такое серьезное и нужное мероприятие в жизни творческой интеллигенции Кузбасса – превратился в фарс. Зачем же так опускать весь Союз до нулевой отметки, лишая его лучших представителей права голоса, зачем же так унижать других прозаиков, выдавая эту беспомощную книжицу за эталон прозаического произведения. Ведь прочтет ее где-нибудь в Москве, Красноярске или Санкт-Петербурге писатель, критик или просто внимательный читатель, да узнает, что это лучшая проза в Кузбассе за два года, то, наверное, тоже воскликнет удивленно и раздосадованно, как в свое время это сделал великий русский критик Д. И. Писарев: «...Если сливки таковы, то каково же молоко?!». И не лучше ли было тогда департаменту культуры просто назначать победителя по своему усмотрению, не призывая авторов выступать перед читателями с произведениями, а критиков напрасно не трудиться над рецензиями на их

литературные произведения. Зачем вся эта шумиха, если это не берется во внимание конкурсной комиссией. И вывод напрашивается совсем печальный: не надо хорошо писать, не надо «...сеять разумное, доброе, вечное...», выступая перед читателями по городам и весям, когда проще и надежнее нащупать потаенную тропу к сердцу чиновника – и успех обеспечен!

И какой же ущерб будет нанесен хрупким, находящимся еще в стадии становления психике и художественному вкусу детей (а ведь автор делает расчет именно на детскую аудиторию!), если они уверуют, что именно ТАК надо писать. Попробуй их потом разубеди, что так писать не только нельзя, но даже вредно!

Писать для детей и о детях сложно и ответственно. Об этом знает всякий литератор, взявший в руки перо, и потому не каждый поэт и писатель отваживается писать для детей. У нас успешно работали и работают в этой области литературы поэты В. Береснев, Л. Гержидович, А. Хохлов, Э. Гольцман, С. Донбай, прозаики В. Арнаутов, И. Петров, С. Павлов и некоторые другие. И заяви конкурсанты заранее, что приоритет будет отдан именно детской литературе, наверняка, жюри пришлось бы выбирать лучшее произведение для детей из числа более достойных сочинений, нежели они избрали в этот раз.

Людмила Суворова, г. Кемерово

ДУХ ПОЭЗИИ – ПРИРОДА

О творчестве поэта Владимира Иванова

Из восьми книг поэта Владимира Иванова, увидевших свет, последняя называется «Все любимо с детских лет». Потребовалась целая творческая жизнь, чтобы, будучи уже умудренным жизненным опытом и многотрудной поэтической работой, поэт заявил о самом главном, о том, что он счел самым большим своим достижением и достоянием. Состояние влюбленности вело его по жизни, давало и дает тот творческий импульс, который определяет и мирозерцание поэта, и содержание его поэзии. А это уже очень и очень немало. Ведь все, чем движет любовь, по определению не может быть бескрылым, служить целям, далеким от высокого призвания поэзии как таковой. Все стихи в книге – это, по сути, сердечное объяснение в любви к природе, родному краю.

Какими бы ни были времена, хорошими или плохими, в жизни для поэта всегда есть верная, надежная нравственная опора, постоянная и неподвластная времени величина – природа. Она-то и является тем, что одухотворяет творчество В. Иванова. (Такой подход был продекларирован поэтом в другой подготовленной к печати, но пока не изданной, книге «Хлебозоры», од-

нако исчерпывающе он реализован именно в книге «Все любимо с детских лет».)

*Поэзия – душа искусства.
Душа поэзии – природа.
Лишь к ней неугасимо чувство,
Пронзительнее год от года.*

Если чувство влюбленности как таковое вообще может зарождаться, развиваться и умирать, то любовь, пробужденная природой, нетленна, со временем она только усиливается, делается глубже, осознаннее, ярче. Хотя природа, как и человек, не лишена недостатков, но она тоже стремится к совершенству и по воле Творца она может сделать это только через человека. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, – потому, что тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего (ее), – в надежде». Вот эту-то великую надежду природы и воплощает всем своим творчеством в поэтическом слове В. Иванов. Он принял ее в свое сердце окончательно и бесповоротно как самое незащищенное и бессловесное творение.

Насколько сама природа не терпит и не любит однообразия, настолько и поэзия В. Иванова простирает свои горизонты, вбирая палитру многоцветья, разнообразие интонации, звука и смысла окружающего мира. Но мать-природа не просто сопричастна ко всему происходящему с человеком, она принимает непосредственное и деятельное участие в жизни всего сущего – это главная философская ось, вокруг которой вращается вся стихотворная плоть В. Иванова как поэта.

*Листва наперечет
Нацелена на Млечность.
Я слышу, как течет
В прожилках человечность.*

*И гулкий небосвод
В эпоху ветровую
То жизнь мою качнет,
То былку полевою.*

Человек, предназначенный быть венцом и представителем природы, все же находится на равных с ней: «то жизнь мою качнет, то былку полевою». Природа как духовная составляющая бытия всего сущего как раз и требует осмысления, которому поэт должен посвятить (и посвятил) всю свою творческую жизнь, быть выразителем в слове ее бесконечно разнообразного и прекрасного лика, гармонии, созданной самим Творцом. Самым великим вторым открытием, после открытия Бога, конечно же, явился сам человек, познавший себя через восприятие природы, возвысивший ее в слове и

тем самым возвысившийся сам. Духовный рост личности, ее гармоничное развитие невозможны без любви к природе, без стремления познать ее и себя в ней.

*Завтра в степь... И будет теплым вечер.
Распрямлю в блаженном вздохе плечи
И на шелкотравную межу
Осторожно сердце положу.*

*И пойму, что я еще не стебель –
Только в землю павшее зерно,
И к созвездьям в этом вечном небе
Мне еще пробиться суждено.*

Кто ничего не дал природе, тот ничего от нее и не возьмет. Человек может возвыситься только вместе с природой. А это уже не просто поэтический разговор о природе. Речь о фундаментальном, о жизни духовной, а значит, и о путях к божественному. Природе же нужно одно-единственное – любовь, облаченная в особое слово и дело, ведь она так нежна и ранима, что даже сердцем прикасаться к ней надо осторожно. Но и одной даже такой любви еще недостаточно, чтобы Дух торжествовал над материей, она пока «только в землю павшее зерно». Природа жаждет своего такого сеятеля слова, чтобы произошло Великое таинство зарождения жизни, как начало пробуждения духовного в бездуховном. Она, избравшая человека для своего самовыражения в высшей инстанции перед Творцом, как раз и видит в человеке, прежде всего, духовное семя, которое, будучи воспринятым, обязательно даст плоды. Ибо сказано: «Замечайте, что слышите: какую мерою меряете, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим». Любовь так и останется не проросшим семенем, если не заговорит о природе своим языком, лучшим из которых и является поэзия. А без нее, в свою очередь, и в самом человеке не прорастут плоды животворящей духовности.

Но поскольку в природе все повторяется и одновременно не бывает даже двух одинаковых мгновений-состояний, то этот парадокс (природа – изменчиво-постоянна и однообразно-разнообразна) не может не отражаться и в поэтическом творчестве. Только искренне любящая родной край, сверхчуткая поэтическая душа может уловить все нюансы цвета и оттенков лика природы, переливы ее характера и настроений. В поэзии В. Иванова природа всегда прекрасна и благодатна потому, что к ней, по определению, нельзя относиться двояко – маленько ее любить, а маленько можно и не любить. Либо то, либо другое – это нравственной императив позиции поэта. Однако трудно представить человека, который сказал бы, что не любит, а тем более ненавидит природу. Казалось бы, она является тем об-

разом Божьим, вокруг которого должно объединиться и сойтись в дружбе все человечество. Увы, на словах, действительно, природа у всех и любима, и прекрасна, а вот в делах, по которым и судимы будем, все обстоит иначе. Можно холить и лелеять лужайку возле своего дома и в то же время плодить заводы, которые нередко являются больше грязными ранами земли, чем местом созидания и радости. Но вот слово поэта о природе не может, не должно быть фарисейским, как это бывает в человеческом сообществе, оно произносится не для сусального воспевания ее красот, а для ее защиты и одновременно для самозащиты человека как ее высшей части. А природа всегда отвечает животворящей божественной силой. Только в ней, в природе, всегда находится благотворный и неиссякаемый источник жизни, и в конечном счете торжествуют жизнеутверждающие силы.

*Но только первый луч проглянет,
Жадно ловишь связь примет –
Ведь тучам, стелющимся низко,
Не затмить высокий свет.*

Поскольку природа проявляет себя человеку в виде конкретных образов, которые при этом все же надо уметь понимать, читать их, пылливый глаз может расшифровать ее язык, а поэт оформить его в своем слове. Язык природы говорит поэту об очень многом и важном, если не обо всем.

Через природу человек познает Бога, через красоту творения – величие Творца. Но сам поэт вроде бы не претендует на широкие обобщения, просто констатирует (показывает) расклад жизненных сил в природе, их состояние. Такая как бы отстраненность, отсутствие менторского тона, назидательности, надрывных искусственных стенаний по поводу вреда, наносимого природе, характерно для всего творчества поэта. Человек сам способен, а потому и должен уметь делать выводы, и, прежде всего, в своем сердце, обязан помнить (вспомнить), откуда он вышел и куда идет, как материальная сущность, получившая затем дыхание Бога, способность мыслить и чувствовать. Ведь и природа, когда улыбочиво, а когда и грозно, открывая взгляду человека свой прекрасный облик во всем его многообразии, лишь едва показывает себя. Для нее же самой этот ее облик всего лишь силуэт, предложенный нам для дальнейшей работы над ним: полюбишь и познаешь меня, тогда полюбишь и познаешь себя и, конечно, – полюбишь и познаешь Всевышнего.

Природа в творчестве В. Иванова лишена гордыни, претенциозности, о себе она всегда заявляет скромно и без пафоса, предоставляя человеку свободу выбора: жить в гармонии с нею или в хаосе с тленом. Это же

определяет и параметры мироощущения поэта, принципы, создающие эмоциональное поле всей его поэзии, поэтому и стихотворный строй организован по аналогии с самой природой, тем ее уголке, о котором речь. Поэт предлагает как бы намек на большую мысль, развить и обобщить которую может каждый по мере, определенной его внутренней культурой. Устройство земной природы – это как бы микромодель Вселенной, и везде идет постоянная борьба Духа живого с мертвой материей, идет борьба за жизнь во всех ее проявлениях и разнообразии.

*И сосняк внизу припорошило,
И кустарник выдохся в пути,
И всему, что выжить здесь решило,
Ввысь, казалось, незачем идти.
Но взошел зеленохвойный стланник
Смело, как заправский верхолаз,
На крутую гору перед нами –
И откуда сила в нем взялась!
И напрасно ветер злобно бился,
Изгибая ветви в пустоте, –
Куст на тверди прочно укрепился,
Утверждая жизнь на высоте!*

Как уже сказали, книга «Все любимо с детских лет» – последняя из изданных В. Ивановым. Она подводит итог большого этапа творческой деятельности автора и, как результат исканий и находок, она, кроме всего прочего, представляет собой и педагогическую ценность. Книга рекомендована для школ Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования при изучении литературного краеведения. Особенность этого издания еще и в том, что оно знакомит читателя с творческой лабораторией автора, поскольку книга снабжена фотографиями уголков родной природы, большинство из которых с любовью сделаны самим автором. И каждый образ родной природы, запечатленный на снимках, переплавлен в стихотворение. Книга учит не смотреть, а видеть, наблюдать окружающий нас прекрасный мир, по-настоящему понимать его и искренне любить. Книга учит также не просто слышать, а слушать родную русскую речь, призванную быть инструментом самовыражения Духа, проявлением Его торжества над материей.

Познакомившись с книгой, делаешь вывод, что все в природе прекрасно. Но надо уметь воспринимать ее, пестовать в своей душе тот святой уголок, где эта красота всегда на почетном месте. Даже простой осенний лист клена, красующийся на мелованной бумаге, удостоен автором и любви, и высокой чести войти в историю поэзии о родном крае как источник вдохновения.

*Вот лист осенний...
Спозаранку
Подхвачен жизнью вихревой,
Блеснет то золотом с изнанки,
То стороною лицевой...
Он в час приспевшего разрыва
От прежней жизни отлетел.
Куда несут его
Порывы
И где положен им предел?*

Если в книге «Все любимо с детских лет» все подчинено теме природы, то книга «Хлебозоры» объединяет стихотворения, посвященные разным темам, в том числе, конечно, здесь немало стихов и о природе. Им отдан один из трех разделов книги – «Что нажурчала мне вода, что нашептали мне деревья...», стихи о жизни вообще и о любви в частности объединены в разделах «А выше – лишь совесть одна» и «Ты всюду, куда простирается свет». Но в целом «Хлебозоры» – это продолжение неустанного поиска внутреннего согласия, формирования гармонии отношений автора с миром. Именно из «Хлебозоров» проросла идея создания отдельной книги, посвященной исключительно природе. И, естественно, наработанный автором духовный багаж был им определенным образом переосмыслен. Ибо, «когда покажутся плоды, прорастут и плевелы».

*Кто с душой согласие имеет,
Не пропадет во времени и мгле.
Душа ведь не стареет, не дряхлеет –
И знаменует вечность на земле.*

Душа, окрыленная духовно, в сравнении с рассудком всегда права. Но к этому выводу поэту еще надо было прийти. Что надо сделать, какие усилия предпринять, чтобы сохранить себя как индивидуальность, как личность, чему посвятить те духовные задатки, которые вложены в нас еще до явления на свет белый? Вопрос не в том, что надо жить пока живется, а в том, как жить в отпущенное для этого на земле время. Что вырастет на твоём собственном духовном поле, и какое твоё семя может дать на нём всходы? На пути к совершенству немало терний, тупиков и ошибок, и оно не приходит само собой, необходимы годы упорного и, главное, честного духовного труда, чтобы на определенном этапе жизни сказать себе и людям:

*От лукавого до Бога
По земле ведет дорога,
Не с того ли путь и мой
Не такой уж и прямой?*

Отсутствие прямого пути к Богу, открытое и признанное автором, это как раз и есть самый большой шаг к Нему, к вере. Ведь это уже искомое и осознанное им различие между миром несовершенным и миром совершенным. А значит, есть Идеал, есть своя призывно мерцающая звезда на небе. Есть и то, что спасает и выводит на правильный путь – глубокое, искреннее и ясное чувство, сплавленное духовным богатством русского языка в монолит талантливого поэтического слова. Особенность мироощущения В. Иванова как поэта в том, что в своих стихотворениях он стремится соединить (соединяет) не все и вся, а ищет (и находит) точку соединения двух противоположных начал – макро- и микрокосмов, – творчество его зарождается как бы на кресте пересечения линий бесконечно маленького и бесконечно большого. Поэтому нередко его стихотворения находятся как бы в месте соединения миров, где происходят самые тонкие и еще не познанные эфирные процессы. И они, пронизанные нервами слова, объединяют сами пространства вокруг и внутри самого главного – человека.

*Старик на пригорке сидит.
Исполнивши предначенье
на этой земле, он следит
вечернего неба свечение...
Он сам не поймет, почему
от дел и забот его тянет
забыться, вечернею ранью
улавывая в грядущую тьму...
Его просветлили черты,
а свет между тем убывает...
Он чует гонца с высоты,
и звон бубенцов нарастает...
Сквозь шум недалекого леса,
сквозь дальние отзвуки гроз
ему все доступнее эхо
вселенского оклика звезд.*

В творчестве есть одна закономерность: чем сложнее мироощущение, чем больше у автора знаний, чем богаче его внутренняя культура, тем проще и яснее язык, которым написано стихотворение. В сложные слова и термины, как правило, рядятся бессмыслица, литературообразные произведения, служащие любым целям, кроме тех, ради которых литература и создается. Если без настоящей поэзии – душа сирота, то поэзия без души – зарифмованный набор звуков. Поэт не тот, кто пишет, и не тот, кого читают, пусть даже взахлеб, поэт тот, кто словом согревает мир, поднимая его, возвращая к улыбающемуся Богу.

Язык В. Иванова пахнет дымами Отечества, у него обостренный слух на интонацию, звук слова, уникаль-

ное умение переводить богатство красочной палитры природы в стихотворную плоть. Можно утверждать, что в этой составляющей его поэтического творчества кроется не меньший смысл сказанного им, чем в прямом значении слов. Но смысл особого рода, доступный тому, кто сам хоть немножечко поэт по своему душевному строю. Подобно тому, как природа проявляет свой прекрасный смысл в пении птиц, так и поэзия В. Иванова оформляет себя дополнительным произведением, по сути своей являющимся – музыкальным. Музыкальность поэтического слова в той или иной степени присуща всем поэтам – с той лишь разницей, которая определяется составом «инструментов» и «исполнителей». В плоти стихотворений В. Иванова звучит оркестр – есть и ритмы, и напевы... Однако музыка поэтического слова не подлежит оформлению в слышимых ухом звуках, потому что само стихотворение в звуке уже завершено и совершенно в конечной степени.

*Все было так зримо вначале:
любовь, расставанье, беда...
Куда же пропали детали,
какая умчала вода?
А думалось: все по минутам,
секундам протекшим и дням
я помню. Увы, позабыто! –
Себе не поверю и сам.*

173

Увы, земное время скоротечно и память наша, оказывается, тоже бrenна, как и тело. Но для поэта все земное дорого, даже боль беды, разрыв с любимым человеком. Так уж обустроил Всевышний наши сердца, чтобы прошлое всегда казалось лучше, чем оно было на самом деле. Память сердца не копил болей, зла, всего того, что делает мир в глазах человека беспросветно мрачным и враждебным. Она словно старается удержать нас в детстве, когда мир весь был просветленным, когда доброта и ласка были в жизни такими же естественными и, казалось, вечными, как и небо над нами. Но память же тем самым учит и ценить скоротечное земное время, чтобы мы в урочный час расстались с главной иллюзией детства, что жить в этом теле и на этой земле будем вечно, и что есть только добро, которое будет окружать нас везде и всегда. В мире немало зла, и самое страшное из зол – это ранящее душу черное слово. За ним, за черным словом, всегда стоит зависть, от которой до мести – один шаг, но зависть в то же время – это и признание собственной немощи, бессилия перед добром. Поэт выносит свой вердикт злу словом, которое кажется одновременно и легче воздуха, и тяжелее свинца, потому что это его слово наподобие лучика света в ночи: чем сильнее мрак, тем ярче свет.

*Черным словом вдруг застило солнце,
темным взглядом лучи обожгло,
что текли в золотое оконце,
где все стороны света свело.*

*Деревяннo домой воротился
И забылся в наркозной тиши.
Только внутренний гул разносился
Во все стороны мрака души.*

Но добро с большой буквы есть! И душа это знает. Имя этому добру – Бог. Чтобы победить зло, нужна жертвенная любовь. Нравственная позиция поэта как раз в том и заключается, что зло уничтожается уже тем, что оно в закоулках тьмы освещено высоким поэтическим словом. Как огонь нельзя затушить огнем, так и зло нельзя победить злом. Не сеять раздор, не клеймить – задача поэзии и поэта, а нести людям высший нравственный смысл на собственном примере, когда не пересекается тонкая грань, отделяющая переход света во тьму. Отсюда понятно, почему поэт вроде лишь ограничивается констатацией зла, на самом деле такой принцип – лучшая прививка от него, поскольку именно человеку в борьбе с ним отведена самая важная роль – выработать свой собственный духовный иммунитет.

Для творческого развития поэзии В. Иванова, ее эмоциональной и смысловой динамики характерно постоянное качественное перерождение – от всеохватывающего, всепоглощающего любопытства в познании действительности к углубленному ее осмыслению и выражению в слове. При этом поэт, изучая мир вширь, открывает его тайны через собственное «Я». Нередко оказывается, что видимое и непосредственно воспринятое глазом – совсем не истинное, далеко не то, к чему стремится душа. Правда вдруг открывается совсем рядом, в самом себе, в том, что вызрело плодами пережитого и прочувствованного, что рождено состраданием и любовью. Поэт чувствует: есть Божий мир, где изначально царят гармония, законы красоты, совершенный миропорядок. Но для него это только одна нравственная опора, вторая – должна быть на земле. Ибо все-таки жизнь брeнная нам тоже дана не для увеселительной прогулки и не для простого любования природой. Она, будучи единством материи и Духа, должна и на земле служить именно Духу, поскольку «Дух бодр, плоть же немощна». А это значит, что выбор здесь такой: либо преумножать силу духовную, либо – немощь, в ее плотской ипостаси. Искания поэта во многом в том и заключаются, чтобы духовное равновесие надежно покоилось на двух опорах – земной и Вселенской.

*За часы просветления в мире
утаить ли мне тайну одну:
я глазами насытился ширью
и душою тянусь в глубину...*

*В глубине, где живого основа,
мне из вечности видишься ты, –
скоротечного лика земного
сохраняя родные черты.*

В книге «Хлебозоры» немало прекрасных стихотворений о любви к женщине. Однако суть любви к человеку иная, чем к природе. Если любовь к природе как таковой лишена страданий, приобретена без усилий и дана изначально, как щедрый дар, то любовь к женщине – нелегкий духовный труд. Труд, наполненный и счастьем, и страданием, а основным, но уже трагическим переживанием в такой любви является ее ограниченность во времени – смерть. Нет на земле ничего хуже, несправедливее, страшнее, чем расставание навсегда с любимым человеком. Нет ничего такого, что могло бы так глобально заставить заболеть душу, обречь ее на смертные муки, чем вынужденный исход из нее чувства любви. Ведь душа отдается любви не частями, а вся разом и безраздельно, и ей необходимо постоянно ощущать свою любовь и рядом, и в себе. И что тогда без любви от нее остается? Обесцвеченная тень брeнного тела, в котором могут «кипеть» только животные «страсти»? Сердце может спасти только другая любовь, но при этом одна другую чисто механически заменить не может. Поэтому нельзя любить в мире все одинаково и в равной степени, для всего должно быть свое точное слово и своя звукомusыкальная оркестровка.

Чувство любви у поэта нежнее и невесомее солнечного луча и оно, однажды возникнув, одновременно остается и в вечности, и возвращается к людям. Оно появляется не вдруг, а как закономерное явление жизни в материальном. Любовь «всюду, куда простирается свет». А свет там, где Бог. По эмоциональной тонкости и насыщенности выражения любовная лирика В. Иванова находится где-то среди вершин классической русской литературы.

Название первой книги В. Иванова, с которой познакомился российский читатель, точно отражает его творческую духовную биографию – «Земной парус». Поэзия для автора и есть тот самый парус, который наполняют ветры страстей, а сложный, не всегда прямой путь через штормы и штили лежит все же в одном направлении – к познанию красоты и гармонии.

Владимир Есенин, г. Кемерово

**ОБСУЖДЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ НОМЕРОВ
ЖУРНАЛА «ОГНИ КУЗБАССА» ЗА 2006 ГОД**

Состоявшийся журнал с идеей просвещения

Толстый литературный журнал выполняет не только функцию органа печати для писателей, но просвещает и воспитывает своих читателей. «Огни Кузбасса» не исключение. Журнал интересен для различных категорий читателей. И для тех, кто ищет только развлечения, наслаждения от чтения, и для тех, кто, читая, старается думать и размышлять, для любителей поэзии и для читателей прозы. Остановлюсь на нескольких именах и произведениях, которые показались мне близки и интересны.

В номере 1 за 2006 год сразу же захватывает внимание роман Юлии Лаврышиной «Фальшь истины». Здесь разворачивается парадоксальный сюжет. Одна из главных героинь – Марина – полностью идентифицирует себя с Мариной Цветаевой. Она выстраивает свою речь, отношения с близкими людьми, с любимыми по схеме жизни и творчества известной поэтессы. При этом Марина не пишет стихов, не следует за мужем, не имеет детей. Перед читателями предстает образ обыкновенного человека, ничем не приметного, посредственного, который отказывается от себя, своей личности, своей судьбы ради воплощения судьбы гения. Мысль интереснейшая, убедительно воплощенная в тексте. Автор романа, безусловно, глубоко знает творчество Цветаевой, и, может быть, так же, как героиня, подражает и восхищается ею. Но есть в романе другая героиня как другой полюс жизни и реальности – это Дайна. Она полна жизненной энергии, не желает быть похожей ни на кого, кроме самой себя, поэтому она притягивает людей, и особенно мужчин. Дайна не пытается изменить реальность или подчинить её своим правилам, она не играет, а живет, ошибается, ищет, но живет, думается, именно пафос подлинной жизни утверждается в романе. Роман интертекстуален, помимо творчества Цветаевой, при чтении возникает множество аллюзий и реминисценций, которые воспринимаются как загадки и головоломки, требующие интерпретации.

Второй номер «Огней Кузбасса» за 2006 год открывает мемуарное повествование Виктора Лихоносова «Записи перед сном». В современной литературе жанр мемуаров чрезвычайно популярен. В. Лихоносов выбирает эпистолярную форму – записки, записные книжки, которые писались каждый день на протяжении нескольких десятилетий для восстановления событий, для памяти сердца и ума. Общий тон записок – элегическая печаль, невозможность вернуть прошлое, его мгновения, слова, людей. В этом смысле показательна запись о встрече с Рубцовым в 1970 году, за год до смерти. Автор мучается сознанием того, что не помнит, о чем тогда говорилось, каков был Рубцов. Из памяти ускользают мельчайшие детали, которые и являются основой жизни. Интересно читать записки, относящиеся к 1980-м – началу 1990-х годов, здесь очевидно прочитывается ощущение распада, разлада, непонимание того, что происходит в стране, с людьми, с родиной, с патриотизмом. Это истинная боль для Лихоносова – почему так произошло, почему так быстро поменялись настроения, идеалы, люди, поэтому

чувство уходящей, распадающейся России не покидает читателя при чтении этих записок.

В этом же номере обращают на себя внимание несколько замечательных рассказов. Так, рассказ В. Соколова «Лунная девочка» достаточно узнаваем по основной сюжетной коллизии – уже немолодая семья берет из детдома девочку (нечто подобное происходит в рассказе В. Распутина «Нежданно-негаданно»), но совершенно неожиданно развивается повествование и финал рассказа. Девочку возвращают обратно. Рассказ заставляет задуматься не просто о доброте человеческой, но о готовности людей пожертвовать ради другого человека своим эгоизмом, покоем, перестать быть равнодушными. В рассказе А. Байбородина «Господи, прости» сюжет напоминает одновременно фантастику, славянскую мифологию и сказку про нежить, всяких русалок, водяных, утопленников. Но речь идет о современной русской жизни и действительности, тем страшнее читать и ощущать разгул нечисти, которая завладевает Русью и уничтожает её. Но в финале рассказа звучит очистительная молитва как надежда на спасение. Безусловно, интересны рассказы Николая Ничика о главных людях Кузбасса – шахтерах: «Когда-нибудь напишу рассказ» и «Ворьё». Это повествование пронзительно по своей сути, автора заботит судьба истинного героя жизни – обыкновенного мужика-работяги, на котором держится мир. Первый рассказ о смерти одного такого героя, о смерти в забое, второй рассказ с большой повестует о вынужденном воровстве шахтеров ради своей семьи, ради прокорма детей. Чувствуется, что автор знает свой предмет и болеет за общее дело, он лишен равнодушия наших дней, и его герои это подтверждают. С добрым юмором, таким нужным в наши дни, написаны рассказы Александра Сергеева «Злоумышленница» и «Автогонщики». Героиня первого рассказа, попытавшись «заработать», как многие другие, на цветном металле, оказывается виновата перед своим мужем, она не только раскаивается, но оказывается как бы заложницей неустroенности и абсурдности современной жизни. В этом же номере останавливает на себе внимание раздел «Литературная студия», где представлены произведения начинающих или пробующих перо любителей словесности. Это произведения Екатерины Франк «Иринкины рассказы» и Сергея Адодина «Скрытый контент». И то, и другое посвящены детям, детскому или подростковому восприятию мира. Рассказы написаны живым языком, захватывает сюжет и его движение. Сергей Адодин находит интересную и необычную коллизию развития событий в ходе компьютерной игры. Здесь можно усмотреть и традиции антиутопии (некое общество, где запрещено молиться), и сказки (испытание героя и спасение от волшебного помощника), и традиции архетипа старца, который как бы дарует главному герою – мальчику Даньке – сакральное слово, спасающее его. Думается, что начинающие авторы имеют все возможности и задатки для продолжения работы и новых поисков.

В № 3 за 2006 год моё внимание привлекла повесть Ольги Белоусовой «Посмотри мне в глаза...». Можно утверждать, что по сюжету, системе персонажей, конфликту повесть может быть отнесена к женской прозе – такой популярной в современном литературном процессе. Повесть динамично написана, имеет довольно авантюрный сюжет (смена масок и имен героини, двойная и тройная

жизнь), однако совершенно очевидно прочитывается драматический код развития жизни, ибо героиня одинока при всей своей эмансипированности, лишена дома, к которому она стремится всей душой, и ищет иную жизнь, где было бы настоящее человеческое тепло и любовь. В этом же номере напечатан замечательный художественно-публицистический материал о жизни Л. Н. Гумилева. Автор повествования – Юрий Панов разыскал документы о жизни Гумилева в лагерях, о том, как рождалась его теория, его труд. Это удивительно живой рассказ, из которого вырастает образ гениального человека, прошедшего тяжелейшие испытания и создавшего своё слово и путь в науке.

Переходя к анализу поэтического раздела, сразу замечу, что при знакомстве с текстами поэтов из номера в номер остается чувство единого мотива, объединяющего все стихотворения. Это мотив одиночества. Поэты – это люди с тонкой душевной организацией, они чутко реагируют на события реальности и переживают глубже, поэтому ощущения одиночества, разъятости бытия, отсутствия надежды встречаются во многих стихотворениях. Например, подборка стихотворений С. Донбая «Я в одиночестве не мучусь», Б. Бурмирова «Нет границы между мною и мной», А. Петрова «Мое одиночество живет в плеере», В. Бровикова «Одиночества бесперебойность», А. Каткова «С разрушенной страной наедине» в № 2 и А. Шихера «Атом одиночества» в № 1. Видимо, поэты не видят других основ существования, кроме одиночества, отсюда достаточно пессимистический настрой поэзии, как в стихотворении Н. Переяслова «Московское inferно», где дьявольские, inferнальные силы гуляют в центре столицы, а значит, и по всей стране.

Безусловно, «Огни Кузбасса» за 2006 год оставляет впечатление состоявшегося журнала с идеей просвещения и расширения кругозора читателя. Остается пожелать коллективу дальнейших удач и поисков, особенно это пожелание касается раздела критики и литературоведения, который может быть более содержательным и интересным.

И. В. Ащеулова, доцент кафедры журналистики
и русской литературы XX века КемГУ, г. Кемерово

ОДИНОЧЕСТВО: МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ПОСТЧЕЛОВЕКОМ

Год поэзии-2006 в журнале «Огни Кузбасса»

Первый номер журнала в 2006 году открылся подборкой стихотворений молодого кемеровского поэта Александра Шихера «Атом одиночества». Это оказалось «прологом» к «одиночествам» многих других авторов, каждый из которых попытался изъяснить свои представления об этом почти таинственном состоянии.

Сам «зачинщик» разговора охарактеризовал одиночество как «полуфабрикат творчества». Одиночество «производит» человек – «закрытыми дверями, забытыми знакомыми, пустыми постелями». Попытки героя заполнить экзистенциальную пустоту выглядят так:

рядом
полураздетая полупринцесса

мы с ней вчера занимались
полураспадом

как вспомню все
становится тошно
бац
и готов
килограмм одиночества.

Мир «полуфабрикатов», «полупринцесс», «полураспада» – скорее не мир уже, а полумир. И его завоевывает и поглощает пустота, ибо

убегает душа
и приходит одно
одиночество.

То есть здесь одиночество – следствие отсутствия души, оно тождественно пустоте.

Слово «пустота» сейчас стало модным: оно постоянно звучит в рок-поэзии, мелькает в стихах начинающих авторов, красуется в названии пелевинской книги «Чапаев и Пустота».

Но в духовной, философской и литературной традиции оно всегда идет со знаком минус: «Се, оставляется дом ваш пуст» (слова оскорбленного Христа); «Мерзость запустения» (отталкивающий символ руин); «Природа не терпит пустот» (мудрость древних); «Глотатели пустот» (метафоры Марины Цветаевой); «Наглотавшись пустоты, дух задышается» (В. Н. Порус, современный философ).

Герой Александра Шихера – житель пустотных трущоб, где свет «имеет вкус стекла и капрона»:

я же глотаю его
как самый сладкий ликер,
закусывая улыбкой
отключенного телефона.

Даже приметы, имеющие в полноценном Божьем мире естественное происхождение (например, перед дождем ласточки летают низко), в условиях пустоты соответственно видоизменяются:

Завтра будет тепло, и лето близко,
Я знаю точно, есть такая примета:
В вечернем небе летают низко
Полиэтиленовые пакеты.

Такие приметы выработаны новой, постчеловеческой цивилизацией.

Примерно в таком же мире пребывает и «постчеловек» Алексея Петрова (подборка стихов «Мое одиночество живет в плеере». «Огни Кузбасса», № 2).

Приспособления технические, созданные, казалось бы, для лучшего соединения людей (тот же плеер, мобильники, компьютеры) играют какую-то странную роль – и человек неоправданно нервничает, не может избавиться от чувства тревоги и одиночества... Но самое главное – попадает в невероятную зависимость от завладевшей его сознанием тех-

нической игрушки – «странно боится, что плеер смолкнет»...

Авторы этих технократических откровений прекрасно знают, что их героям не хватает в «дивном новом мире» душевной теплоты, любви, милости. Любовь скудеет. А заменить ее нечем, разве что...

Холодно, как в могиле.
Ночи тихи и кротки.
Хочется, чтоб любили,
Или хотя бы водки...

Похоже мыслит Виктор Бровиков (подборка стихов «Одиночества бесперебойность». «Огни Кузбасса», № 2).

Виктор Бровиков, молодой кемеровский поэт, много публикуется в Интернете. И «сетевое творчество» представляется вроде бы средством избавления от одиночества:

Спутники, модемы, провода,
Сеть и миллионы одиноких.
Друг за другом мы пришли сюда,
На своих запутавшихся дорогах.
Друг за другом мы бросались в сеть,
Захлебнувшись воздухом свободы...

Но безмерная свобода, приблизив далекое, отобрала близкое:

Мы разбросаны по городам.
Кто мы? Где и кем мы раньше были?
Нас соединяя, провода
Всех нас навсегда разъединили...
Мы забыли лица, имена,
Где-то по пути себя оставив...

Видимо, утрачивается сокровенное: имя, чувство родины, тайна собственной личности, ослабляется связь с близкими. Мир стоит на пороге создания «глобального человечника» (термин современного философа Александра Зиновьева). Здесь все основано на автоматизме и кнопочных (клавишных) функциях, а душа человеческая («аффекторождущая бездна», по П. Флоренскому) постепенно заменяется той самой пустотой...

Молодые поэты видят эти процессы в развитии и как бы прощаются с «последним человеческим веком», в котором они родились людьми, но который привел их вплотную к эпохе «постчеловечества».

И задумываешься: человек (или, вернее, «постчеловек») «производит одиночество» – а потомство он производит? Родятся ли у него дети? И какие они?

Две молодые поэтессы – Наталья Мурзина («Огни Кузбасса», № 3) и Анастасия Куприк («Огни Кузбасса», № 4) написали стихи о нерожденных детях, затронув одну из страшных проблем. Миллионы младенцев в наше время гибнут, не появившись на свет. Родители их строят на этом «гармонию семьи», зная не зная предостережений великого русского пророка: не получится мировая гармония, если для ее осуществления замучено хотя бы одно невинное дитя.

К тому же в наши дни существует взгляд на младенцев как на «расходный материал»... И что может сделать маленькое живое существо, чтобы защитить свою жизнь?

Анастасия Куприк пишет от его лица:

Не знаю, за что. И не знаю, кто отдал приказ.
Я не был солдатом. Я так и не понял подвоха....
И нету могил. И никто не рыдает о нас,
Пропавших без вести.
Без крика.
Без первого вздоха.

«Никто не рыдает?» Рыдают, но не понимают, откуда эти слезы, жалобы на одиночество, ощущение тьмы и пустоты жизни.

Две женщины-поэтессы написали об этой боли. Она распространяется на все общество, потому что в основе ее – преступление против жизни. Человек отказывает своим детям в праве на жизнь! А что явится вместо жизни? «Улыбка отключенного телефона»? Серая безжизненная пустота?

Чтобы не овладевала нами «одиночества бесперебойность», нас должны окружать дети, сквозь нас должна прорастать новая, разноликая, чистосердечная жизнь! Кто общается с нею, тот уже утешен и не одинок. И он не согласится цветущую жизнь менять на тошнотворную пустоту. Даже и в «постчеловечестве» он останется человеком!

В поэтических материалах 2006 года в «Огнях Кузбасса» много стихов и о другом одиночестве, более «традиционном», нежели «постчеловеческое». Оно далеко от пустоты, «разбитой на красиво оформленные порции». Это просто живая печаль скорбящих людей, понимающих трагичность нашего существования.

Каждому из нас ежедневно даются знаки, обращенные к совести: «среди шумного бала» или посреди уличной толпы увидишь вдруг инвалида на костылях, или собирающуюся слабую старушку, или кого-то плачущего, «униженного и оскорбленного». Господь напоминает «о всякой душе, скорбящей и озлобленной» (в значении – обиженной), о действительно несчастных, всеми оставленных, брошенных, бедствующих людях.

Боль и скорбь такого одиночества глубоко понимает поэт Борис Бурмистров («Огни Кузбасса», № 3). Герои его стихов – это часто старики, бомжи, блаженные:

Одинокое гуляет по свету
Позабитая всеми душа.

Или:

Что-то не то в этом мире творится,
Если печалью подсвечены лица,
Если на лицах тревога застыла,
Значит, душа о душе позабыла...

Или:

Со своим одиночеством спорит
И с надеждой глядит в небеса,
И кому-то незримому вторит,
И слезятся по-детски глаза...

В сочувствии к человеку поэт доходит до прозрачных ощущений, как будто сам смотрит на мир сквозь светлые слезы.

В одном месте так и сказано: «Плачет душа о душе сокровенной». Бесприютный «сокровенный человек» уходит от нас, не выдерживая отсутствия любви.

Где же он обретается потом? – можно найти ответ в стихах Валерия Ковшова: «На земле небесной» («Огни Кузбасса», № 1). «Сокровенный человек» – один в духовных владениях Бога, но тут не веет одиночеством, тут другие слезы – слезы счастья – наворачиваются на глаза: присутствие Бога очевидно. И «на небе видимом и выше», в свете Божественной ласки, легко дышится герою, настрадавшемуся «на земле земной».

Герой Валерия Зубарева (подборка стихов «Я пресыщался не Монмартром». «Огни Кузбасса», № 1) дышит куда тяжелее. И одиночества в его стихах куда больше, чем, скажем, в стихах Александра Шихера, причем это одиночество не одного человека, а целого поколения. Редющего. Пережившего трагическую смену эпох, познавшего цену великих потрясений.

Какими мы были! И как мы любили!
Утробные люди, вы нас победили.
Закончились ваши колбасные беды.
Пируйте! Но пирровы ваши победы.

Попсу-колбасу бесконечную жуйте,
Поэзию этой попой обуржуйте...

Минувший XX век был трагичным с точки зрения судеб человеческих, но он не требовал от человека пошлости и «утробности». И лирический герой Валерия Зубарева – это человек с идеалами. Тяжело и трудно ему дышится в окружении попсы и порнухи, редет его поколение, верившее, что человек человеку брат, все чаще его убеждают, что человек человеку волк, но сила духа не оставляет его:

Ваня,
волчьей стране приснись,
к ней безгрешной душой

прижмись
и шепчи
от семи дорог:
– Человек человеку –
Бог.

Россия в конце XX века очередной раз погрузилась в Светлояр, скрылась на время в великом духовном озере со всеми своими высшими ценностями. На берегах же началось стремительное броуновское движение частиц, порожденных неимоверным катаклизмом.

Поэт Александр Катков – свидетель того крушения. Его одиночество – это одиночество «с разрушенной страной наедине» («Огни Кузбасса», № 3). Его плач по ней, терзания, муки совести – все предельно обнажено, наэлектризовано горестными эмоциями.

Как и Зубарев, он завершает свой цикл стихов именем Бога. Иного прибежища нет для одинокого, все потерявшего героя.

Но в поколении Зубарева, Каткова, Бурмистрова есть поэты, не знающие одиночества как трагедии. Это, например, Сергей Донбай с его золотыми словами «Я в одиночестве не мучусь» («Огни Кузбасса», № 2), Владимир Иванов («Огни Кузбасса», № 2): «Мне милей с годами жизнь простая с домиком бревенчатым в бору»... И, возможно, Любовь Никонина (подборка стихов «Цветение духа, волна героизма». «Огни Кузбасса», № 1). Мажорный, жизнеутверждающий тон этой стихотворной подборки отторгает проявление любой слабости, в том числе и слабости одиночества.

Вообще же кузбасская поэзия 2006 года, представленная в «Огнях...», традиционно сильна, разнообразна, серьезна. Не вся она, конечно, связана с очерченной здесь темой. Главное же ее достоинство заключается в том, что она равнодушна к судьбе человека в меняющемся мире.

Любовь Никонина,
г. Новокузнецк, февраль 2007 г.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

За вклад в развитие культуры Кузбасса и литературное творчество, прославляющее людей земли Кузнецкой, званием «Заслуженный работник культуры РФ» отмечен кемеровский поэт и прозаик Владимир Васильевич Иванов.

Группа кемеровских писателей приняла участие 2 марта в Дне Памяти пограничников, погибших 38 лет назад на советско-китайской границе (остров Даманский). Данное мероприятие состоялось в Кемеровском профессиональном училище № 3, носящем имя пограничника Николая Дергача, погибшего в том конфликте.

13 марта состоялась выездная творческая встреча кемеровских писателей – Александра Каткова, Леонида Гержидовича, Нины Красовой, Александра Ярощука – в школу искусств города Гурьевска, приуроченная к 65-летию юбилею поэта Дмитрия Клёсова.

14 марта в Доме-музее «Красная Горка» общественностью области широко отмечен 70-летний юбилей поэта, почётного жителя города Кемерово Юрова Геннадия Евлампиевича. Администрацией Кемеровской области ему присвоено ещё одно звание – «Почётный работник культуры Кузбасса»!

14 марта в кемеровской библиотеке им. И. Киселёва проведена творческая встреча писателей А. Каткова и В. Козлова с учащимися школ пос. Южный, посвященная памяти кузбасского поэта Игоря Киселёва.

16 марта в преддверии очередной годовщины Дня Победы, в лицее № 49 г. Кемерово прошло мероприятие под названием «Города-герои», на котором присутствовали поэты Александр Катков и Валерий Козлов.

21 марта «Капли звонкие стихов» – так назвали поэтический вечер, проведенный в библиотеке с лирическим названием «Островок Доброты» пос. Южный. От Союза писателей в нём принял участие поэт Сергей Донбай.

Он же стал участником творческой встречи с учащимися и учителями школы № 40, состоявшейся 15 марта.

19 и 23 марта в тёплой, доброжелательной обстановке прошли творческие встречи Виктора Арнаутова со своими земляками на Томском севере – в средних школах села Пудино и города Кедровый. Там же состоялось и представление его последней книги – поэтического сборника «Клад вдохновений».

24 марта в городе Ленинске-Кузнецком собрались на Сауловские чтения почитатели творчества поэта Анатолия Саулова. В чтениях прозвучали и стихи в авторском исполнении Бориса Бурмистрова, Виталия Крёкова, Дмитрия Мурзина, Леонида Гержидовича, Нины Красовой и других поэтов.

28 марта Дом литераторов Кузбасса собрал переполненный зал слушателей на творческий вечер поэтессы из города Юрги, члена Союза писателей России Тамары Рубцовой.

28 марта, на 80-м году жизни, скончалась старейшая писательница Кузбасса Зинаида Александровна Чигарёва.

29 марта состоялся «Берёзовский март» – так называют городской поэтический праздник его организаторы в городе Берёзовском, проведенный в ДК. Помимо местных поэтов на нём выступили со своими стихами Борис Бурмистров, Сергей Донбай, Валерий Козлов, Леонид Гержидович.

29–30 марта в Ижморке подведены итоги традиционного районного конкурса «Лучший поэт года», в жюри которого были Александр Катков, Тамара Рубцова, Михаил Шеховцов и Владимир Звягин.

В Доме литераторов Кузбасса состоялась выставка рисунков Александры Хоффман под названием «Давным-давно». Как обозначено в анонсе, это «часть большой коллекции рисунков, представляющая детскую тематику».

1 апреля в Доме литераторов состоялся концерт, на котором выступили поэты и барды с веселыми стихами и песнями.

14 апреля из Томска пришло горестное сообщение – не стало нашего друга, прекрасного сибирского поэта, главного редактора журнала «Сибирские Афины» Александра Иннокентьевича Казанцева. Царствие ему небесное.

А 16 апреля такая же весть пришла из Красноярска: после тяжёлой болезни умер Роман Харисович Солнцев, известный поэт, прозаик, драматург, главный редактор журнала «День и ночь».

7–8-й номер журнала «Сибирские Афины» за 2006 г. (город Томск) опубликовал подборки стихов кузбассовцев – Сергея Донбая, Виталия Крёкова, Владимира Шумилова, Марины Брюзгиной.

Подборка стихов студентки Кемеровского университета культуры Марины Брюзгиной напечатана и в журнале «Дарьял», № 6 за 2006 г. (город Владикавказ).

ИЗДАНЫ КНИГИ

Попок Василий. Путешествия с друзьями / В. Б. Попок. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 235 с.

Адодин Сергей, священник. По дороге вечной / С. Адодин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 97 с.

Виктор Коняев. Глаза, распахнутые в жизнь: рассказы / В. Ф. Коняев. – Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомбинат, 2007. – 121 с.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России: «Наш современник» (Москва), «Все-русский Соборъ» (Санкт-Петербург), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и ночь» (Красноярск), «Врата Сибири» (Тюмень), «Сибирские Афины» (Томск), «Алтай», «Барнаул» (Барнаул), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Сибирь», «Зеленая лампа» (Иркутск). По отдельности тиражи наших журналов небольшие, но если их сложить, сумма света, которую они несут, будет значительной.

Наше издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, высылается авторам журнала, в редакции вышеперечисленных журналов и газет, а также подписчикам.

Подписка на второе полугодие 2007 года оформляется в любом отделении почтовой связи по каталогу «ПОЧТА РОССИИ»

Почтовый индекс **12234**

Периодичность выхода – **раз в два месяца (6 номеров в год)**

Подписная цена за полугодие **180 руб.**

Справки по телефону **36-85-14**

Редакция журнала принимает только первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо выполненные на компьютере через полтора интервала (12–14 кегль), с обязательным приложением дискеты с набором текста в любом формате.

Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Наш электронный адрес: **sp_kuzbass@mail.ru**

Журнал «Огни Кузбасса» зарегистрирован
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением

Свидетельство № ПИ 12-2373 от 14 мая 2004 г.

Учредители: Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса»
общероссийской организации «Союз писателей России»;
ГУК «Дом литераторов Кузбасса»

Технический редактор **В. И. Труханова**
Корректор **С. А. Мазеева**
Компьютерная верстка: **М. Ю. Кузнецов**

Подписано к печати 20.06.2007. Формат 60х84¹/₈. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Pragmatica». Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,1 + 0,5 л. цв. вкл. Тираж 900 экз. Заказ № 287

Издательство «Кузбассвуиздат».
650043, г. Кемерово, ул. Ермака, 7. Тел. 58-34-48
www.kvi.bip.ru



Собрание писателей по итогам года



Встреча писателей с кадетами МЧС в поселке Плотниково

